

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ВЫПУСК 5

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

**Москва
2017**

УДК 32
ББК 66.0
С 37

Серия
«*Политология*»

ИНИОН РАН
Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

О.Ю. Малинова – д-р филос. наук, главный редактор,
Д.В. Ефременко – д-р полит. наук, *В.Н. Ефремова* – канд. полит. наук, ответственный секретарь, *М.В. Ильин* – д-р полит. наук,
Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук, *Ю.С. Пивоваров* – акад. РАН,
д-р полит. наук, *С.П. Поцелуев* – д-р полит. наук,
И.С. Семенов – д-р полит. наук, *Л.А. Фадеева* – д-р ист. наук

Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН.
С 37 ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. науки; Ред. кол.: Малинова О.Ю., гл. ред., и др. – М., 2017. – **Вып. 5: Политика идентичности.** – 356 с. – (Сер.: Политология).
ISBN 978-5-248-00849-0

Рассматриваются теоретические проблемы изучения символической политики как сферы конкуренции различных способов интерпретации социальной реальности. Статьи и рефераты знакомят с исследованиями отечественных и зарубежных специалистов идейно-символической компоненты современных политических процессов. Особое внимание уделяется взаимодействию государства и групп интересов в вопросах формирования и поддержания макрополитической, региональной, местной, этнической, религиозной и иных идентичностей.

Предназначено для исследователей-политологов, преподавателей и студентов, а также для всех, кто интересуется вопросами развития политической науки.

Издание подготовлено

*в рамках Программы фундаментальных исследований РАН
«Историческая память и российская идентичность»*

УДК 32
ББК 66.0

ISBN 978-5-248-00849-0

© ИНИОН РАН, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Политика идентичности как борьба за смыслы: Проблемы концептуализации	7
---	---

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИДЕНТИЧНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

И.С. Семененко. Политика идентичности: Меняющаяся повестка дня	21
О.В. Рябов. Политика идентичности и символические границы	41
Г.В. Пушкарева. Символические механизмы конструирования политических идентичностей	61
Г.Л. Тульчинский. Идентичность как проект: Условия политического позиционирования личности	80

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ВООБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦ

И.В. Самаркина. Внешнеполитический «другой» в контексте политики идентичности: Теоретические аспекты и опыт эмпирического исследования	98
Е.В. Морозова. Политика идентичности и образ «другого» в сепаратистском дискурсе (кейсы Страны Басков и Венето)	116
Д.О. Рябов. Политика европейской идентичности: Направления и формы	133
С.В. Акопов. Транснациональная модель идентификации индивида: Актуальность в условиях «Вестфальского парадокса»	144
В.Н. Коньшев, Э. Ноцень, А.А. Сергунин. Символические и репутационно-статусные стратегии БРИКС: Проблемы и возможности	159

ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОМ КОНТЕКСТЕ

В.П. Хархун. Хронология и типология украинской рецепции коммунизма (музейный аспект)	175
Д.В. Березняков, С.В. Козлов. Политика идентичности постсоветской Украины: Как «украинское» побеждало «советское»	198
А.В. Баранов. Динамика соотношения гражданской, этнических и региональной идентичностей в постсоветском Крыму	223

ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

С.П. Поцелуев, М.С. Константинов, П.Н. Лукичѳв, Л.Б. Внукова, И.В. Николаев, А.В. Тупаев. Праворадикальные аттитуды донских студентов: Игры на идеологической периферии	239
И.В. Николаев. Трансформация структуры ключевых вербальных символов в постсоветском официальном политическом дискурсе	276
В.Н. Ефремова. Символическая политика государства в отношении российских праздников после 2012 г.	294

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

И.В. Фомин. Категория вообразяемости в концепциях Корнелиуса Кастриадиса и Чарльза Тейлора	308
Ф. Казула. «Популизм» и «гегемония» у Эрнесто Лакло – 10 лет спустя: Концепции для анализа националистического Ренессанса в Европе	330

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

С.А. Васильковский. Слишком много памяти: Ретроспективное исследование представлений о катастрофическом прошлом (Рецензия)	342
О.Ю. Малинова. Современный русский национализм: Коллективный портрет в политическом интервью (Рецензия)	348

CONTENTS

Identity politics as a struggle for meanings: The challenge of conceptualization	7
--	---

SYMBOLIC POLITICS AND IDENTITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES

I.S. Semenenko. Identity politics: A changing agenda	21
O.V. Riabov. Symbolic boundaries and identity politics	41
G.V. Pushkareva. Symbolic mechanisms of political identity construction	61
G.L. Tulchinsky. Identity as a project: Conditions for political positioning of a personality	80

THE IDENTITY POLITICS: IMAGINING BORDERS

I.V. Samarkina. The foreign «other» in the context of the identity policy: Theoretical aspects and the experience of empirical study	98
E.V. Morozova. The identity politics and the image of the «other» in separatist discourse (the cases of the Basque Country and Veneto)	116
D.O. Riabov. The European identity politics: Dimensions and directions	133
S.V. Akopov. The transnational model of self-identification: The relevance under in the context of the «Westphalian paradox» ...	144
V.N. Konyshhev, E. Notsen, A.A. Sergunin. BRICS symbolic and reputational-status strategies: Problems and opportunities	159

THE POLITICS OF IDENTITY IN THE POST-SOVIET CONTEXT

V.P. Kharkhun. Chronology and typology of the Ukrainian perception of communism (museum aspect)	175
D.V. Bereznyakov, S.V. Kozlov. Identity politics in post-Soviet Ukraine: How «Ukrainian» prevailed over «Soviet»	198
A.V. Baranov. The dynamics of the relation between the civil, ethnic and regional identity in the post-Soviet Crimea	223

POLITICS AS PRODUCTION OF MEANINGS

S.P. Potseluev, M.S. Konstantinov, P.N. Lukichev, L.B. Vnukova, I.V. Nikolaev, A.V. Tupaev. Radical right wing attitudes of Don students: Games on the ideological periphery /	239
I.V. Nikolaev. Transformation of the structure of key verbal symbols in the post-Soviet official political discourse	276
V.N. Efremova. The symbolic policy of the Russian state holidays after 2012	294

RE-READING CLASSICS

I.V. Fomin. On the category of imaginary in the conceptions of Cornelius Castoriadis and Charles Taylor	308
Ph. Casula. Ernesto Laclau's «populism» and «hegemony» – ten years after: Concepts for analyzing the nationalist Renaissance in Europe ...	330

FROM THE BOOKSHELF

S.A. Vasilkovskiy. Too much memory: A retrospective study of re-perceptions of the catastrophic past (Review article)	342
O.Yu. Malinova. The contemporary Russian nationalism: A collective portrait in the political interior (Review article)	348

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ КАК БОРЬБА ЗА СМЫСЛЫ: ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ¹

Основная тема пятого выпуска «Символической политики» – политика идентичности. Данный термин получил заметное распространение в зарубежной и отечественной литературе. Он используется для анализа широкого, но очевидно разнородного круга предметов: так называемых «новых» социальных движений, нацистроительства, мультикультурализма, сепаратистских движений, этнонациональных конфликтов – или, согласно емкой характеристике М. Бернштейн, «любой мобилизации, имеющей отношение к политике, культуре и идентичности» [Bernstein, 2005, p. 48]. Неудивительно, что в данное понятие вкладывается разное содержание. Поэтому разговор о символических измерениях политики идентичности стоит начать с прояснения основных концептуальных разночтений.

В 1980–1990-х термин «identity politics» был изобретен для обозначения особого рода политики, связанной с так называемыми «новыми социальными движениями», выдвигавшими требования публичного «признания» идентичности подавляемых групп (этнических, религиозных, гендерных и др.) [см.: Aronwitz S., 1992; Kenny, 2004 и др.]. Их «новизна» заключалась в смещении акцентов с проблем распределительной (экономической) справедливости на вопросы, связанные с символической (культурной) несправедливостью. Основной посыл рассматриваемого терминологического изобретения выражался в утверждении, что «аспекты идентичности (в особенности связанные с членством в тех или иных группах) несводимы к таким стандартным политическим категориям, как интерес, предпоч-

¹ Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН «Историческая память и российская идентичность».

тения, доход или класс, и вместе с тем они имеют политическое значение» [Laden, 2001, p. 17]. Споры о «политике идентичности» сосредоточились, с одной стороны, на обсуждении макроструктурных изменений, которые обусловили ее появление, с другой – на ее последствиях. При этом «идентичность» нередко полагалась такой же «объективной» категорией, как «класс».

Однако с точки зрения конструктивизма, который примерно в тот же период получил широкое распространение в социальных науках, оппозиция «старых» и «новых» социальных движений не выглядит столь безусловной. Как справедливо заметил Крейг Кэлхун, «политика идентичности... была неотъемлемой частью современной политики и общественной жизни на протяжении сотен лет. Однако она вынуждена была соперничать с различными универсализирующими концепциями... отвергавшими различия, и это обстоятельство повлияло на формирование природы не только политики, но и академического мышления» [Calhoun, 1994, p. 23]. Пытаясь изменить последнее, адепты «политики идентичности» и сами оказались под огнем критики конструктивистов: ведь социальные движения, стремящиеся разрушить устоявшиеся иерархии и связанные с ними практики исключения и принижения, «цементируют границы», порождая, согласно выражению Маргарет Сомерс, «свои собственные “обобщающие фикции”, в рамках которых одна-единственная категория (например, гендер) перевешивает любое количество иных накладывающихся друг на друга различий (таких как раса или класс)» [Somers, 1994, p. 610]. Тем самым одной эссенциалистской (т.е. представляющей групповые различия как нечто «естественное», фундаментальное и неизменное) интерпретации противопоставляется другая, не менее эссенциалистская.

Альтернативу «политике идентичности» стали искать в «политике различий» или «перспективе многообразия», опирающейся на представление о том, что различия следует не замораживать или разрушать, но «поощрять», уходя от мышления посредством иерархически организованных парных категорий [Young, 1990]. Политическую форму для реализации этой программы сторонники «перспективы многообразия» видят в делиберативной демократии [Young, 1997; Miller, 2000; Williams, 2000]. Однако в контексте такого подхода «идентичность» оказывается избыточной категорией: излишняя озабоченность на этот счет скорее мешает перестройке общественного мышления на нужный лад, поскольку в повестке дня – не формирование сильного чувства коллективной идентичности (всегда чреватого эссенциализмом), а «позитивное»

признание множественных и пересекающихся различий. Разработанный на стыке социологии и политической практики, концепт «политики идентичности» оказался предметом оспаривания и в том и в другом поле.

Как показала в своем обстоятельном обзоре Мэри Бернстайн, он несет двойную – теоретическую и политическую – нагрузку. С одной стороны, он олицетворяет альтернативу классическому, марксистскому подходу к анализу социальных движений, который рассматривает в качестве главного источника социальных перемен активистов, оспаривающих классовую структуру капиталистического общества. Прибегавшие к этому понятию исследователи искали инструмент для описания новых политических практик. С другой стороны, использование понятия «политика идентичности» в контексте социологического анализа часто сопряжено с «неявными нормативными оценками политики идентичности как политической практики» [Bernstein, 2005, p. 48]. При этом за нормативной критикой в действительности стоят разные способы теоретического понимания отношения между опытом, культурой, политикой и властью. Признавая продуктивность дискуссий о политике идентичности с точки зрения поставленных ими теоретических проблем, Бернстайн тем не менее находит, что «термин “политика идентичности” затемняет больше, чем проясняет» и что «если его все-таки использовать, то – ясно определяя его значение» [ibid., p. 66].

Бурные споры 1990-х – начала 2000-х годов о «политике идентичности», имевшие место в зарубежной социологической литературе, не увлекли российских исследователей: хотя редкая работа, посвященная идентичности, обходится без обзора этих дискуссий, направляющие их методологические коллизии редко становятся предметом содержательного разбора. На наш взгляд, это связано не только с трудностями «догоняющего» освоения наработок мировой науки, но и с тем, что тема «старых» и «новых» социальных движений для российского контекста не столь актуальна, как проблемы, связанные с конструированием национальных и региональных идентичностей в изменившемся политическом контексте. В отечественной литературе термин «политика идентичности» стал активно использоваться с конца 2000-х годов, причем в значении, несколько отличающемся от оригинального. Автор этих строк внес определенную лепту в изменение терминологической конвенции, предложив использовать понятие «политики идентичности» для анализа широкого круга политических практик, связанных с формированием макрополитической иден-

тичности [Малинова, 2010, с. 91]. На наш взгляд, очевидно, что все современные государства в той или иной мере проводят политику, направленную на интеграцию стоящих за ними сообществ, поощрение солидарности, формирование представлений о Нас, опирающихся на определенные интерпретации истории и культуры и т.п. На наш взгляд, было бы логично рассматривать эти практики как особую область политических взаимодействий, в которых участвуют не только государство, но и другие акторы.

В российской политологической литературе сложилась практика использования термина «политика идентичности» в расширительном смысле¹ [напр.: Фадеева, 2015; Семененко, 2016; Малинова, 2016 и др.]. И.С. Семененко связывает широкое понимание политики идентичности с формированием макрополитической идентичности (согласно ее определению, политика идентичности – это «совокупность ценностных ориентиров, практик и инструментов формирования и поддержания национальной (национально-государственной), гражданской и иных форм макрополитической идентичности» [Семененко, 2012, с. 165]. Очевидно, однако, что в современных обществах предметом конкуренции, поддержания и оспаривания являются все социальные идентичности, причем во многих случаях государство и другие политически значимые институты (например, церковь) играют в этих процессах существенную роль. Можно говорить, например, о политике гендерной или религиозной идентичности. Поэтому, на наш взгляд, удобнее более универсальное определение *политики идентичности* как совокупности *практических и символических действий, направленных на формирование, поддержание и публичное признание конкретной идентичности*.

Таким образом, речь может идти как об *identity politics* – конкуренции широкого круга социальных акторов в связи с конструированием идентичностей конкретных групп и продвижением их интересов, – так и об *identity policy* – совокупности целенаправленных действий институциональных акторов, прежде всего – государства (но также, при определенных условиях, – религиозных институтов, политических партий и т.п.). Иной способ определения

¹ Такая практика имеет место и в зарубежной литературе: [см. напр.: Manicom, 2013; Podoler, 2016; Halliday, Ferguson, 2016], иногда – с уточнениями («политика уэльскости» [Bradbury, Andrews, 2010], «политика Дня Канады» [Hay, 2010]). Однако нам не удалось обнаружить работы, предлагающие концептуальное обоснование расширительного понимания «политики идентичности».

политики идентичности в качестве *politics* и *policy* предлагает Е.Ю. Цумарова. Политику идентичности в смысле политической борьбы (*politics*) она связывает с исследованиями политических движений, борющихся за идентичности, тогда как политику идентичности в смысле политического курса (*policy*) – с «ролью политических элит в процессе формирования новых политических сообществ» [Цумарова, 2012, с. 5]. Такое разграничение закрепляет сложившуюся практику использования понятия в узком и расширительном смысле. Однако, на наш взгляд, оно недостаточно точно описывает природу рассматриваемых явлений. Ведь *politics* – борьба по поводу продвижения альтернативных проектов идентичности – имеет место не только в случае новых социальных движений; кроме того, ее также ведут политические и интеллектуальные элиты (в том числе – выступающие от имени государства). В то же время, хотя выработка курса и является делом элит, не они, а институты, проводящие этот курс, являются субъектами *policy*.

Вопрос об акторах политики идентичности является принципиальным не только для разграничения широкого и узкого понимания содержания данного понятия – разные типы акторов конструируют и продвигают разные типы идентичностей. Эту идею сформулировал М. Кастельс, предложив различать идентичности *легитимирующие* (вводятся доминирующими общественными институтами; призваны расширять и обосновывать их доминирование), *протестные* (*resistance identity*) (формируются акторами, которые в логике доминирования подвергаются принижению и стигматизации – к этой категории относится «политика идентичности» в ее первоначальном значении) и *проективные* (конструируются акторами, которые на основе доступных им культурных материалов (например, особых идеологий) пытаются переопределить свое положение в обществе и тем самым трансформировать его структуру) [Castells, 2010, p. 8]. На эту типологию часто ссылаются; однако не всегда обращают внимание на гипотезу, для проверки которой она разработана. По мысли Кастельса, «символическое содержание коллективной идентичности и ее смысл для тех, кто себя с нею идентифицирует или из нее исключает, в значительной степени определяются тем, кто и зачем ее конструирует» [ibid., p. 7].

На первый взгляд, в литературе нет особых разногласий относительно акторов расширительно понимаемой политики идентичности. Эту функцию обычно приписывают государству [Фадеева, 2015; Семененко, 2016; Гигаури, 2015 и др.], политическим партиям [Bradbury, Andrews, 2010; Фадеева, 2015], политикам и государст-

венной бюрократии [Нау, 2010], политическим предпринимателям [Гельман, Попова, 2003, с. 190], общественным организациям [Фадеева, 2015], средствам массовой информации [Здравомыслова, 2005, с. 47], публичным интеллектуалам [Фадеева, 2015], политическим элитам [Гельман, Хопф, 2003; Цумарова, 2012; Гигаури, 2015 и др.]. Таким образом, в роли акторов выступают организации и группы, более или менее целенаправленно реализующие те или иные стратегии конструирования и мобилизации коллективных идентичностей.

Расхождения в позициях исследователей связаны не с кругом акторов, а с пониманием их ролей. С одной стороны, поведение политических элит нередко интерпретируется в логике интенционализма [Нау, 1995, р. 195–196]: в их действиях по «конструированию» идентичностей видится целенаправленная манипуляция. С другой стороны, некоторые авторы, подчеркивая дискурсивную природу идентичности, склонны рассматривать ее как структуру, точнее, систему культурных представлений, в которую включены и в которой могут участвовать *все* члены данной культуры. Так, С. Холл писал о национальных идентичностях: «Мы знаем, что значит быть “англичанином”, лишь потому что “английскость” представлена в английской национальной культуре набором смыслов. Следовательно, нация – не только политическое целое, но еще и что-то, что производит смыслы, – *система культурных представлений*. Люди – не только законные граждане своих наций; они принимают участие в *идее* нации, как она представлена в их национальной культуре» [Hall, 1996, р. 612]. Нечто похожее имел в виду и М. Кастельс, утверждая: «...В конечном счете нации – это не “воображаемые сообщества”, сконструированные, чтобы служить аппарату власти. Скорее, они производятся трудом общей истории, а затем проговариваются образами языка сообщества, первым словом которого является “мы”, вторым – “нас”, а третьим, к сожалению, “они”» [Castells, 2010, р. 56]. В этом смысле действия политических элит по конструированию идентичностей, даже если они имеют целенаправленный характер (а это не всегда так), – лишь часть общего процесса, логика которого им неподвластна.

Политика идентичности опирается на сложившиеся социальные структуры. Аргументы в пользу такого понимания ее природы могут вытекать из разных теоретических перспектив. С точки зрения институционалистов, понятно, что проявления идентичности «в значительной мере становятся реакцией на институциональные стимулы» [Гельман, Хопф, 2003, с. 12]. С точки

зрения социальных конструктивистов, очевидно, что агенты действуют в рамках сложившихся систем культурных представлений, конфигурация которых, в частности, определяется институтами-гегемонами, способными навязывать «верховные» идентичности индивидам, признающим себя членами разных групп, и распространять универсальную этику на множество разных практик. Современная история знает две модели институтов-гегемонов – религиозную (церковь) и национальную (nation-state) [Balibar, 1995]. Так или иначе, представляется, что интенционалистская интерпретация политики идентичности существенно ограничивает рамки исследования. Поэтому более продуктивным будет диалектическое понимание отношений агентов и структур [Нау, 1995, р. 199], учитывающее, что акторы политики идентичности действуют в структурированной среде, которая трансформируется в результате их взаимодействий.

Если идентичность – это «то, что формируется и трансформируется в рамках и в отношениях репрезентации», очевидно наличие существенных пересечений между политикой идентичности (как в узком, так и в широком смысле) и символической политикой. Последняя также может интерпретироваться по-разному. На наш взгляд, наиболее существенным теоретическим водоразделом в понимании символической политики является различие между подходами, противопоставляющими символическую политику «реальной», – и подходами, которые рассматривают первую как специфический, но неотъемлемый аспект второй.

Противопоставление «символических» и «материальных» эффектов политики, как правило, имеет место в контексте обсуждения проблем, связанных с «медиатизацией» современного политического процесса, которая объективно способствует усилению автономии деятельности, связанной с его публичной репрезентацией, и ведет к «отступлениям» от нормативной логики демократической легитимации власти. С учетом данного обстоятельства символическая политика нередко рассматривается как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации это понятие было впервые введено в российский научный оборот С.П. Поцелуевым. Согласно его определению, *символическая политика* – это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов». Символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения».

ния посредством создания символических “эрзацев” (суррогатов) политических действий и решений» [Поцелуев, 1999, с. 62]. Таким образом, данный подход сфокусирован на целенаправленной репрезентации деятельности политических акторов в публичном пространстве (и прежде всего – в СМИ), которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматривается то, что целенаправленно «конструируется» политическими элитами в расчете на манипуляцию сознанием масс. Поскольку явления такого рода действительно широко распространены, узкое понимание символической политики может быть полезным для их анализа. Однако в данном случае требуется уточнять его содержание по отношению к конкурирующим понятиям – таким как «пропаганда», «манипуляция», «мистификация» и др.

Вместе с тем очевидно, что символическая функция политики не сводится к производству идеологических конструкций. Это дает основание рассматривать *символическую политику* более широко – как *публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «реальной» политики.

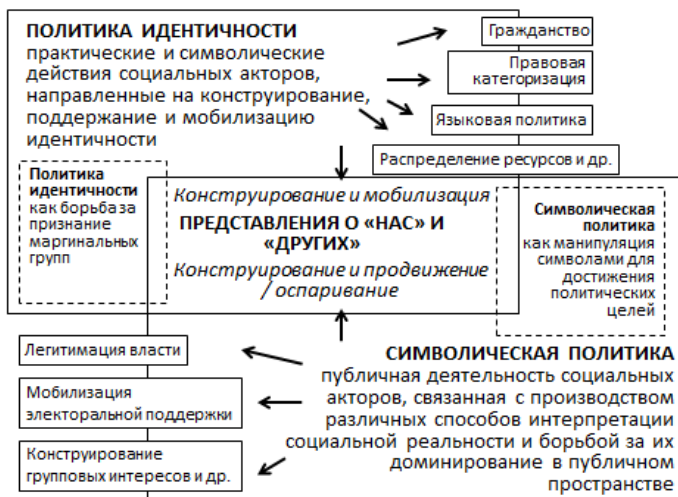


Рис. 1. «Политика идентичности» и «символическая политика»: соотношение понятий

Очевидно, что и при широкой, и при узкой интерпретации данные понятия имеют значительную область пересечения (см. рис. 1). Вместе с тем, на наш взгляд, не вполне правильно рассматривать политику идентичности как составляющую символической политики, как это делают некоторые авторы [Гигаури, 2015, с. 84; Рябов, 2016, с. 14]. Политика идентичности (и в узком, и в широком смысле), поскольку она связана с конструированием представлений о «нас» и «других», включает существенную символическую составляющую, однако не сводится к ней. Многие аспекты политики идентичности – например, регулирование гражданства, закрепление идентичностей в системе правовых категорий, политика в области языка, распределение ресурсов и др. – не только формируют представления, задающие рамки восприятия «нас» и «других», но и имеют иные практические последствия для отношений между группами, составляющими общество. В свою очередь, конструирование идентичностей является важной, но не единственной целью символической политики, которая может преследовать и иные цели – легитимацию власти, определение интересов, стимулирование солидарности, мобилизацию поддержки и др.

Статьи, представленные в этом выпуске «Символической политики», посвящены изучению ее многообразных связей и пересечений с политикой идентичности.

По традиции сборник открывается разделом, посвященным теоретическим и методологическим проблемам символической политики. *И.С. Семененко*, один из ведущих отечественных исследователей идентичности, рассуждает о возможностях и ограничениях политики идентичности в ее макрополитическом (формирование национальной и гражданской идентичности) и ее групповом (борьба за права меньшинств) измерении. На обширном материале она показывает, как меняется в данном отношении повестка национальных государств. При этом «новые» задачи накладываются на «старые», ставя на первое место проблему управления культурным разнообразием в современных многокультурных обществах. Представляющий теперь СПбГУ *О.В. Рябов* поднимает проблему символических границ как одного из главных предметов политики идентичности. Он анализирует основные подходы к интерпретации природы символических границ и демонстрирует, как они используются в различных формах и направлениях политики идентичности. Профессор МГУ *Г.В. Пушкарева* предлагает рассматривать процесс формирования политической идентичности как способ освоения индивидом

символических форм бытия политической группы. Она развивает свою типологию символов-сигнификаторов и символов-интеграторов применительно к политике идентичности. Согласно ее концепции они выполняют различные функции в символическом универсуме группы, который способствует сплочению ее членов вокруг определенных идей, ценностей, мифологем. Петербургский исследователь *Г.Л. Тульчинский* рассуждает о проблемах идентификации индивидов в современном обществе, описывая ее новую модель – проектный способ идентификации, связанный с наработкой человеческого капитала как преимущественно публичного.

Тему выпуска продолжает рубрика «Политика идентичности: Воображение границ». Ее открывают две статьи краснодарских исследователей, посвященные одной из центральных проблем политики идентичности – конструированию внешнего «другого». *И.В. Самаркина* представляет авторскую методiku исследования геополитического «другого» и знакомит с результатами ее применения на примере восприятия молодежью значимых геополитических образов как части дихотомических отношений «мы» – «другие» (на примере образа Европы). *Е.В. Морозова* на примерах Страны Басков и Венето анализирует, как конструируются образы «других» в контексте регионального сепаратизма. Она приходит к выводу, что политика идентичности в исследуемых регионах используется сепаратистскими движениями для легитимации своей деятельности, политической мобилизации, ценностной ориентации и политической социализации, однако не направлена на реальную сецессию указанных регионов. Тему политики идентичности в Европе продолжает петербургский политолог *Д.О. Рябов* обзором литературы, посвященной такому ее актору, как Европейский союз. Основные формы проводимой им политики, направленной на формирование европейской идентичности, он считает политикой символов (использование европейских символов, праздников, ритуалов) и политикой памяти (установку и демонтаж памятников, создание учебников европейской истории, открытие музеев, создание «институтов памяти»). В статье другого петербургского исследователя, *С.В. Аконова*, обобщается теоретический и практический опыт конструирования транснациональной идентичности. Он считает, что в современных условиях, когда нациецентричная политическая картина мира перестает быть в полной мере адекватной меняющимся социально-политическим практикам, транснациональная самоидентификация становится все более распространенной. Автор статьи анализирует интеллектуальные и

исторические предпосылки для такой постановки вопроса. В статье петербургских политологов-международников В.Н. Коньшева, Э. Ноцень, А.А. Сергунина тема символических границ ставится в связи с анализом символически-статусных стратегий государств – участников БРИКС. Предлагаемый авторами подход не только тестирует возможности теории статуса для объяснения поведения государств на мировой арене, но и демонстрирует взаимосвязи между внутренней и внешней символической политикой.

В рубрике «Политика идентичности на постсоветском пространстве» публикуются статьи, посвященные Украине и Крыму. Исследователи из Новосибирска *Д.В. Березняков* и *С.В. Козлов* продолжают экскурс в символическую политику Украины, начатый в предыдущем выпуске нашего ежегодника, анализом соотношения «советского» и «украинского» как символических ресурсов, используемых в процессе конструирования постсоветской украинской идентичности. Более нюансированный подход к той же проблеме можно обнаружить в статье харьковского филолога и культуролога *В.П. Хархун*, которая на примере музеефикации советского наследия показывает, как менялась политика идентичности на разных этапах истории независимой Украины. Предложенный автором анализ концепций музеев – института, который является важным, но мало изучаемым инструментом политики идентичности и политики памяти, – дает существенно более пеструю картину акторов и политик памяти по сравнению с выводами, представленными в предыдущей статье. Завершает рубрику статья краснодарского историка и политолога *А.В. Баранова*, посвященная анализу динамики гражданской, этнической и языковой идентичности населения постсоветского Крыма.

Нашу традиционную рубрику «Политика как производство смыслов» открывает статья ростовских исследователей *С.П. Поцелуева*, *М.С. Константинова*, *П.Н. Лукичёва*, *Л.Б. Внуковой*, *И.В. Николаева*, *А.В. Тушаева*, представляющая результаты исследования праворадикальных идеологов в представлениях донского студенчества. Авторы разработали весьма перспективную, на наш взгляд, методологию, сочетающую элементы концептно-морфологической теории М. Фридена, понятия «смутной идеологемы» М. Бахтина, а также «новый концепт» идеологии Т. ван Дейка. Полученные ими эмпирические результаты представляют несомненный интерес как с познавательной, так и с практической точки зрения: авторы завершают статью выводами, актуальными для разработки программы профилактики радикальных настроений. *И.В. Николаев* предлагает методи-

ку анализа ключевых вербальных символов и апробирует ее на примере трансформации структуры ключевых вербальных символов в послания президентов Федеральному собранию РФ. *В.Н. Ефремова* анализирует изменения в практике использования российских государственных праздников властвующей элитой на современном этапе, когда политика идентичности стала одним из ее приоритетов.

В рубрике «Перечитывая классику» представлены два обзора. *И.В. Фомин* представляет читателям «Символической политики» результаты сравнительного анализа концепции социальной воображаемости в работах Корнелиуса Касториадиса и Чарльза Тейлора. В статье рассматривается широкий круг онтологических и методологических проблем, скрывающихся за идеей «воображаемого сообщества» и другими привычными метафорами. Наш швейцарский коллега *Ф. Казула* предлагает читателям собственную реконструкцию концепций популизма и гегемонии Эрнесто Лакло, демонстрируя их потенциал для анализа современного подъема правого радикализма в Европе.

Завершает выпуск рубрика «С книжной полки», в которой мы публикуем рецензию *С.В. Васильковского* на книгу А. Эткинды «Кривое горе» и рецензию *О.Ю. Малиновой* на коллективную монографию «Новый русский национализм», подготовленную международным коллективом авторов под руководством Пола Колсто.

Литература

- Гельман В., Попова Е. Региональные политические элиты и стратегии региональной идентичности в современной России // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В.Я. Гельмана, Т. Хопфа. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2003. – С. 187–246.
- Гельман В., Хопф Т. Центр и региональные идентичности в России: рамки анализа // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В.Я. Гельмана, Т. Хопфа. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2003. – С. 7–28.
- Гигаури Д.И. Символические измерения политики идентичности // Теория и практика общественного развития. – Краснодар, 2015. – № 15. – С. 83–87.
- Здравомыслова Е.А. «Солдатские матери»: мобилизация традиционной женственности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2005. – № 3. – С. 39–65.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Малинова О.Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: От 1990-х к 2010-м годам // Полис. Политические исследования. – М. 2016. – № 6. – С. 139–158.

- Поцелуев С.П. Символическая политика: Конstellация понятий для подхода к проблеме // Полис. Политические исследования. – М., 1999. – № 5. – С. 62–76.
- Рябов Д.О. Образ России в политике европейской идентичности ЕС: Автореф. дис. ... канд. полит. н. – СПб., 2016. – 32 с.
- Семененко И.С. Политика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. / Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011 – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий. – С. 162–168.
- Семененко И.С. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст // Полис. Политические исследования. – М., 2016. – № 4. – С. 8–28.
- Фадеева Л.А. Политика идентичности: акторы, стратегии, дискурсы // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 72–98.
- Цумарова Е.Ю. Политика идентичности: politics или policy? // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – Пермь, 2012. – № 2. – С. 5–16.
- Aronwitz S. The politics of identity: Class, culture and social movements. – L.: Routledge, 1992. – x, 287 p.
- Balibar E. Culture and identity (working notes) // The identity in question / Ed. by J. Rajchman. – N.Y.; L.: Routledge, 1995. – P. 173–198.
- Bernstein M. Identity politics // Annual review of sociology. – Palo Alto, CA, 2005. – Vol. 31. – P. 47–74.
- Bradbury J., Andrews R. State devolution and national identity: Continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales // Parliamentary affairs. – Oxford, 2010. – Vol. 63, N 2. – P. 229–24.
- Calhoun C. Social theory and the politics of identity // Social theory and the politics of identity / Ed. by Calhoun C. – Oxford: Blackwell, 1994. – P. 9–36.
- Castells M. The information age: Economy, society, and culture. – 2 nd ed. – L. etc.: Wiley – Backwell, 2010. – Vol. 2: The power of identity. – xlv, 538 p.
- Hall S. The question of cultural identity // Modernity: An introduction to modern societies / Ed. by S. Hall et al. – Cambridge, MA: The Open univ., 1996. – P. 596–634.
- Halliday D., Ferguson N. When peace is not enough: The flag protests, the politics of identity & belonging in East Belfast // Irish political studies. – L., 2016. – Vol. 31, № 4. – P. 525–540.
- Hay C. Structure and agency // Theory and methods in political science / Ed. by D. Marsh, G. Stoker. – N.Y.: St. Martin's press, 2010. – P. 189–206.
- Hayday M. Fireworks, folk-dancing, and fostering a national identity: The politics of Canada day // The Canadian historical review. – Toronto, 2010. – Vol. 91, N 2. – P. 287–314.
- Kenny M. Politics of identity: Liberal political theory and the dilemmas of difference. – Cambridge: Polity press, 2004. – xiv, 212 p.
- Laden A.S. Reasonably radical. Deliberative liberalism and the politics of identity. – Itaca etc.: Cornell univ. press, 2001. – xii, 226 p.
- Manicom J. Identity politics and the Russia-Canada continental shelf dispute: An impediment to cooperation? // Geopolitics. – L., 2013. – Vol. 18. – P. 60–76.
- Miller D. Citizenship and national identity. – Cambridge: Polity press, 2000. – 224 p.

- Podoler G. Who was Park Chung-hee? The memorial landscape and National Identity Politics in South Korea // East Asia. – Singapore, 2016. – Vol. 33. – P. 271–288.
- Somers M. The narrative constitution of identity: a relational and network approach // Theory and society. – Dordrecht, 1994. – Vol. 23, N 5. – P. 605–649.
- Williams M. The uneasy alliance of group representation and deliberative democracy // Citizenship in diverse societies / Ed. by Kymlicka W., Norman W. – Oxford: Oxford univ. press, 2000. – P. 124–152.
- Young I.M. Justice and the politics of difference. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1990. – 286 p.
- Young I.M. Difference as a resource for democratic communication // Deliberative democracy: Essays on reason and politics / Ed. by Bohmon J., Rehg W. – Cambridge, MA: MIT Press, 1997. – P. 383–407.

О.Ю. Малинова,
доктор философских наук, профессор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
главный научный сотрудник ИНИОН РАН,
e-mail: omalinova@hse.ru

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИДЕНТИЧНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

И.С. Семененко *

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: МЕНЯЮЩАЯСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Аннотация. В статье представлена отражающая состояние современного научного дискурса синтетическая трактовка политики идентичности, включающая и ее макрополитическую (политики формирования национальной и гражданской идентичности), и ее групповую (борьба за права меньшинств) составляющие. Рассмотрены возможности и ограничения реализации такой политики, основное внимание уделено анализу изменений повестки дня политики государства, ее переформатированию на решение задач управления культурным разнообразием в современных многокультурных обществах. В центре политики идентичности – уровень территорий, здесь в дискуссию о приоритетах такой политики и в реализацию конкретных социальных практик активно вовлечен широкий круг акторов. С изменением политико-управленческих приоритетов связаны трансформации политического ландшафта современных демократий, в частности рост влияния этнорегионалистских политических сил. Поставлен вопрос о путях консолидации гражданских наций вокруг стратегии «ответственного развития».

Ключевые слова: политика идентичности; гражданская идентичность; институт гражданства; национальное государство; группы интересов; нациестроительство; национальная идентичность; стратегия «ответственного развития».

* **Семененко Ирина Станиславовна**, член-корреспондент РАН, доктор политических наук, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, научный руководитель экспертной Сети по исследованию идентичности (<http://identityworld.ru/>), e-mail: isemenenko@mail.ru

Semenenko Irina, Centre for Comparative Socio-Economic and Political Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (Moscow, Russia); Identity Research Network (<http://identityworld.ru/>), e-mail: isemenenko@mail.ru

I.S. Semenenko
Identity politics: A changing agenda

Abstract. The author argues for a complex approach to identity politics in the expert discourse. This concept includes both the macropolitical dimension – politics addressing civic and national identity issues – and the promotion of minority group rights. The paper evaluates the possibilities and the limitations of the identity politics focusing on the changing agenda of the nation-state. This agenda is now concentrated on the governance of diversity in multicultural societies, including the local level where different actors are engaged in promoting public policies aimed at identity formation. In this context, ethnic and regional parties are gaining public support, and the political landscape in Europe is swiftly changing. A national consensus over the «responsible development» agenda is a feasible answer to these challenges.

Keywords: identity politics; civic identity; citizenship; nation-state; interest groups; nation-building; national identity; «responsible development».

В самом широком смысле целенаправленное влияние субъектов политики на формирование ориентиров идентичности сообществ или индивидов в политических целях можно трактовать в контексте «политики идентичности». Как направление публичной политики, реализуемой от имени государства, политика идентичности чаще рассматривается в конкретных ракурсах символической политики, политики памяти, политики языка, образовательной политики. Такая политика поддерживает пространства взаимодействий в публичной сфере и задает конкретные ориентиры, с которыми человек отождествляет себя в публичном пространстве. Ее эффективность оценивается в контексте формирования гражданской идентичности, однако реальные результаты могут быть противоречивыми, особенно в случае коллизий групповых интересов, связанных с ее ценностными основаниями и конкретными приоритетами.

В формировании повестки дня политики идентичности на разных уровнях ее реализации вовлечен, помимо государства, местных властей, институтов социализации, широкий круг акторов, включающий бизнес, гражданские организации, СМИ, экспертные сообщества, публичных интеллектуалов, деятелей культуры. Национальное государство сталкивается с размыванием значимости института гражданства, идут поиски новых траекторий нациестроительства (на путях как деволюции, федерализации, так и наднациональной интеграции). На уровне территорий, где эти акторы встречаются лицом к лицу, встает вопрос о совмещении приоритетов формирования и поддержания национальных, территориальных, этнокультурных идентификаций в широких рамках общегражданской идентичности. Изучение практик формирования и динамики

идентичностей на этом уровне становится поэтому ключевым исследовательским приоритетом. Новую повестку дня политики идентичности определяют сегодня тенденции развития многокультурных обществ: усложнение их структуры, пересмотр параметров «общественного договора» о развитии как непрерывном повышении качества жизни, неопределенность социальных горизонтов для вступающего в жизнь поколения.

Политика идентичности в научном дискурсе

В современной политической науке утверждается широкое толкование политики идентичности, опирающееся на анализ субъектов и практик, которые формируют идентичности политических сообществ. Оно связывается с деятельностью государства и его институтов по поддержанию общих ценностных оснований принадлежности к политическому сообществу и общих ориентиров его развития, общих представлений о «нас» как нации, стране, государстве, регионе, территории. Под *политикой идентичности* в этом контексте понимается деятельность по формированию и поддержанию национальной (национально-государственной), гражданской и иных форм макрополитической идентичности. Такая идентичность оказывается объектом целенаправленного воздействия и взаимодействия государства и групп интересов на путях формирования общих ценностей и ориентиров развития политического (национального, территориального) сообщества и групповых солидарностей внутри этого сообщества, поддержания чувства личной принадлежности к нему. Государство – ключевой актор политики идентичности в этом поле: оно использует институты социализации (систему образования, воинскую службу), инструменты публичной политики и СМИ для легитимации властных институтов и для организации взаимодействия социальных субъектов вокруг определенной повестки дня, для вовлечения граждан в такие взаимодействия.

В зарубежном научном и политическом дискурсе политика идентичности традиционно ассоциируется с борьбой за признание социально ущемленных групп интересов, отстаивающих «право на идентичность». Сам термин «политика идентичности» (*identity politics*) утвердился в англоязычной научной литературе в рамках конструктивистской парадигмы анализа социально-политических

изменений (П. Бурдье) на волне подъема движений за права дискриминируемых социальных групп. Собственно, его и вызвал к жизни этот подъем: в результате общественные науки наконец «повернулись лицом» к осмыслению значения целенаправленного формирования идентичности для понимания сущностных характеристик социальных изменений и политической борьбы [Social theory... 1994, p. 4].

Понятие «*политика идентичности*» в этом контексте стало широко использоваться в англоязычной литературе для описания отстаивания ущемленными в социальном статусе меньшинствами и группами (расовыми, этническими, конфессиональными, гендерными и др.) права на общественное признание и легитимность именно в качестве носителей определенной идентичности, значимой для их консолидации как участников политического процесса. Субъектами политики идентичности в этом понимании выступают группы интересов, объединяющиеся на аскриптивных или / и идейных, мировоззренческих основаниях. Их члены отстаивают свою «особую» идентичность перед лицом общества и государства и в процессе самоорганизации консолидируются в протестные сообщества на основе утверждения культурных различий с «большинством». Политика идентичности стала механизмом самоорганизации новых субъектов политики в рамках их борьбы за политико-правовое признание права на инаковость, за новые альтернативы развития в разных сферах социальной жизни.

В то же время ожесточенная «борьба за идентичность» [см.: Борьба за идентичность... 2012] подняла волну критики политики идентичности в ее групповой ипостаси: в зарубежной литературе ей «вменяется» реификация (гипостазирование) групповых идентичностей (постструктуралистский взгляд), продвижение одной повестки дня за счет других – интересов и притязаний меньшинств за счет большинства (критика «справа»), «права на идентичность» в ущерб экономическим и социальным правам (критика «слева») [Gurbuz, 2008, p. 468]. Несмотря на критику понятие широко используется в научном дискурсе, в англоязычной литературе – в основном по-прежнему применительно к продвижению групповых интересов. Российские исследователи соотносят политику идентичности с деятельностью широкого круга акторов [см. об этом: Семененко, 2011; Фадеева, 2015], что, на наш взгляд, отражает ее сущностные характеристики.

Политика идентичности и траектории государственности

Сегодня политика идентичности, проводимая от имени государства, рассредоточивается на разных уровнях власти и управления – наднациональном (макрорегиональном), региональном, локальном – и реализуется через разнообразные социальные практики.

Такая политика целенаправленно используется политическими элитами в качестве инструмента нациестроительства. В странах, решающих задачи консолидации политической нации, политика идентичности может стать средством реализации государственной стратегии развития и социальной мобилизации в рамках авторитарной модернизации (примером является Сингапур периода президентства «отца сингапурского чуда» Ли Куан Ю). Очевидно, что государство не может рассчитывать на собственные усилия в деле продвижения «национальной идентичности в качестве ключевого идентификационного ориентира для своих граждан», оно обязательно столкнется с отпором со стороны многих из них; люди сами найдут пути идентификации с нацией или со своей территорией, а кто-то будет этому противиться; задача государства – «создать рамочные условия, инфраструктуру для того, чтобы стимулировать формирование коллективных идентичностей» в интересах общественного развития [Muir, 2007, p. 17]. Любые «перенапряженные проекты самоорганизации общества» (в терминах Ю. Хабермаса) в долгосрочной перспективе оказываются контрпродуктивными. Как показал советский опыт, на пути жесткого конструирования политической идентичности государство рано или поздно попадает в «ловушку неразвития». Закоснение политических институтов ведет к перманентному кризису идентичности, вырастающему из насильственного навязывания индивиду жестких идентификационных моделей и безальтернативных идеологических установок. Конструктивный «противовес» рискам – вовлечение в реализацию политики идентичности конкурентных элитных и неэлитных групп интересов.

В многосоставных обществах, где утверждаются и переутверждаются множественные идентичности, каждая из таких социальных идентичностей – будь то этническая, конфессиональная, территориальная, профессиональная, гендерная или иная – в ходе «борьбы за идентичность» ищет выходы в политическую сферу. В результате дискурс национальной идентичности, в котором сходятся и переплетаются разные политические интересы и их символические репрезентации, оказывается высокополитизированным.

Сегодня этот дискурс вновь принимает метафорическую форму «национального вопроса». Говоря словами Алена Турена, по мере адаптации общества к социальным вызовам «национальный вопрос» возвращается «в форме дебатов об идентичности» [цит. по: Альтерматт, 2000, с. 15].

Нельзя не согласиться с логикой Ю. Хабермаса, который считает, что в современных политиях «общественные дискурсы приобретают резонанс исключительно в той степени, в какой они обладают диффузностью, а значит, при условии широкого, активного и в то же время не централизованного участия граждан. Последнее, в свою очередь, требует, чтобы за всем этим стояла эгалитарная политическая культура, в своем формировании свободная от всяких привилегий, интеллектуальная во всем своем объеме» [Хабермас, 1995, с. 55]. Это напрямую касается и дискурса о национальной идентичности, выступающего в качестве объединяющего государство и общество начала.

Национальная идентичность формируется в культурном поле в форме дискурсов и нарративов об истории национального сообщества, объединяющих его членов ценностей и представлений о самих себе, определяя общее видение прошлого и будущего. Исследования опыта ее конструирования на примере разных стран доказывают особую роль в этом процессе практик формирования общего исторического дискурса о нации. В рамках конструктивистского подхода утвердилась роль политики памяти [Франция – Память, 1999] как важнейшей составляющей политики идентичности, формирующей национальную идентичность. Конструирование представлений о прошлом используется как «властный ресурс» [Символическая политика, 2012; Малинова, 2015], в трансформирующихся обществах – в первую очередь именно в контексте нациестроительства. Политика памяти стала неотъемлемой частью публичной политики. Обращение к памяти особенно активно эксплуатируют «национализирующиеся сообщества» (*nationalizing states* – в терминах Роджерса Брубейкера), они важны для поддержания образа «себя» и «других» как референтных координат государственности. «Национализирующие дискурсы» (*nationalizing discourses*) и практики [Brubaker, 2011] подчеркивают многомерность самого процесса нациестроительства и необходимость использования разных инструментов и подходов к оценке его содержания. Ключевая роль отводится в этом контексте общим культурным практикам, в первую очередь – языку как видимому признаку *со*-общественности, который может быть «как основанием для выделения группы, инст-

рументом ее воспроизводства, так и причиной фрагментации сообщества, предметом политических требований ее носителей о защите своих прав» [Борисова, 2016, с. 67].

Главным вызовом для социальных наук по-прежнему остается переосмысление «национальной» государственности как структуры, имманентно присущей современности, и оценка вариативности траекторий национального строительства. В российском научном дискурсе понятия «национальное государство», «нация-государство» и (реже) «государство-нация» употребляются в основном как синонимы. Они указывают на исторический характер государственности и имплицитно – на ее ориентацию на исторические (европейские) модели нациестроительства. Если же ставить вопрос о разведении этих формул, то нация-государство (калька с английского – англ. nation state) скорее делает смысловой упор на нацию как основу государственности. Очевидно, что этот незатухающий спор о «первородстве» того либо другого, как и дискуссия о политической субъектности государства и нации, неотделимы от исторического контекста, поскольку связаны с разными траекториями становления национальной государственности. При этом, принимая во внимание современную диалектику национальной и государственной идентификаций, предпочтительнее, на наш взгляд, говорить о *национально-государственном сообществе*, о *политической нации* как его субъекте и о формировании в качестве ее основы *гражданской нации*.

Проблемы взаимосвязи национального, гражданского и государственного начал по-разному стоят, с одной стороны, в странах Запада, отягощенных вызовами инокультурной иммиграции и поисками приемлемых для своей государственности путей утверждения прав автохтонных меньшинств на автономию, а с другой – в трансформирующихся полиэтнических обществах, вставших на путь создания новой государственности, там, где только набирают силу процессы модернизации, и там, где межэтнические конфликты и нарастающее социальное неравенство оказываются серьезными препятствиями на ее пути. По сути, речь идет о совмещении этих начал в «пересекающихся» контекстах национальной и гражданской идентичности.

В современной политике национальная идентичность предполагает самоидентификацию индивида с политической нацией на основании соотнесения с ее политической культурой и институтами. Она опирается на чувство общности с согражданами и эмоциональное переживание такой общности, в том числе – в контексте гражданского участия, протестной и непротестной социальной

активности, т.е. на гражданскую идентичность. Но уверенность в том, что «демократическое гражданство не нуждается в укоренении в национальной идентичности какого-либо народа (и что) ...будучи индифферентным к многообразию различных культурных форм жизни, оно требует социализации всех граждан в рамках общей политической культуры» [Хабермас, 1995, с. 223], оказывается сегодня под вопросом. Так происходит даже в тех демократических политических сообществах, где достигнуты заметные успехи на пути утверждения гражданского равноправия и социальной защищенности граждан. Гражданская модель политической нации, призванная формироваться поверх социокультурных различий, не проходит проверку практиками регулирования социальных и мировоззренческих размежеваний в многокультурных обществах.

Социальная динамика развитого общества привела к падению значимости традиционных институтов социализации, в первую очередь института семьи. Некоторые социальные практики «переформируются». Так, иным становится круг вовлеченных в религиозную жизнь и в околоцерковную социальную деятельность людей, сюда приходит и новое поколение ищущей молодежи. На смену секулярному идет «постсекулярное» общество, которое осмысливает себя в категориях постсекулярного сознания [Хабермас, 2008]. Гражданское участие прорастает новыми практиками на уровне местных сообществ. Тенденции в развитии массовой политики свидетельствуют о растущем осознании кризисного состояния той модели управления, которую до сих пор пыталось предложить национальное государство.

Не справляясь в условиях демографического перехода с грузом возросших социальных обязательств, которые самое защищенное за всю социальную историю послевоенное поколение «беби-бумеров» (нынешних 50–60-летних) до сих пор рассматривало как само собой разумеющиеся, государство оказывается перед угрозой размывания ориентиров национально-государственной идентификации своих граждан. Гарантии социальной защищенности и определенного качества жизни до сих пор связывались именно с государством. Неисполнение обязательств в социальной сфере и в сфере обеспечения личной безопасности, которые граждане рассматривают как смысл его существования, ставит под вопрос государствоцентричную парадигму развития в том виде, в каком она сложилась сегодня.

Но гражданских и политических скреп оказывается недостаточно для необходимой национально-государственному сообществу социальной солидарности. Кризис мультикультурализма (или, точнее, государственной политики мультикультурализма как принципа

поддержки претендующих на культурную особость групп в составе многокультурного национального сообщества) поставил этот вопрос в повестку дня публичной политики всех (за исключением разве что маленькой Исландии) развитых стран. В европейских государствах – наследниках колониальных империй с большими автохтонными меньшинствами, обладающими сегодня значительной степенью национально-территориальной автономии, – Великобритании, Испании – в дискуссию о нынешних ориентирах национальной идентичности и о понимании «национального» вовлечены публичные политики, научные и экспертные структуры, СМИ. Общие культурно-цивилизационные образцы рассматриваются сторонниками нового нациестроительства как самодостаточные основания политической идентификации. Приверженцы упрочения суверенитета в исторически сложившихся границах национальной государственности ратуют за консолидацию граждан на основе национально-государственной идентичности поверх культурных различий (даже если в силу непопулярности у рядового гражданина такого рода лояльностей государственническое начало ослабевает).

Идентичности между территорией и пространством

В условиях индивидуализации сознания и открытых границ информационного общества все меньше людей полагают для себя жизненно важным связывать личные перспективы с перспективами развития государства. Гражданско-правовые отношения оказываются для этого непрочным основанием. В «обществе риска» (по широко известному выражению У. Бека) ощущение себя частью национально-государственного сообщества не переживается как жизненная потребность, уступая в системе самоопределения человека иным – личностным и групповым – приоритетам. Опасаясь, что этот процесс может привести в странах с развитой системой артикуляции и продвижения интересов к кризису государственности, политический класс, для которого государство остается источником не только властных полномочий, но и социального статуса, ищет возможности консолидации политической нации на путях конструирования новых общенациональных идентификационных ориентиров.

Как указывал в одном из своих последних интервью З. Бауман, «объединению власти и политики в руках национального государства пришел конец. Потому что власть глобализована,

а политика столь же локальна, как и раньше... Наши демократические институты не были созданы для того, чтобы функционировать в ситуациях (глобальной. – *Авт.*) взаимозависимости. Нынешний кризис демократии – это кризис демократических институтов», в первую очередь – кризис доверия граждан к их способности решать насущные проблемы людей [Bauman, 2016].

С помощью политики территориальной идентичности [Роккан, Урвин, 2003] поддерживаются образы общего политического пространства и конструируются имиджи, работающие на продвижение групповых политических интересов – как местных элит, так и контрэлит – региональных сепаратистских движений. Общественный запрос на консолидацию территориальных идентичностей в целях развития целенаправленно эксплуатируют регионалистские партии и движения. Создавая институты культурной и экономической автономизации, они закладывают основания для продвижения проектов политического самоопределения административно-территориальных сообществ, которые образуют имеющие особый статус «внутренние нации» (*home nations*) или национальные меньшинства. Самоопределение нации ставится, таким образом, в прямую зависимость от наличия собственной государственности, принимая формы политического конфликта и стимулируя рост сепаратистских настроений (как в случае Шотландии, Фландрии, Квебека, Каталонии). Пример успешного регулирования на путях деполитизации конфликтного противостояния, каковой считается сегодня ситуация в Южном Тироле – автономной провинции в составе итальянского региона Трентино-Альто Адидже, – указывает на важность последовательной языковой политики и бюджетной автономизации. Эти вопросы находятся в центре повестки дня политики идентичности, на которой строят свою деятельность этнорегионалистские политические партии. Далеко не все из них выступают с сепаратистских позиций, но все активно эксплуатируют ту роль, которую «разнообразные территории играют в конструировании индивидуальных и коллективных идентичностей» [Филиппова, 2011, с. 5].

Сегодня в западноевропейском политическом ландшафте укоренилась многочисленная семья таких политических сил. По подсчетам финского исследователя А. Фагерхёльма, в 2000–2014 гг. в Западной Европе насчитывалось более 100 регионалистских партий, партийных группировок и коалиций [см.: Fagerholm, 2016, р. 330–338]. Всех их объединяют требования децентрализации управления и, за отдельными исключениями, борьба за права

этнических меньшинств [см.: Fagerholm, 2016, p. 330–338]. Вектор такой политики противоположен вектору политики консолидации национально-государственных сообществ.

В трансформирующихся обществах политика идентичности во многом подменяет национальную идеологию, компенсируя идиосинкразию в отношении жестких идеологических моделей. Но упор здесь делается на конструировании национально-государственной идентичности на цивилизационных основаниях, на формировании ее национально-цивилизационной опоры. Эффективность политики идентичности во многом предопределяет сегодня экономический успех, фактор динамичного социального развития.

На постсоветском пространстве на первом этапе утверждения государственного суверенитета такую политику отличало стремление любой ценой дистанцироваться от общего советского опыта, утвердить исторические основания собственной государственности. Национальная идентичность выстраивалась на противостоянии с Россией как бывшим «Большим братом» и правопреемницей СССР. В качестве инструментов использовались язык «титulyного» народа, признанные (а зачастую и наспех сконструированные) культурные традиции и мифы, которые создавались на основании радикального переосмысления истории страны и народа, и другие средства из арсенала символической политики, призванной утвердить новые формы национально-государственного самостояния. Национализм как культурный феномен, представляющий собой «течение, стремящееся соединить культуру и государство, обеспечить культуру своей собственной политической крышей, и при этом не более чем одной» [Геллнер, 1991, с. 104], получал таким путем политико-институциональное оформление.

Однако акцент на наследии «титulyных» народов и неспособность правящих элит предложить позитивный модернизационный проект породили новые линии социальной напряженности в постсоветских обществах, способствовали углублению социокультурных (социальных, этнических, религиозных, поколенческих) разломов и новым выбросам этнонационализма. На рубеже 2000–2010 гг. политика идентичности, проводимая от имени государства на постсоветском пространстве, становится более дифференцированной. Сегодня постсоветское пространство дает разнообразные примеры инструментов политики идентичности, ориентированной на формирование новой государственности, – от агрессивной этнизации дискурса до поисков работающих механизмов общественной консолидации на основе гражданских ценностей.

Разделяемая гражданами страны идентичность оказывается важнейшим интегратором в эпоху социальной фрагментации. Но сегодня она уже не ассоциируется исключительно или даже преимущественно с государством или со страной. Поэтому вопрос о том, «насколько границы пространства суверенитета нации совпадают с границами пространства идентичности ее членов» [Филиппова, 2011, с. 7], оказывается ключевым для прогнозирования траекторий национальной государственности.

Раздвигая рамки «методологического национализма»

Вызов политической субъектности государства как национальной общности бросают новые акторы мировой политики. В их числе – наднациональные финансовые и экономические игроки, транснациональные и трансграничные политические акторы [см.: Транснациональные политические пространства... 2011] и диаспоральные миры, структуры глобального гражданского общества и космополитизирующий корпоративный бизнес. Отношения между государством и бизнесом в этом контексте институционализирует модель корпоративного гражданства [Перегудов, Семененко, 2008].

Тренды формирования наднациональных макрополитических пространств и глобального гражданского общества «реформатируют» саму систему идентификационных ориентиров человека. Но их политико-институциональное оформление отстает, или, скорее, слабо соотносится с рисками современного развития. Поэтому сегодня в условиях понижения порога конфликтности на разных этажах организации общества на первый план в дискурсе идентичности выдвигается проблема глобальной управляемости (global governance).

Рядовой гражданин развитого мира вовлечен в эту дискуссию через сетевые коммуникации. Проблемы глобальной управляемости прямо врываются и в повседневность, в которой протекает его жизнь: это ярко высветил экономический кризис рубежа первого десятилетия XXI в. Но сама повседневность возвращает в жизненное пространство символы и ориентиры, которые напоминают о принадлежности к национальному и локальному сообществам, по преимуществу – в превращенном, адаптированном под нужды «обычного человека» виде. Как символы национальной идентичности воспринимаются герои массовой культуры. Самый яркий пример в этом

ряду – спорт: национальная самоидентификация происходит путем эмоционального приобщения к спортивным достижениям своих сограждан: для носителей двойных идентичностей проблема выбора «своей» команды зачастую оказывается лакмусовой бумажкой степени их интегрированности в принимающее сообщество. Спорт становится зримым воплощением национальной идентичности [см.: Vairner, 2005]. К сожалению, как показали допинговые скандалы, в том числе и в негативном ракурсе размывания национальной идентичности.

«Оповседневливание» дискурса идентичности, его адаптация к практикам общества потребления происходит разными путями. Эти механизмы подробно описаны в литературе, но сама проблема «воссоединения» социальной науки и повседневности» становится актуальной и для политической практики: через такое слияние «национальное живо и жизненно, представляет собой синтез идеи и жизни, причем синтез с элементом ‘отрешенности’, что придает национальному существованию высокую напряженность и огромный энергетический потенциал» [Ионин, 2000, с. 207].

Государство в лице политической элиты и бюрократии не готово отказаться от притязаний на доминирование на поле национальной идентичности, усматривая здесь новые возможности легитимации власти в конкурентной борьбе за влияние в новых политических пространствах современности. При этом идеологические проекты такого рода облекаются в прагматические формы, а сверхзадачей оказывается социально-политическая консолидация государства и общества вокруг повестки дня национального развития. В идеале и само «демократическое правовое государство становится проектом, а одновременно результатом и катализатором рационализации жизненного мира, выходящей далеко за пределы политической сферы. Единственное содержание проекта – постепенно улучшающаяся институционализация способов разумного коллективного формирования воли, которое не могло бы нанести никакого ущерба конкретным целям участников процесса» [Хабермас, 1995]. На этой основе формируются «проективная» идентичность [Castells, 1997, р. 8] и общественный запрос на нее. В такой идентичности заложены ресурсы развития, однако они давно вышли за пределы компетенции государства и его юрисдикции.

Ресурсы могут обернуться и серьезными рисками для национально-государственного сообщества и для его граждан: в отсутствие объединяющего начала в ходе «борьбы за идентичность» и ее политизации усиливается отчужденность носителей

разных ценностей, культурных норм и стилей жизни, распадается привычная социальная ткань современных обществ. Сообщества граждан выстраиваются на основании разных идентификационных ориентиров, и гражданская активность может развиваться вне и помимо привычных форм, обращенных к институтам государства. Российские исследователи разделяют противоположные по своим социальным последствиям модернизаторскую «политику граждан» и «политику массы» как фактор «архаизации и упразднения современной политики» [Массовая политика, 2015].

В конкурентной борьбе идентичностей просматриваются еще неясные очертания политико-институционального устройства будущего мира. Государства, скорее всего, найдут в нем свое место, но им придется выстраивать политико-правовые режимы взаимодействия с другими, негосударственными политическими акторами, искать новые формы и практики согласования интересов. В этих условиях ключевым вызовом социально-политического развития современного мира становится качество универсалистских оснований политической идентичности и содержание повестки дня политики идентичности, степень ее ориентации на саморазвитие личности и на нравственно-этические нормы, поддерживающие социальную солидарность во всех сферах общественной жизни.

В системе ориентиров идентичности современного человека, погруженного в глобальные информационные потоки, национальная идентичность занимает зачастую далеко не первое место. Нация теряет привычные опоры культурно однородного, институционально устойчивого сообщества, ориентированного на общую территорию, общий экономический интерес и общенациональный рынок. Но эмоциональная потребность в устойчивых основаниях и ориентирах социального общежития остается. Именно она подпитывает стойкие этнические и этнонациональные (отождествляющие национальную и этническую идентичности) солидарности. На вопрос о том, «какую форму приобретут тесно связанные сообщества и демократическое гражданство после того, как уйдут в прошлое унитарные модели гражданства, чтобы обеспечить на будущее возможности для демократического согласования и экспериментирования, а также признания разнообразия» [Бенхабиб, 2003, с. 219], ответа пока нет. У таких сообществ могут быть и демократические, и иные, недемократические альтернативы развития.

Политика идентичности: Новая повестка дня

Пороговый характер современного развития заставляет искать адекватные инструменты для прогнозирования изменений. Российские исследователи выделяют несколько векторов структуризации современных обществ, позволяющих характеризовать их в категориях «культурной сложности»: внутренняя мобильность и «размывание границ некогда более определенных ареалов культурно отличительных сообществ»; изменившаяся трансграничная миграционная активность; рост партикулярных форм идентичностей среди автохтонного населения; формирование новых трансграничных космополитических форм идентичности [Культурная сложность... 2016, с. 3–6]. Очевидно, что насущная для многокультурного общества задача управления разнообразием ставит вопрос о *повестке дня, рисках и ограничениях политики идентичности*, о возможностях ее *переструктурирования на решение этой политико-управленческой задачи*. При этом «ловушка» для государства состоит в том, что эффективность такой политики определяет вовлеченность в «борьбу за идентичность» разных субъектов политического процесса, и государству приходится целенаправленно и последовательно «демонополизировать» это поле. В рамках авторитарных режимов подобная задача оказывается неразрешимым системным противоречием политического управления.

Может ли «политика управления разнообразием» обновлять и поддерживать социальные скрепы «старых» национально-государственных сообществ, способствовать появлению «здоровых», инклюзивных проявлений национализма и гражданственности, поддерживать более справедливое распределение ресурсов в рамках целенаправленной социальной политики и гражданскую солидарность постольку, поскольку гражданское участие развивается в публичной сфере, существование которой обеспечено государством [Brubaker, 2004, p. 123]? Как считает известный канадский теоретик мультикультурализма У. Кимлика, «либеральная теория пока не сумела прояснить природу того “особого чувства” (peculiar sentiment), которое способно быть источником общей идентичности в государствах, где два или несколько сообществ считают себя “самоуправляющимися нациями”» [Kymlicka, 1995, p. 192].

В условиях современного неустойчивого и конфликтного миропорядка растет разнообразие траекторий нациестроительства. Реалии существования территориально разделенных народов в европейских государствах с разным видением этой проблемы –

будь то баски, албанцы, сербы, киприоты, ирландцы, венгры, немецкоговорящее население Южного Тироля или саамы – дают примеры разных политико-институциональных форм урегулирования потенциальных эффектов сепаратизма и ирредентизма. Миграционные вливания в национально-государственные сообщества, оформившиеся в эпоху модерна, придают этой проблеме новое измерение, в том числе и в самих разделенных национально-государственных сообществах (яркий пример – Бельгия). Попытки вынести вопрос о диалектике (ресурсном потенциале и ограничениях) разнообразия за скобки политической повестки дня рано или поздно ведут к эскалации конфликтности и росту поддержки правонационалистических сил. За такой альтернативой маячат проекты пересмотра существующей территориально-государственной организации мирового сообщества путем конструирования политического порядка иного качества. Развитие ситуации на Ближнем Востоке приближает к пониманию того, какой может быть эта новая реальность...

Неоднозначной оказывается сегодня оценка возможностей политического регулирования сферы этнонациональных отношений. Преференциальная политика и «позитивная дискриминация» (*affirmative action*) противоречат, как считают одни влиятельные теоретики, самим принципам демократии: чем больше предпринимается усилий по поддержанию различий, тем больше такие действия стимулируют углубление различий [Sartori, 1997]. Публичная сфера должна оставаться нейтральной по отношению к культурным различиям независимо от их природы, чтобы поддержка одних не обернулась ущербом для других на индивидуальном уровне. Однако на практике позитивная дискриминация в отношении представителей разных групп меньшинств остается инструментом управления разнообразием в контексте государственной политики мультикультурализма.

Другие влиятельные публичные интеллектуалы видят в политике признания и поддержания различий весьма действенный механизм обеспечения равных возможностей и социальной справедливости [см.: Taylor, 1994]. При этом политика различий должна быть ориентирована на нужды конкретных групп, на вовлеченность носителей разных культур в общую культурную среду (*societal culture*) и не восприниматься как абстрактный принцип либеральной демократии [Kymlicka, 1995]. На это делают упор, в частности, теоретики модели «активного гражданства». Лицом к активной политике идентичности как инструмента консолидации гражданской нации

поворачиваются управленческие практики на местном уровне: упор здесь делается на общих для национальной повестки дня и развития местных сообществ проблемах – «поддержке политического участия и развитии гражданского активизма, социальной солидарности, разнообразия и борьбы против дискриминации и разного рода предрассудков» [Muir, 2007, p. 6]. Элементы такой модели внедрены в систему образования в Великобритании, Канаде, Дании, Голландии. «Активное гражданство» предполагает вовлеченность в практики гражданского взаимодействия – волонтерские инициативы, благотворительную деятельность, переработку отходов и другие формы сокращения собственного «экологического следа». Однако ценность диалоговых взаимодействий как модели, призванной поддерживать определенный уровень социальной включенности, очевидна отнюдь не всем новым гражданам. Если же блокируется развитие диалоговой культуры, то результатом неизбежно становится социальное отчуждение.

Возможности укоренения модели «активного гражданства» усматриваются в корректировке политико-культурных ориентиров общества, например в русле «конституционного патриотизма» – широко известной концепции Ю. Хабермаса, которая предполагает трансформации и институтов, и политической идентичности. Между тем траектории такой трансформации отнюдь не предопределены: культура всегда «имеет значение» [Culture matters, 1996]. Корректировка культурных разрывов средствами публичной политики (в частности, через институты социализации) дает хотя и ощутимые, но ограниченные результаты. Если же говорить о культурной природе межэтнических конфликтов, то их причины «лежат не в самом факте существования в обществе качественных различий в векторах направленности, но прежде всего в дефиците культуры всего общества, слабом развитии ценности диалога, недостаточной способности к поиску путей предотвращения опасностей дезорганизации, катастроф, путей использования специфических ценностей разных процессов для жизнеутверждающего синтеза» [Ахиезер, 2001, с. 100].

Предписанная культурной нормой групповая аффилиация по определению противоречит принципам прав и свобод человека: это главная мишень критиков интеграционных практик, выстроенных на основе доктрины мультикультурализма. Но индивидуальные стратегии социализации носителей разных культур, которые предлагается брать на вооружение в рамках «интеркультурных»

взаимодействий, призванных заменить эту теряющую привлекательность модель, могут заметно расходиться друг с другом.

Механизмы такой социализации – это прицельные инициативы, требующие не только больших затрат (не случайно профессия социального работника становится одной из самых востребованных), но, главное, мотивации участников. По сути, речь идет о политике формирования инклюзивных идентичностей, открытых диалогу и «иному» опыту. Как процессуальна социальная идентичность, так и такая политика – это процесс формирования ценности социальных взаимодействий и вовлечения активных граждан в такие взаимодействия в рамках разных социальных институтов. Укрепление гражданских скреп современных обществ – необходимое и приоритетное, но недостаточное для этого условие. Поиски ответов, адекватных вызовам политизации этничности, на пути формирования гражданской идентичности и консолидации гражданской нации становятся в этих условиях точкой схождения приоритетов научных изысканий и практик политического регулирования [см.: Семененко, 2015].

В долгосрочной перспективе встает вопрос поддержания в обществе мотивации к развитию и обеспечения институциональных возможностей свободного личного выбора. На этом пути открываются горизонты *ответственного развития* на основе наращивания возобновляемых, интеллектуальных источников социальных инноваций и нематериальных стимулов жизнедеятельности. Ключевые детерминанты такого развития – способность нравственного суждения человека о своем месте в мире, утверждение ценностей социальной солидарности и позитивной, ориентированной на развитие личностной идентичности. Растущее культурное разнообразие ставит эти проблемы на повестку дня политики идентичности всех вовлеченных в ее реализацию субъектов.

Литература

- Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. – М.: РГГУ, 2000. – 366 с.
- Ахиезер А.С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. – М., 2001. – № 2. С. 89–100.
- Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. – М.: Логос, 2003. – 289 с.
- Борисова Н.В. Политизация языка и языковая политика в этнических территориальных автономиях // Мировая экономика и международные отношения. – М., 2016. – Т. 60, № 9. – С. 67–75.

- Борьба за идентичность и новые институты коммуникации / Отв. ред. П.В. Панов, К.С. Сулимов, Л.А. Фадеева. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 264 с.
- Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. – 320 с.
- Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. – М.: Логос. 2000. – 431 с.
- Культурная сложность современных наций / Отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 384 с.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Массовая политика: Институциональные основания / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 287 с.
- Перегудов С. П., Семенов И.С. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 447 с.
- Роккан С., Урвин Д. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму // Логос. – М., 2003. – № 6 (40). – С. 117–132.
- Семенов И.С. Нации, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. – М., 2015. – Т. 59, № 11. – С. 91–102.
- Семенов И.С. Политика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семенов. – С. 162–168.
- Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный дискурс / Отв. ред. О.Ю. Малинова. – 336 с.
- Транснациональные политические пространства: явление и практика / Отв. ред. М.В. Стречнева. – М.: Весь мир, 2011. – 376 с.
- Фадеева Л.А. Идентичность как категория политической науки: когнитивный потенциал и исследовательское поле // Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии: Научное издание / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. – М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2015. – С. 78–92.
- Филиппова Е.И. Территории идентичности в современной Франции. – М.: ФГНУ «Росинформатех», 2010. – 300 с.
- Франция – Память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюижеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во СПбГУ. – 328 с.
- Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Ю. Хабермас. Демократия. Разум. Нравственность. – М.: Academia, 1995. – С. 208–245.
- Хабермас Ю. Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество – что это такое? О новом европейском порядке / Пер. с нем. И. Фридмана // Русский журнал. – М., 2008. – Режим доступа: <http://www.russ.ru/pole/Protivvoinstvuyushchego-ateizma> (Дата посещения: 12.03.2017.)
- Bairner A. Sport and the nation in the global era // The global politics of sport. The role of global institutions in sport / Ed. by L. Allison. – L.; N.Y.: Routledge, 2005. – P. 87–100.

- Bauman Z. Social media are a trap // El Pais. – Madrid, 2016. – 25 January. – Mode of access: http://elpais.com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html (Accessed: 12.11.2016.)
- Brubaker R. In the name of the nation: Reflections on nationalism and patriotism // Citizenship studies. – Philadelphia, PA, 2004. – Vol. 8, N 2. – P. 115–127.
- Brubaker R. Nationalizing states revisited: Projects and processes of nationalization in post-Soviet states // Ethnic and racial studies. – L., 2011. – Vol. 34, N 11. – P. 1785–1814.
- Castells M. The information age: economy, society, and culture. – 2 nd ed. – L., etc.: Wiley – Backwell, 2010. – Vol. 2: The power of identity. – xlv, 538 p.
- Culture matters: How values shape human progress / Ed. by L.E. Harrison, S.P. Huntington. – N.Y.: Basic Books, 2000. – 348 p.
- Gurbuz M.E. Identity politics // Encyclopedia of social problems. – L.A.; L.; New Delhi; Singapore: Sage, 2008. – Vol. 1 / V.N. Parillo ed. – P. 467–469.
- Fagerholm A. Ethnic and regionalist parties in Western Europe: A party family? // Studies in ethnicity and nationalism. – L., 2016. – Vol. 16, N 2. – P. 304–239.
- Kymlicka W. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. – Oxford: Clarendon press, 1995. – 280 p.
- Muir R. The new identity politics. – L.: IPPR, 2007. – 18 p.
- Sartori G. Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives, and outcomes. – Basingstoke: Macmillan, 1997. – 217 p.
- Social theory and the politics of identity / Ed. by C. Calhoun. – Cambridge, MA: Wiley-Blackwell, 1994. – 364 p.

О.В. Рябов*

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ¹

Аннотация. В статье обосновывается положение о том, что ключевым элементом политики идентичности являются проведение, поддержание и корректировка символических границ между «своими» и «чужими». Автор анализирует соотношение понятий границы, социальной границы и символической границы; исследует роль символических границ в политической сфере и их место в символической политике; показывает, как символические границы используются в различных формах и направлениях политики идентичности.

Ключевые слова: символические границы; символические пограничники; политика идентичности; символическая политика.

O.V. Riabov

Symbolic boundaries and identity politics

Abstract. The paper deals with analysis of role of symbolic boundaries in identity politics. The author examines the concepts of boundaries, social boundaries, and symbolic boundaries; investigates role of boundaries in symbolic politics; and demonstrates how various forms and trends of symbolic policies employ symbolic boundaries. The author argues for considering the symbolic boundaries as a key element of politics of identity.

Keywords: symbolic boundaries; symbolic borderguards; identity politics; symbolic politics.

* **Рябов Олег Вячеславович**, доктор философских наук, профессор, консультант проректора по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: riabov1@inbox.ru

Riabov Oleg, St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia), e-mail: riabov1@inbox.ru

¹Статья подготовлена в рамках научного проекта «Символ „Родины-матери” в символической политике современной России», поддержанного РГНФ-РФФИ (грант № № 15-03-00010).

В 1969 г., задолго до появления Шенгенской зоны, герой поэмы «Москва – Петушки» представил различия России и Европы следующим образом:

«Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница эта – не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и говорят не по-русски!» [Ерофеев, 1990, с. 86].

Пожалуй, в этих словах Венечки выражена сущность социальной границы как таковой. Во-первых, она объединяет, противопоставляя одних другим; «другие» при этом гомогенизируются, превращаясь в унифицированных «чужих». Во-вторых, граница социальная поддерживается границей символической, которая создается при помощи «символических пограничников». В-третьих, выбор этих «пограничников» носит достаточно произвольный характер: в качестве таковых могут быть использованы и язык, и количество выпитого – хотя эта произвольность также имеет свои границы.

Символические границы пронизывают все сферы человеческой жизни. В данной статье речь идет о символических границах в политической сфере, проведение которых связано с политикой идентичности, представляющей собой деятельность политических акторов, направленную на достижение социальным сообществом чувства целостности и тождественности [Малинова, 2010].

В статье обосновывается положение о том, что ключевым элементом политики идентичности, рассматриваемой в качестве вида символической политики, является создание, поддержание и корректировка символических границ между «своими» и «чужими». Вначале речь пойдет о соотношении понятий границы, социальной границы и символической границы, а также об основных подходах к интерпретации природы символической границы. Далее, предметом анализа станет роль символических границ в политической сфере и их место в символической политике. Наконец, мы остановимся на вопросе о том, как символические границы используются в различных формах и направлениях политики идентичности.

Границы социальные и границы символические

Бытие дискретно, т.е. состоит из частей, качественно отграниченных друг от друга, – именно этим прежде всего определяется онтологический статус границы. В философской традиции понятие границы впервые можно встретить в учении Филолая, представителя пифагорейской школы, который среди начал всего сущего выделил предел и беспредельное [см.: Бахтызин, 2004, с. 14]. Начиная с Аристотеля, граница стала рассматриваться в качестве необходимого условия оформления материи и атрибута существования тела. Кроме того, философ отмечал, что граница связывает вещи и их части в целое [см.: Бахтызин, 2004, с. 26; об истории понятия границы см.: Рябов, Константинова, 2011].

Если границы как таковые являются атрибутом бытия, то социальные границы выступают атрибутом социальности. Социальное бытие невозможно без существования границ. Процесс установления и корректировки социального порядка – это и есть, собственно, процесс проведения границ: между дозволенным и недозволенным, между нормой и девиацией, между сакральным и профанным, между истинным и ложным, между «своими» и «чужими»¹.

Важность социальных границ определяется тем, что они связаны с сущностными характеристиками социальности: собственностью и неравенством. Во-первых, границы фиксируют право собственности, которое лежит в основе таких аспектов понимания человека, его прав и обязанностей, как автономия, свобода, право на частную жизнь. На уровне государства право собственности воплощается в принципе суверенитета, связанном с ценностями независимости и безопасности. Во-вторых, границы обозначают социальное неравенство; они фиксируют неравный доступ к ресурсам (материальным и нематериальным) и социальным возможностям, а также их неравное распределение [Lamont, Molnar, 2002, p. 168]. Причем, как заметил П. Бурдьё, устанавливающие иерархии социальные границы мешают не только «чужим» войти в более статусную социальную группу, но и «своим», тем, кто занима-

¹ Ю. Лотман, анализируя пространство семиосферы, отмечал, что всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»). «Свое» пространство определяется как «наше», «культурное», «безопасное», «гармонически организованное». Ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотическое» [Лотман, 2000, с. 257].

ет доминирующее положение, выйти из нее, не нарушив соответствующие нормы [Бурдые, 1996]).

Столь высокая значимость социальной границы обуславливает важность ее пересечения и особое отношение к ее охране, с чем связана распространенная практика сакрализации государственной границы. Скажем, в СССР граница защищала «священные рубежи Родины» [Изотов, 2008, с. 55], а сами пограничники, соответственно, стали значимыми персонажами советского героического пантеона [Илюха, 2008, с. 206], отголоски чего можно наблюдать и сегодня. В качестве посягательства на личную неприкосновенность индивида истолковывается нарушение границ личного пространства. Легитимное пересечение границы сопровождается ритуалами [Патшайдер, 1999] (например, встреча гостей, пересекающих границу дома, или банкет по случаю защиты диссертации ученым, пересекающим границу между «остепененными» и «неостепененными»). Нелегитимное же пересечение социальной границы, связанное с нарушением прав собственности и социальной иерархии, представляет собой вызов, который ставит под сомнение ее легитимность, и потому требует реакции (хотя формы реакции могут быть различными). Неспособность наказать нарушителя ведет к делегитимации границы, а также тех, кто ее проводит и призван охранять.

Граница не только разделяет, но и связывает; она выступает, например, местом встречи двух культур [Wilson, Donnan, 2016, p. 9–10]; процессы гибридизации, происходящие особенно интенсивно в условиях глобализации, представляют собой отдельный предмет исследования, привлекающий внимание все большего числа ученых.

Необходимым условием конструирования социальных границ являются границы символические [Lamont, Molnar, 2002, p. 169]. Можно выделить две концепции соотношения символических и социальных границ. Согласно первой, символические границы представляют собой «объективированные формы социальных различий» [ibid.]. Второй подход заключается в том, что границы, отражая объективную дискретность социального бытия, в то же время выступают социальным конструктом: в процессе проведения границ объективные различия не только фиксируются, но также акцентируются или, напротив, сглаживаются. Понимание границ как социального конструкта не означает постулирования их иллюзорности или искусственности; конструктивистский подход ориентирует скорее на поиск факторов, которые способствуют тому, что границы начинают выглядеть как порождение естест-

венных или сверхъестественных сил, в то время как их социальная обусловленность преуменьшается или игнорируется.

Своим интересом к конструктивистскому подходу в интерпретации социальных границ академическое сообщество во многом обязано книге «Этнические группы и границы», вышедшей в 1969 г. под редакцией норвежского антрополога Ф. Барта [Barth, 1969]. Ее авторы показали, что содержательные компоненты этнической культуры в значительной степени определяются фактором границы между сообществами. Первична именно граница, а не удерживаемое ею культурное содержание. Границы создаются при помощи этнических маркеров, или диакритиков, – элементов культуры, отбираемых (иногда достаточно произвольно) самими членами группы для подчеркивания своих отличий от окружающих [ibid., p. 14]¹. В книге Дж. Армстронга, который применил идеи Барта для анализа национальных сообществ, для обозначения этих маркеров был предложен термин «символические пограничники» [Armstrong, 1982, p. 6]. В частности, Армстронг проанализировал, как в роли подобных пограничников выступают слова [ibid., p. 8]; действительно, не только в этнических или национальных, но и в других сообществах язык объединяет со «своими» и отличает от «чужих», касается ли это уголовного, молодежного или академического жаргона. Очевидно, к символическим пограничникам можно отнести не только содержательные элементы культуры (такие как выделенные еще Бартом одежда, формы хозяйствования, язык, стиль жизни), но и любые семиотические средства, с помощью которых можно создавать, поддерживать и корректировать символическую границу, т.е. отличать одно от другого: названия и изображения на географических картах, награды и музыкальные вкусы, собственно символы и метафоры – например, «русский медведь» или «дядя Сэм».

Проблема границ вызывает большой интерес у представителей многих дисциплин (в связи с чем говорят о «boundary studies») как об отдельном научном направлении, о «boundary approach» как о методологическом принципе и даже об очередном повороте в социально-гуманитарном знании – «boundary turn»). Более 40 лет

¹ Представляет интерес определение этнической границы, предложенное Р. Дженкинсом на основе подхода Барта, – это «чувство (sense) сходства и различия, производимое и воспроизводимое в процессе интеракций, при которых по крайней мере одна сторона такого взаимодействия определяет себя как отличную в этническом аспекте от другой» [Jenkins, 2015, p. 18; *курсив мой. – О. Р.*].

функционирует Association for Borderlands Studies, издающая журнал, посвященный проблемам приграничных территорий¹. Такое внимание со стороны представителей самых разных наук ставит задачу создания общей теории границ [см. об этом: Paasi, 2011; Wilson, Donnan, 2016, p. 15–16]. Нас же будет интересовать, как подход, уделяющий особое внимание проведению символических границ, может быть использован исследователями политики.

Символические границы в политической сфере

Политическая деятельность связана с проблемой границ неразрывно; проведение границ, как отмечает один из ведущих исследователей границ А. Пааси, – это манифестация власти [Paasi, 2009]. Что касается границ политических, то само понимание государства как «контейнера власти» предполагает особое внимание к пределам власти, в том числе территориальным. Территориальность является необходимым признаком государства, пространством обеспечения его власти и суверенитета. Именно этим объясняется давний и устойчивый интерес к проблеме границ представителей такой отрасли знания, как политическая география.

Внимание к вопросу о символических границах, обозначившееся в последние несколько десятилетий, было обусловлено тем, что произошла своеобразная конвергенция двух научных направлений: исследований символических систем и изучения не прямых форм власти [Lamont, Molnar, 2002]. Действительно, создание символических границ является фактором, оказывающим влияние на отношения господства и подчинения, что и объясняет внимание к этой проблеме со стороны исследователей политики. Представляется эвристичным рассматривать проведение границ в политической сфере в качестве составляющей символической политики, которую О. Малинова определяет как деятельность политических акторов, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве [Малинова, 2012, с. 180].

Целью символической политики является символическая власть, представляющая собой способность создавать или изме-

¹ Обзор и типологию работ по символическим границам см.: [Newman, Paasi, 1998; Lamont, Molnar, 2002].

нять категории восприятия и оценки социального мира, которые, в свою очередь, могут оказывать непосредственное влияние на его организацию [Бурдые, 2007, с. 87–96]. Символическая политика, связанная с завоеванием, удержанием и оспариванием символической власти, приобретением символического капитала, применением символического насилия, как правило, включает в себя и (пере)определение символических границ.

Мы можем наблюдать это, рассматривая различные формы символической политики. Само формирование повестки публичных дискуссий, определение их тематики представляет собой проведение границы между тем, что должно иметь значение, и тем, что не должно. Еще одной формой символической политики выступает учреждение праздников; как правило, праздник связан с определением некоего канона, эталона, и, соответственно, степень приближения к такому эталону оказывает влияние на социальные границы и иерархии¹. Так, Восьмое марта, устанавливая канон женственности, проводит границу между теми, кто ему соответствует, и теми, кого маркируют в качестве примера отклонения от него. Важной формой символической политики является политика памяти, предполагающая целенаправленную работу над интерпретацией коллективного прошлого, когда многие исторические факты переосмысливаются, реинтерпретируются, выдумываются или забываются [Поцелуев, 2012, с. 48]; обратим внимание на то, что, например, сооружение памятников – это одновременно и установление того, где проходит граница между допустимыми взглядами на прошлое и недопустимыми (вспомним хотя бы недавние дискуссии о монументе князю Владимиру Святославовичу в Москве или памятной доске К. Маннергейму в Петербурге). Эффективной формой символической политики является такой способ проведения границ, как социальная категоризация – систематизация и упорядочивание социального окружения путем распределения социальных объектов по категориям [Jenkins, 2000]. Так, в работах, посвященных исследованию социальных наук периода холодной войны, показано, что сами категории, которые использовались для описания реальности, являются идеологически нагруженными, выступая способом выгодного одной стороне (и невыгодного другой) интерпретации происходящих событий, – и поэтому вне

¹ О роли праздников в символической политике см. подробнее: [Ефремова, 2014].

контекста противостояния двух сверхдержав они не могут быть поняты адекватно [напр.: Cold War, 2012]¹.

Таким образом, воздействие на символические границы выступает составляющей многих форм символической политики. Более того, можно предположить, что проведение границ следует рассматривать в качестве одного из главных элементов символической политики как таковой. Как показывает Бурдье, важнейший признак производства значений и смыслов – это различие, которое, очевидно, предполагает проведение границы между одним и другим; установить что-то, дать определение, институционализировать означает в то же время выявить различия, провести границу [см. подробнее: Newman, Paasi, 1998, p. 198]². Поэтому, на наш взгляд, исследование границ является весьма перспективным для изучения символической политики.

При этом следует принимать во внимание, что символическая политика предполагает конкуренцию различных способов интерпретации политическими акторами социальной реальности – по выражению Г. Тульчинского, «кто кого ‘переинтерпретирует’» [Тульчинский, 2015, с. 27]. Соответственно, проведение границ становится предметом острого соперничества, связанного с проблемой власти, на что обратил внимание еще Барт; борьба ведется за право их проведения, за выбор пограничников и за то, где, собственно, они проходят [Barth, 1969, p. 35]. Для того чтобы укрепить одни символические границы, требуется ослабить альтернативные.

Бурдье рассматривает проблему конкуренции границ в контексте вопроса о символической революции. Обращаясь к опыту майских событий 1968 г. во Франции, он показывает, что одной из стратегий делегитимации власти была демонстрация произвольности границ путем их нарушения (например, изменения речевых формул обращения студентов к профессорам). Однако, как подчеркивает автор, символическая революция может быть успешной

¹ Скажем, понятие «тоталитаризм», получившее в годы перестройки широкое распространение в отечественной науке, сглаживает одну границу между Добром и Злом и проводит другую: если оппозиция «капитализм – коммунизм», лежащая в основе дискурса советской историографии Второй мировой войны, помещала нацистскую Германию в ту же категорию, что и США, то оппозиция «тоталитаризм – демократия» представляет борьбу Запада против «Империи зла» в качестве продолжения борьбы с Гитлером.

² Приведем в связи с этим оценку М. Ламон и М. Фурнье: если для Бурдье и существует какой-то общий принцип организации всех форм социальной жизни, то это логика различия [Lamont, Fournier, 1992, p. 5].

лишь тогда, когда ей удастся установить и навязать другой принцип легитимного конструирования границ [Бурдые, 1996].

Демонстративное нарушение границы является распространенной формой протеста в акциях гражданского неповиновения. Она занимает заметное место и в арсенале «цветных революций»; к примеру, в книге Дж. Шарпа указаны такие способы оспаривания власти через оспаривание символических границ, как проникновение в запретную зону, символическая оккупация территорий и др., которые призваны продемонстрировать нелегитимность власти [Шарп, б. г.].

Отметим и такую форму делегитимации границ, как массовые изнасилования на войне, весьма распространенные в истории человечества. Следует вспомнить, что гендерный дискурс активно используется в проведении символических границ; образы мужчин и женщин служат эффективными символическими пограничниками, которые принимают участие в отделении «своих» от «чужих» и в оценивании первых выше, чем вторых [Yuval-Davis, 1997, p. 23]¹. В национальной мифологии женские тела обозначают символическую границу национального сообщества: только непорочные женщины могут воспроизводить чистую нацию [Mayer, 2000, p. 7–10]. Матери, жены и дочери обозначают пространство национального сообщества; как маркеры собственности нации, они требуют защиты и покровительства со стороны патриотических сынов [Iveković, Mostov, 2002, p. 10]. Это находит выражение в требованиях, касающихся сексуальных отношений с представителями других наций [Yuval-Davis, 2001, p. 45]; например, связь норвежской девушки и германского мужчины в Норвегии, оккупированной во время Второй мировой войны, осуждалась гораздо более жестко, чем связь норвежского мужчины и германской девушки [Eriksen, 2002, p. 52–65]. В таком контексте достаточно логичной для идеологии Евромайдаана выглядела акция украинских журналисток «Не дай русскому»; летом 2014 г. они предложили соотечественницам отказаться от интимных отношений с русскими мужчинами – акция, которая преследовала цель укрепить символическую границу между «своими» и «чужими» [Riabova, Riabov, 2015]. Соответственно, массовые изнасилования на войне представляют собой демонстративное на-

¹ В качестве примера можно упомянуть использование гендерного дискурса, подчеркивающего отличия российских мужественности и женственности от западных, в ремаскулинизации России – политике идентичности, проводимой в период президентства В. Путина [Riabov, Riabova, 2014].

рушение этой границы и служат прежде всего средством символической демаскулинизации врага, занимающей важное место в дискурсе войны [Goldstein, 2001, p. 359, 361]. Как подчеркивает С. Кин, «изнасилование представляет собой неотъемлемую часть ритуала военных действий. Случается это редко или часто, но на символическом уровне победа не одержана до тех пор, пока враг не подвергнут унижению через оскорбление его женщин. С психологической точки зрения сексуальная территория врага должна быть оккупирована» [Keen, 1986, p. 129]. Массовые изнасилования на войне преследуют цель перехода границы «другого» и уничтожения его мужества [Yuval-Davis, 2001, p. 129; Mostov, 2000, p. 96]; изнасилованная женщина свидетельствует о том, что мужчина оказался несостоятельным в роли защитника, занимающей столь важное место в каноне маскулинности [Goldstein, 2001, p. 362; подробнее см.: Riabova, Riabov, 2017].

Таким образом, создание символических границ включает в себя практики легитимации и делегитимации. Для обоснования правильности собственного варианта проведения границы нередко прибегают к использованию тех маркеров, которые ассоциируются с природными, натуральными характеристиками человека: такими как раса или этничность. Так, в исследовании К. Мэнцо показано, как многие разновидности национализма используют дискурс расизма для обоснования своей легитимности [Manzo, 1996, p. 19].

Кроме того, укрепление символических границ предполагает обращение к таким эссенциализирующим факторам, как постулирование природного (Бурдые называет это «натурализацией», напоминая об идее «естественных границ» [Бурдые, 2007, с. 50]) или божественного происхождения границы; в частности, этим объясняется роль образов рек как символических пограничников в политике идентичности сообществ [Riabov, 2016].

Таким образом, для создания конкурентоспособных границ символические пограничники должны, во-первых, быть узнаваемыми, способными однозначно определять границу; во-вторых, «охранять» ее, делать «непреодолимой», наделять ее свойствами законности, вечности, «естественности»; в-третьих, акцентировать различные черты двух сообществ и игнорировать сходные [Рябов, Константинова, 2011].

Символические границы в политике идентичности

Политика идентичности также может быть рассмотрена как форма символической политики; она представляет собой деятельность политических акторов по интерпретации социальной реальности, которая направлена на производство и продвижение образов «своих» и «чужих», а также символической границы между ними. При этом, по всей вероятности, объектом политики идентичности может выступать не только идентичность «своих». Очевидно, те политические акторы, у которых есть соответствующие ресурсы, осуществляют культурное доминирование, если пользоваться термином А. Грамши, гегемонию, навязывая другим сообществам и социальным группам определенное видение «своих» и «чужих». Они способны конструировать идентичность других классов (вспомним Марксову дихотомию «класс-в-себе» – «класс-для-себя»), социальных групп (концепт гегемонной маскулинности Р. Коннелла) или целых цивилизаций (ориентализм как способ навязывания Западом соответствующей идентичности Востоку).

Реляционная концепция идентичности исходит из того, что необходимым условием идентичности являются представления о «других» [Jenkins, 1996]. В последнее время предпринимаются попытки подвергнуть этот тезис проблематизации¹; на наш взгляд, без проведения границ с «чужими», с «другим» идентичность невозможна по определению; «идентифицировать» означает установить количественную и качественную характеристики вещи, ее специфику, т.е. то, чем она отличается от всех прочих вещей, тем самым выявив ее пределы, границы². По оценке Д. Кэмпбелла, подобно тому как идентичность конституируется по отношению к различию между «я» и «другим», так и различия конституируются по отношению к идентичности [Campbell, 1992, p. 8–9]. «Идентичность и границы – это две стороны одной медали» [Newman, Paasi, 1998, p. 198].

Однако вполне закономерно выглядит постановка вопроса о том, кто является «другим» и неизбежно ли негативное отношение к нему. Так, в работе О. Вевера (1996) утверждается, что специфика идентичности Европейского союза состоит в том, что для ее создания не нужен внешний негативный Другой; Другим со-

¹ Анализ дискуссий о роли Другого в идентичности см.: [Малинова, 2015].

² Собственно, само понятийное мышление связано с постоянным проведением границ; «Определить – значит положить предел, границу» [Лосев, 1994, с. 346].

временной Европы, выступающим антиобразцом, от которого она отталкивается, является ее собственное прошлое, полное кровавых конфликтов. Иными словами, Другой имеет не пространственное, а временное измерение [см.: Rumelili, 2004, p. 29–30; Малинова, 2015, с. 157–158]. Однако, как справедливо отмечает Б. Румелили, темпоральная характеристика инаковости получила широкое распространение и в эпоху Модерности, при этом дополняя инаковизацию территориальную: «свои» маркируются в качестве прогрессивных, «чужие» – отсталых, принадлежащих уходящей эпохе (что показано, скажем, на примере анализа ориенталистских практик [Said, 1978; Hall, 1992])¹.

Вместе с тем следует принимать во внимание, что в различных типах идентичности существуют различные типы инаковости и, следовательно, различные типы границ. Анализируя случаи таких «других» современной Европы, как Марокко, Турция, страны Центральной и Восточной Европы, Румелили показывает, что эти «другие» получают в европейской идентичности различную маркировку: их могут представлять и в качестве «антиевропейских других», и в качестве «менее европейских». Последние отличаются лишь в количественном отношении и могут в перспективе соответствовать критериям европейскости, первые же обречены отличаться от Европы благодаря таким факторам, как географическое положение или культурные традиции. Соответственно, необходимо, по мнению исследователя, различать «включающие» и «исключающие» идентичности [Rumelili, 2004].

Помимо этого, запреты, продуцируемые границами, также могут разделяться по степени обязательности; в связи с этим Р. Алба делит границы на «яркие» и «расплывчатые» [Alba, 2005].

Кроме того, различные типы сообществ относятся по-разному к проблеме нерушимости границ с «чужими». Граница идентифицирует не только «мое», но и «не-мое», выступая пределом свободы субъекта, его особых прав на что-то². Национализм исходит из того, что одной из фундаментальных характеристик нации является ее

¹ Нельзя не обратить внимание на то, что концепция Вевера представляет собой элемент не только академического, но и геополитического дискурса. Она устанавливает символические границы и иерархии, маркируя «свое» в качестве нового и передового, а «чужое» – в качестве отсталого.

² Поэтому вызывают улыбку рассуждения гоголевского персонажа, захотевшего показать Чичикову границу, где оканчивается его земля: «Вот граница! – сказал Ноздрев. – Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое».

конечность, ограниченность [Anderson, 1983, p. 19]; поэтому граница, отделяющая «своих» от «чужих», – это ключевой и достаточно незыблемый элемент данного сообщества. Однако подобная незыблемость, окончательность границ не предполагается в идеологии империи, которая не исключает их расширения. Скажем, идеология Советского Союза допускала вхождение в «дружную многонациональную семью советских народов» новых республик – что и произошло, например, в результате событий 1939–1940 гг.¹

Различение империи и нации позволяет выявить еще один аспект исследования границ – проблему их иерархии. В социуме одновременно функционируют сообщества различного типа, и границы между ними – национальные и расовые, этнические и территориальные, политические и конфессиональные – совпадают далеко не всегда. В этих условиях символическая борьба ведется за то, какой именно дифференцирующий признак считать основным, а какие – второстепенными. Так, расизм утверждает приоритетность деления человечества на расы, марксизм – на классы, а феминизм – на мужчин и женщин. Национализм же призывает рассматривать в качестве основного деление человечества на нации; К. Вердери охарактеризовала его как классифицирующий дискурс, в котором нация понимается в качестве базового оператора всеохватывающей системы социальной классификации [Вердери, 2002, с. 297].

За проведение и корректировку границ и установление их иерархии идет борьба, в ходе которой акторы политики идентичности используют различные технологии (обычно обозначаемые в англоязычной литературе как «boundary work», «работа по изменению границ»). Так, одной из них является «нейминг», введение определенных названий для обозначения территорий или социальных групп [Paasi, 2001, p. 17]. Например, появление концепта «Центральной Европы», который выступил в роли символического пограничника, меняя конфигурацию символических границ в Европе, было с воодушевлением воспринято на Западе в 1980-е годы, в период холодной войны. В результате единый «Восток», противостоящий «Западу», разделяется: республики СССР остаются в Восточной Европе, а «братские социалистические страны» становятся частью Европы «Центральной». Таким образом, дискурсивная граница между Европой и Восточной Европой сдвигалась на

¹ В связи с этим имеет смысл напомнить популярную шутку соответствующего времени: «С кем граничит Советский Союз? – С кем хочет, с тем и граничит».

восток; тем самым российский Другой начинал выглядеть еще более «чужим» [Kuus, 2004, p. 480]. После окончания холодной войны концепт «Центральная Европа» стал частью дискурса, оправдывающего расширение ЕС и НАТО [ibid., p. 479]. Для того чтобы войти в «Европу», элитам восточноевропейских стран необходимо было акцентировать не-европейскость России. Иными словами, вне контекста русофобии данный концепт не имеет смысла, и, таким образом, Россия – это не угроза «Центральной Европе», а условие ее существования или, по крайней мере, фактор ее легитимации [ibid., p. 481; см. также: Миллер, 1996]. Очевидно, у этой истории есть продолжение: риторика Евромайдана отказывала России в праве быть частью даже Европы Восточной. Однако европеизация ли Украины выступила причиной ориентализации России; или же необходимость дальнейшего «сдерживания русского медведя» легитимировала лозунг «Украина – это Европа», – ответ на этот вопрос далеко не очевиден. «Восток» – это не место на географической карте, а характеристика, используемая в инструментальных целях [Kuus, 2004, p. 480]. Ее применение в отношении Другого в современной Европе используется для доказательства собственной принадлежности к европейской цивилизации, что видно на примере ориентализации Сербии интеллектуалами Хорватии и Словении, России – в эстонском и латышском национализме [ibid., p. 479], равно как и русскоязычного Востока Украины – в украинском этническом национализме¹.

Интересные наблюдения относительно способов изменения символических границ можно обнаружить в работе Э. Черри, посвященной анализу политики идентичности, осуществляемой защитниками животных. Цель активистов состоит в уничтожении или ослаблении границ между человеком и животными, а также между домашними питомцами и домашним скотом. Исследовательница выделяет две стратегии: «размывание границ» и «пересечение границ». Первая включает в себя такие технологии, как фокусирование (защитники животных помогают осознать символические границы, сделать невидимое видимым) и универсализация (активисты пользуются примерами, которые объединяют людей и животных, проводят параллели между страданиями людей и мучениями убиваемых жи-

¹ О похожих процессах, связанных с появлением и легитимацией концептов «Русский мир» и «Новороссия», см.: Ачкасов, 2016; Еремина, Середенко, 2016. Об ориентализации оппонентов в символической политике современной России см., напр.: [Рябов, 2013].

вотных или же показывают, что борьба против дискриминации расовых меньшинств и движение в защиту животных в равной степени необходимы и благородны). В рамках второй стратегии активисты играют роли животных или показывают, что было бы, если бы к домашним питомцам относились столь же безжалостно и утилитарно, как, например, к коровам [Cherry, 2010].

Наконец, остановимся на вопросе о направлениях политики идентичности. Среди них выделяются, во-первых, создание позитивной идентичности, т.е. производство образов «своих» и формирование чувства принадлежности к сообществу; во-вторых, обеспечение внутреннего единства при помощи ослабления внутренних символических границ; в-третьих, укрепление внешних символических границ и создание негативной идентичности за счет конструирования образов «чужих» [см. подробнее: Рябов, 2016].

Так, в дискурсе о российской гражданской идентичности особую роль играет символ «Родины-матери»: создается привлекательный образ России, ее культуры, истории, природы, формируется чувство принадлежности к ней. Символ Родины-матери используется для подчеркивания того, что связь гражданина России и его страны носит естественный, легитимный и неразрывный характер.

Второе направление связано с *ослаблением внутренних символических границ*. Дискурс российскости вступает в конкуренцию прежде всего с дискурсом этнических национализмов, особенно с дискурсом русскости. Русскость и российскость можно определять и как объективные характеристики культурной гомогенности, и как дискурсы, которые – подобно всякому дискурсу – предлагают особые способы проведения символических границ между «своими» и «чужими». Если дискурс русскости в качестве приоритетных рассматривает границы этнические, то концепция российскости исходит из того, что деление на россиян и не-россиян является приоритетным перед всеми другими делениями: социальными, этническими, конфессиональными, региональными. Здесь символ Родины также выступает в виде семиотического средства для легитимации государственного устройства – Россия для всех является матерью, вне зависимости от этнической или конфессиональной принадлежности, все «дети» перед ней равны.

Третье направление – *укрепление внешних символических границ и создание образов «чужих»*. В случае России одним из наиболее значимых «других» выступают США. Примечательно, что в конструировании образа США как «чужого» значительную роль играет апелляция к мифологии родства, отраженной в мате-

ринском символе: отличия американцев от «нас» связываются с тем, что, будучи нацией эмигрантов, они не могут относиться к Америке как к матери, а потому не способны понять важнейшую характеристику граждан России, фундаментальную черту российской цивилизации [Рябова, Романова, 2015].

Заключение

Возможен ли мир без границ? Те, кто отвечают утвердительно на этот вопрос, апеллируют к таким последствиям глобализации, как становление постнационального мира, детерриториализация государств и утрата ими значительной части своего суверенитета. Проблема имеет и этическую составляющую: границы нередко воспринимаются в качестве источника разъединения людей, враждебности и войн, препятствия для свободы, равенства и братства. Однако в действительности, несмотря на глобализацию, современная ситуация не подтверждает прогнозы теоретиков постмодернизма – границ в мире не становится меньше [Newman, Paasi, 1998, p. 198]. Границы выступают атрибутом социальности – и необходимым условием свободы, равенства и братства в тех формах, в которых они возможны. Как пишет индийский социолог Т. Ооммен, сама история человеческой цивилизации может быть представлена как сооружение и уничтожение границ различного типа: биологических, психологических, географических, культурных, социальных, политических, экономических. При этом, разрушая одни границы, мы всегда тем самым создаем другие, наделяя их статусом сакрального [Oommen, 1995, p. 251]. Примером может служить символическая политика недавней президентской кампании в США, когда один из кандидатов был представлен в качестве приверженца идеи укрепления границ и возведения стен, за что подвергся резкой критике со стороны представителей противоположного лагеря. Показательно, что в рамках этой критики противники границ и стен сокрушали весьма «яркие» символические границы, подвергая остракизму Д. Трампа и его сторонников при помощи таких символических пограничников, как маркеры «фашизма», «расизма», «сексизма»... Досталось и России – маркировка Трампа как «сибирского кандидата» и «марионетки Путина», опирающаяся на пропагандистский багаж маккартизма (что несколько неожиданно в Америке XXI в.), выступала в качестве еще одного приема, укрепляющего символическую границу между Западом и «империей Зла». Таким

образом, перефразируя недавнюю шутку президента России, можно заключить, что границы человеческого общества не заканчиваются нигде и никогда, а их проведение – создание, поддержание, корректировка (в том числе уничтожение) – представляет собой важнейший элемент политики идентичности.

Литература

- Ачкасов В.А. «Новая Новороссия» и проблемы с российской идентичностью // Консервативные традиции и либеральные ценности в постсоциалистической России: Сб. науч. ст. – Саратов: Поволжский ин-т управления им. П.А. Столыпина, 2016. – С. 16–19.
- Бахтызин А.М. Граница: бытие, сущность, рефлексия: Дис. ... канд. филос. наук. – Омск, 2004. – 177 с.
- Бурдые П. О символической власти // Бурдые П. Социология социального пространства. – СПб.: Алетей; М.: Ин-т экспериментальной социологии, 2007. – С. 87–96.
- Бурдые П. Физическое и социальное пространства // Бурдые П. Социология социального пространства. – СПб.: Алетей; М.: Ин-т экспериментальной социологии, 2007. – С. 49–63.
- Бурдые П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos'96: Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. – М.: Socio-Logos, 1996. – № 3–4. – С. 8–31. – Режим доступа: <http://abuss.narod.ru/study/su/burddoxa.htm> (Дата посещения: 20.01.2017.)
- Вердери К. Куда идут «нация» и «национализм»? // Нации и национализм / Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М. (ред). – М.: Праксис, 2002. – С. 297–307.
- Ефремова В.Н. Государственные праздники как инструменты символической политики в современной России: Дис. ... канд. полит. наук. – М., 2014. – 205 с.
- Еремина Н.В., Середенко С. Интеграл Русского мира: подходы и предложения // Социодинамика. – М., 2016. – № 11. – С. 94–114.
- Ерофеев В.В. Москва – Петушки // Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти все. – М.: Х.Г.С., 1995. – С. 35–136.
- Изотов А.Б. Повседневная жизнь пограничного города: послевоенная Сортавала // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования / Илюха О.П. (ред.). – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. – Вып. 1. – С. 53–64.
- Илюха О.П. Советские границы в учебно-воспитательных текстах сталинского времени // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования / Илюха О.П. (ред.). – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. – Вып. 1. – С. 205–214.
- Лосев А.Ф. Самое само // Лосев А.Ф. Миф, число, сущность. – М.: Мысль, 1994. – С. 300–526.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2000. – 704 с.

- Малинова О.Ю. Политическое использование прошлого как инструмент символической политики: эволюция дискурса властвующей элиты в постсоветской России // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2012. – Т. 8, № 4. – С. 179–204.
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2010. – № 1. – С. 5–29.
- Малинова О.Ю. Концепт «другого» в исследованиях идентичности: Анализ современных дискуссий // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – № 4. – С. 154–169.
- Миллер А.И. Центральная Европа: История концепта // Полис. Политические исследования. – М., 1996. – № 4. – С. 119–124.
- Патшайдер Х. Ритуалы и символы, создающие повседневные границы (на примерах клуба «Мотоциклетные ведьмы» и переселенцев в Трансильвании) // Труды ЦНСИ. – СПб., 1999. – Вып. 7: Кочующие границы: Материалы международного семинара (на русском и английском языках) / Под ред. Бредниковой О., Воронкова В. – Режим доступа: http://www.indepsocres.spb.ru/patsch_r.htm (Дата посещения: 20.04.2011.)
- Попелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис. Политические исследования. – М., 1999. – № 5. – С. 62–75.
- Рябов О.В. «Света из Иваново» как зеркало Болотной революции // Лабиринт: Журнал социально-гуманитарных исследований. – Иваново, 2013. – № 5. – С. 125–147.
- Рябов О.В., Константинова М.А. «Русский медведь» как символический пограничник // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. – Петрозаводск, 2011. – № 6. – С. 114–123.
- Рябов Д.О. Образ России в политике европейской идентичности ЕС: Дис. ... канд. полит. наук. – СПб., 2016. – 173 с.
- Рябова Т.Б., Романова А.А. «Родина-мать» как культурно-семиотический ресурс современного антиамериканизма // Лабиринт: Журнал социально-гуманитарных исследований. – Иваново, 2015. – № 4. – С. 136–149.
- Тульчинский Г.Л. Историческая память в символической политике и информационные войны // Философские науки. – М., 2015. – № 5. – С. 24–33.
- Шарп Дж. 198 методов ненасильственных действий. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/198_Met.php (Дата посещения 10.01.2017.)
- Alba R. Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States // Ethnic and racial studies. – L., 2005. – Vol. 28, N 1. – P. 20–49.
- Anderson B. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. – L.: Verso, 1983. – 160 p.
- Armstrong J. Nations before nationalism. – Chapel Hill: The univ. of North Carolina press, 1982. – 411 p.
- Barth F. Introduction // Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference / F. Barth (ed.). – Boston: Little, brown and company. – P. 9–38.
- Campbell D. Writing security: United States foreign policy and the politics of identity. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1992. – 269 p.
- Cherry E. Shifting symbolic boundaries: Cultural strategies of the animal rights movement // Sociological forum. – Lexington, Mass., 2010. – Vol. 25, N 3. – P. 450–475.

- Cold War social science: Knowledge production, liberal democracy, and human nature / Ed. by M. Solovey, H. Cravens (eds.). – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2012. – 288 p.
- Eriksen T.H. The sexual life of nations: Notes on gender and nationhood // *Kvinner, køn og forskning.* – Syddansk, 2002. – N 2. – P. 52–65. – Mode of access: <http://folk.uio.no/geirthe/Sexuallife.html> (Accessed: 15.10.2016.)
- Goldstein J.S. War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2001. – 523 p.
- Hall S. The west and the rest: Discourse and power // *Formations of modernity* / Hall S., Gieben B. (eds.). – Cambridge, UK: Open univ.: Polity Press, 1992. – P. 275–281.
- Iveković R., Mostov J. Introduction // *From gender to nation* / Iveković R., Mostov J. (eds.). – Ravenna: A Longo Editore, 2002. – P. 9–25.
- Jenkins R. Boundaries and borders // *Nationalism, ethnicity and boundaries: Conceptualising and understanding identity through boundary approaches (Routledge studies in nationalism and ethnicity)* / Jackson J., Molokotos-Liederman L. (eds.). – L.: Routledge, 2015. – P. 11–27.
- Jenkins R. Categorization: Identity, social process and epistemology // *Current sociology.* – Thousand Oaks, 2000. – Vol. 48, N 3. – P. 7–25
- Jenkins R. *Social identity.* – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – 206 p.
- Keen S. *Faces of the enemy: Reflections of the hostile imagination.* – San Francisco: Harper & Row, 1986. – 199 p.
- Kuus M. Europe's eastern expansion and the reinscription of otherness in East-Central Europe // *Progress in human geography.* – Washington, 2004. – Vol. 28, N 4. – P. 472–489.
- Lamont M., Fournier M. Introduction // *Cultivating differences: Symbolic boundaries and the making of inequality* / Lamont M., Fournier M. (Eds.). – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 1992. – P. 1–20.
- Lamont M., Molnar V. The study of boundaries in the social sciences // *Annual review of sociology.* – Palo Alto, CA, 2002. – Vol. 28. – P. 167–195.
- Manzo K.A. *Creating boundaries: The politics of race and nation.* – Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 1996. – 253 p.
- Mayer T. Gender ironies of nationalism: Setting the stage // *Gender ironies of nationalism: Sexing the nation* / Mayer T. (ed.). – L.: Routledge, 2000. – P. 1–22.
- Mostov J. Sexing the nation / desexing the body: Politics of national identity in the former Yugoslavia // *Gender ironies of nationalism: Sexing the nation* / Mayer T. (ed.). – L.: Routledge, 2000. – P. 89–110.
- Newman D., Paasi A. Fences and neighbours in the postmodern world: Boundary narratives in political geography // *Progress in human geography.* – Washington, 1998. – Vol. 22, N 2. – P. 186–207.
- Oommen T.K. Contested boundaries and emerging pluralism // *International sociology.* – Thousand Oaks, Calif., 1995. – Vol. 10, N 3. – P. 251–268.
- Paasi A. A border theory: an unattainable dream or a realistic aim for border scholars? // *The Ashgate research companion to border studies* / Wastl-Walter D. (ed.). – Burlington, VT: Ashgate, 2011. – P. 11–31.
- Paasi A. Europe as a social process and discourse considerations of place, boundaries and identity // *European urban and regional studies.* – L., 2001. – Vol. 8, N 1. – P. 7–28.

- Paasi A. Political boundaries // *International encyclopaedia of human geography* / Kitchin R., Thrift N. (eds.). – Oxford: Elsevier, 2009. – Vol. 8. – P. 217–227.
- Riabov O. «Mother Volga» and «Mother Russia»: On the role of the river in gendering Russianness // *Meanings and values of water in Russian culture* / Costlow J., Rosenholm A. (eds.). – L.: Routledge, 2016. – P. 81–97.
- Riabov O., Riabova T. Remasculinization of Russia? Gender, nationalism, and the legitimation of power under Vladimir Putin // *Problems of post-Communism*. – Cambridge, Mass., 2014. – Vol. 61, N 2. – P. 23–35.
- Riabova T., Riabov O. «Gayromaidan»: Gendered aspects of the hegemonic Russian media discourse on the Ukrainian crisis // *Journal of Soviet and post-Soviet politics and society*. – Stuttgart, 2015. – N 1: Inaugural special issue on Russia media & the war in Ukraine. – P. 83–108.
- Riabova T., Riabov O. The «Rape of Europe»: The geopolitical positioning of Russia and New Year's eve sexual assaults in Cologne in Russian media // *East European politics and societies*. – Thousand Oaks, CA, 2017. – (Submitted).
- Rumelili B. Constructing identity and relating to difference: Understanding the EU's mode of differentiation // *Review of international studies*. – Cambridge, 2004. – Vol. 30, N 1. – P. 27–47.
- Said E. *Orientalism*. – N.Y.: Pantheon Books, 1978. – 368 p.
- Wilson T.M., Donnan H. *Borders and border studies // A companion to border studies* / Wilson T.M., Donnan H. (eds.). – Oxford: Wiley-Blackwell, 2016. – P. 1–25.
- Yuval-Davis N. *Gender and nation*. – L.: SAGE, 1997. – 157 p.
- Yuval-Davis N. Nationalism, feminism, and gender relations // *Understanding nationalism* / Guibernau M., Hutchinson J. (eds.). – Cambridge: Polity, 2001. – P. 120–141.

Г.В. Пушкарева*

СИМВОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Аннотация. Политическая идентичность определяется как особый вид психологической установки, которая заключается в эмоциональном переживании знания индивида о своей принадлежности к политической группе. В статье процесс формирования политической идентичности рассматривается как способ освоения индивидом символических форм бытия политической группы. Усвоению знания о существующих политических группах способствуют символы-сигнификаторы. Они помогают индивиду определить свое место в политическом пространстве, соотнести себя с определенной группой. Формированию тесной позитивной связи индивида с группой способствуют символы-интеграторы. Они образуют символический универсум группы, который способствует сплочению членов группы вокруг определенных идей, ценностей, мифологем.

Ключевые слова: политическая идентичность; политическое пространство; политические символы; групповой символический универсум.

G.V. Pushkareva

Symbolic mechanisms of political identity construction

Abstract. Political identity is defined as an attitude, in which the knowledge of the individual about his belonging to a political group is felt emotionally. A person with a strong political identity feels his sameness with the group, considers its interests as his own and stands ready to act in their defense. In the paper the process of political identity formation is considered as a way of mastering of the symbolic life forms of the political group by the individual. Interiorization of knowledge about existing political groups is contributed by the symbols-significators. They help the individual to define

* **Пушкарева Галина Викторовна**, доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, e-mail: gvpush@mail.ru

Pushkareva Galina, Lomonosov Moscow State University, e-mail: gvpush@mail.ru

his place in the political space, to identify himself with a particular group. The formation of close positive connection between the individual and the group is facilitated by the symbols-integrators. They form the symbolic universe of the group, which promotes the cohesion of the members of the group around certain ideas, values, myths.

Keywords: political identity; political space; political symbols; group symbolic universe.

Важным проявлением социальности человека является присущая ему способность отождествлять себя с группами, возникающими в пространстве социальных отношений и взаимосвязей. Это свойство личности, определяемое как способность идентифицировать, проявляется как «осознание, ощущение, переживание своей принадлежности к различным социальным общностям – таким как: малая группа, класс, семья, территориальная общность, этнонациональная группа, народ, общественное движение, государство, человечество в целом» [Ядов, 1995, с. 159]. Благодаря социальной идентичности индивид обретает точку опоры в сложном мире, он понимает, что не одинок, что есть люди, близкие ему по духу и стилю жизни, разделяющие его представления о справедливом нормативном порядке и ориентирующиеся на близкие ему ценности. В ряду других идентичностей важное место занимают представления людей о своей принадлежности к группам, возникающим в обществе в результате институционализации политических властных отношений и формирования политических субкультур. Эти идентичности мы будем называть политическими.

Конечно, в современном обществе, как справедливо отмечает О.В. Попова, «политический характер» могут обретать и социальные идентичности, такие как: территориальная / региональная, конфессиональная, гендерная, возрастная, этническая и т.д. [Попова, 2009, с. 145]. Особенно ярко политические свойства идентичности выражены в национально-государственной идентичности, что нередко ведет к ее отождествлению с политической [Тимофеев, 2008, с. 151], хотя более уместным будет ее определение как макрополитической [Малинова, 2012]. Однако при всей значимости «политизации» социальных идентичностей [Семененко, 2011, с. 72] важным является понимание того, что политика как институциональное и культурное пространство создает свои основания для различий, формирующих идентичности, присущие сугубо данной сфере [Пушкарева, 2012]. Интериоризация этих различий ведет к формированию у человека представлений о том, что члены общества, представители одной и той же территориально-

государственной общности могут различаться по месту в политической иерархии, по отношению к сложившемуся политическому режиму, по политическим взглядам и ориентации на определенные комплексы политических ценностей. Если эти политические различия воспринимаются как объективные, то они неизбежно побуждают индивида соотносить себя с возникающими в обществе политическими группами.

Однако такого рода идентичности не так часто становятся предметом исследования. Это связано, прежде всего, с тем, что политические идентичности в структуре личности занимают, как правило, периферийное место. Люди в большей степени ощущают свою принадлежность к социальным группам. Так, при ответе на вопрос социологов ВЦИОМа: «Представьте себя частью одной или нескольких групп, наиболее близких вам по духу. Какие это будут группы?» только 2% респондентов выбрали ответ: «Мы – люди одних политических взглядов». И хотя при ответе на другой вопрос, где не было ограничений в количестве выбираемых ответов, уже 23% респондентов отметили, что они гордятся своими политическими единомышленниками, а 24% чувствуют с ними общность, все равно это значительно меньше, чем в случаях демонстрации общности с другими социальными группами [Современная российская идентичность, 2013]. Кроме того, ученые отмечают размытость и неопределенность политической идентичности россиян в силу незавершенности процессов политической структуризации и в частности становления партийной системы [Пантин, 2008, с. 31].

В связи с этим более привлекательными для исследователей становятся проблемы объективных факторов и условий политических размежеваний [Липсет, Рокан, 2004; Мелешкина, 2004; Ахременко, 2007; Коргунюк, 2013], чем собственно психологические механизмы, обеспечивающие связь индивида с той или иной политической группой. Исключением является партийная приверженность, методологические принципы исследования которой были заложены учеными Мичиганского университета [The American voter, 1960]. В дальнейшем те же принципы применялись для исследования данного феномена в современных условиях [Greene, 2002; Huddy, Mason, Aaroe, 2015; Попова, 2009].

Необходимость изучения идентичностей в пространстве политических различий обусловлена важностью понимания мотивов политической активности отдельных политических групп, которые трудно постичь путем изучения объективных оснований политических размежеваний. Группы, которые выделяются на основе объек-

тивных параметров (избиратели определенной политической партии, сторонники политического лидера, политическая элита, масса, либерально ориентированная часть общественности и т.п.), как правило, аморфны и номинальны. П. Бурдье называл такие образования «возможным классом» в отличие от групп, способных к действиям в защиту своих интересов [Бурдье, 1993, с. 59]. Превращение «возможного класса» в «реальный» предполагает формирование групповой идентичности, возникновение у членов группы чувства тождественности себе подобным. Чем сильнее выражена эмоциональная связь с группой, тем активнее ведут себя ее члены на политической арене. Пассионарные группы способны притягивать к себе тех, у кого не сформировались политические предпочтения, расширяя тем самым круг своих сторонников, вовлекая в орбиту своей активности даже тех, кто в соответствии с естественными различиями должен был бы ориентироваться на другие группы. История знает немало примеров, когда в результате резкого нарастания активности той или иной политической группы сметались политические режимы и устанавливались новые политические порядки.

В связи с этим важным становится вопрос о механизмах формирования политических идентичностей. Что помогает человеку адекватно определять свое место в политическом пространстве, видеть различия между группами и выбирать ту, с которой он будет себя идентифицировать? Что ведет к формированию сильной идентичности, способной сделать индивида активным защитником интересов своей группы? В каких случаях процессы групповой идентификации способны привести к глубоким разломам в обществе? Наконец, можно ли управлять процессами формирования политических идентичностей? На наш взгляд, поиск ответов на эти вопросы предполагает обращение к традиции символической интерпретации политического, открывающей возможности объяснения политической идентичности как способа освоения индивидом символических форм политического бытия.

Символизация – неотъемлемое свойство политической реальности. Объективация любых политических феноменов происходит путем выработки символов, с одной стороны, обеспечивающих возможность идентификации соответствующих объектов, а с другой – создающих условия существования этих объектов во временном континууме. Благодаря символизации становится возможным формирование совместно разделяемого знания о политических объектах, что позволяет людям воспринимать их как реально существующие. Объективация политических групп также

начинается с выработки символов, помогающих человеку видеть многообразие возникающих в политическом пространстве общностей и организаций.

Группы идентифицируются в политическом пространстве прежде всего благодаря символам-сигнификаторам, т.е. словам и знакам, способным передавать значительный объем информации о группе [Пушкарева, 2016]. Слова-символы позволяют конструировать группы даже там, где их члены не связаны нитями непосредственных взаимодействий. Либералы и коммунисты, простой народ и политическая элита, избиратели определенной политической партии, сторонники политического лидера, последователи религиозно-политического учения – все эти группы представляют собой множества, их члены разбросаны в физическом пространстве, не связаны нормами социального контроля, они не имеют возможности предъявлять друг другу свои ожидания и применять взаимные санкции за поведение, отклоняющееся от ролевых требований. Но благодаря символам возникает система ориентиров, позволяющих людям в этом индивидуальном разнообразии видеть общности, возникающие на разломах политических различений.

Способность человека распознавать символы-сигнификаторы формируется в ходе социализации, когда он осваивает накопленный предшествующими поколениями запас знаний о политической реальности, выраженный в символической форме. Усваивая символические значения, индивид формирует собственную картину политического группового разнообразия, которая неизбежно имеет ограничения. Реальными для человека становятся только те группы, символическое выражение которых он освоил, о которых говорят в его ближайшем окружении, информацию о которых он получает из доступных ему источников, чаще всего из средств массовой информации. И только по отношению к таким группам человек определяет степень своей близости или удаленности. Так, по данным Левада-центра, в 2016 г. 54% наших сограждан сочли, что в России существует политическая оппозиция, а 27% высказали сомнения в ее существовании, остальные затруднились с ответом [Оппозиция: необходимость... 2016]. В этом частном примере – свидетельство неравномерности освоения массовым сознанием символических форм политического пространства, в результате чего в конечном итоге россияне по-разному видят ландшафт российской политики и возникающие в нем размежевания.

Символы-сигнификаторы в отличие от простых знаков могут вызывать у человека определенные эмоциональные состояния. Это

связано с особенностями усвоения символических форм политического бытия. Когда в процессе социализации индивид интериоризирует знание о какой-либо политической группе, то, как правило, это знание усваивается вместе с тем ценностно-эмоциональным фоном, который неизбежно сопровождает процессы передачи политической информации. Такой компонент хорошо виден в открытых ответах на вопрос о содержании какого-либо понятия. Так, отвечая на вопрос исследователей «Фонда общественное мнение» о том, что такое оппозиция, респонденты выражали как позитивно-ценностное отношение к этой политической группе («силы, которые борются за интересы простых людей»; «те политики, которые за народ»; «те силы, которые отстаивают интересы народа перед правительством»), так и негативное («брехуны, ничего не делают»; «демагогия»; «это очередной обман») [Политическая оппозиция, 2004].

Иными словами, когда человек сталкивается с символом-сигнификатором, то важным становится не только то, что обозначается этим словом, но и то, какова его ценностно-эмоциональная коннотация. Если социализация проходит в среде, враждебно настроенной к обозначаемой группе, то высока вероятность того, что соответствующий символ-сигнификатор всякий раз при его актуализации будет вызывать негативные эмоции – раздражение, презрение, недовольство, гнев и т.п. И, напротив, среда, позитивно настроенная к соответствующей группе, будет способствовать усвоению символических обозначений на фоне доброжелательного эмоционального фона. В последующем, когда перед индивидом встанет проблема выбора, например в ходе избирательной кампании, вероятность поддержки партии, название которой вызывает негативные эмоции, становится ничтожной.

Политические группы имеют множественное символическое выражение. Кроме слов-символов (ярлыков) используются символы, рассчитанные на визуальное восприятие (политическая атрибутика), аудиальное (гимны), аудиовизуальное. Символами-сигнификаторами становятся политические фигуры, отдельные события. Разнообразие символов позволяет учитывать особенности восприятия отдельного человека, облегчать ему процесс распознавания обозначаемого объекта.

Появление нескольких символов, обозначающих одну и ту же группу, связано также со стремлением самой группы обеспечить максимальное присутствие в символическом пространстве. Многообразие символических форм позволяет группе постоянно

напоминать о себе, актуализировать в массовом сознании когнитивные структуры, содержащие информацию о ее свойствах, создавать эффект значимости ее для общества.

Символы-сигнификаторы позволяют транслировать политические различия в физическое пространство, которое является для каждого человека привычной средой обитания. Благодаря символической акции люди начинают узнавать в участниках той или иной политической иерархии. В итоге различие, возникающее на основе осознания непохожести группы акторов по некоторым параметрам политического сравнения, как бы материализуется, превращается в осязаемые образы «своих» и «чужих», представленные конкретными людьми и в конкретном месте физического пространства. В связи с этим становится понятным использование соответствующей атрибутики на массовых мероприятиях, проводимых политическими партиями и движениями, во время международных встреч, политических кампаний и т.п.

Активное присутствие в символическом пространстве важно не только для тех, кто идентифицирует себя с группой, но и для тех, кто относится к ее политическим соперникам. Для первых – это становится свидетельством значимости группы, ее активной роли, признанием ее авторитета, что, в свою очередь, сопровождается укреплением позитивной эмоциональной связи с группой. Вторыми символическое напоминание о политическом конкуренте может восприниматься как претензия на место их группы в политическом пространстве, как попытка ущемить ее положение, что оборачивается обострением чувства конкурентной групповой идентичности.

Особенностью групповой символической сигнификации является ее двусторонний характер. С одной стороны, символы создают сами члены группы, а с другой – политические визави, конкуренты в политической борьбе. Второй вид сигнификации отличается подбором символов, имеющих уничижительное значение в политической культуре общества (например, «дерьмократы», «пятая колонна», «швондеры», «совки», «партия жуликов и воров»). В такой сигнификации находит концентрированное выражение отношение политических соперников к группе, желание ее дискредитировать путем создания ассоциативных связей с негативно воспринимаемыми ярлыками.

Негативная сигнификация может быть как результатом попыток целенаправленного ослабления влияния политических

соперников, так и не вполне осознаваемой реакцией на другую группу. Во втором случае речь идет о своеобразном механизме психологической защиты, когда на подсознательном уровне выбирается путь принижения достоинств другой группы. Ей приписываются заведомо отрицательные свойства и качества, чтобы на этом негативном фоне ощущать свое превосходство, поддерживать свою значимость и исключительность, оправдывать свои претензии на место в политическом пространстве.

Влияние негативной сигнификации на членов группы двояко. У людей с сильной идентичностью уничижающие ярлыки вызывают обратную реакцию, они воспринимают их как неоправданную реакцию на усиление позиций группы, как попытку подорвать ее роль в обществе, как нападки с целью дискредитации и т.п. На фоне растущего возмущения происходит укрепление чувства общности с группой, появляется желание дать отпор тем, кто поливает грязью членов группы, огульно наделяя их отвратительными чертами.

Однако в группе всегда есть те, у кого связь с группой ослаблена. Они относят себя к данной группе, исходя из сложившихся в обществе представлений о политической дифференциации, но им не свойственна тесная эмоциональная связь с группой, выливающаяся в сопереживание и чувство общности. Среди них: люди, вступившие в партию из случайных соображений; сторонники политического движения, имеющие смутное представление о его целях; примкнувшие к кругу поборников идеологической доктрины, но так и не разобравшиеся в ее принципах и т.п. Неустойчивая идентичность под влиянием негативных ярлыков способна разрушаться, трансформироваться в отчуждение от группы и выход из нее.

Вместе с тем есть ситуации, когда выход из группы становится проблематичным. Человек не может изменить цвет кожи, поменять этническую принадлежность, и даже выход из гражданства сопровождается рядом таких условий, которые далеко не каждый может одолеть. Уничижительные ярлыки у людей с ослабленным чувством идентичности с подобными группами могут спровоцировать психологические состояния, способствующие внутренней эрозии группы, когда вместо позитивной эмоциональной связи возникает гамма негативных ощущений – чувство стыда за свою группу, презрительное отношение к ее членам, неприятие ее лидеров, отвращение к ее защитникам и т.п. Человек начинает тяготиться своей принадлежностью к группе, он был бы рад покинуть группу, но не может это сделать в силу непреодолимых об-

стоятельств. У него формируется негативная идентичность: знание о своей принадлежности актуализирует негативные эмоциональные состояния.

Негативная идентичность¹ разъедает группу изнутри. Чувство стыда за группу может вылиться в неприятие групповых ценностей, стремление дистанцироваться от группы и находить оправдание действиям тех, кто стремится принизить ее роль и значение в системе общественных отношений. Некоторые носители негативной идентичности способны переходить от пассивного согласия с обидными ярлыками и молчаливого переживания негативных эмоций к выражению своих чувств. Они превращаются в активных интерпретаторов уничижительных символических значений, сеют сомнения в успехах группы, глумятся над ее достижениями, злорадствуют по поводу неудач, ищут факты, подтверждающие их отрицательные оценки. Их голоса в информационном пространстве начинают сливаться с голосами тех групп, которые настроены оппозиционно и даже враждебно. Самосохранение группы в условиях такого натиска возможно только на основе укрепления позитивной идентичности.

Позитивная эмоциональная связь с группой возникает на основе личного положительного опыта взаимодействия индивида с ее представителями. Однако когда речь идет о больших общностях, то межличностных контактов для ее укрепления недостаточно, необходимы дополнительные связующие структуры. Функцию таких структур выполняют символы-интеграторы, представляющие собой мыслительные конструкции, «теории», объясняющие доступным для членов группы языком значимость для них данной общности. Если символы-сигнификаторы позволяют человеку увидеть групповое разнообразие, то символы-интеграторы должны придать этому разнообразию смысловую завершенность, раскрыть историческую миссию группы, оправдать при необходимости ее притязания, показать индивиду выгоды групповой идентификации и создать условия для укрепления его доверия к группе. Символы-интеграторы формируют своеобразный символический универсум группы, из которого черпаются основания для ее легитимации. Фактически они призваны дать ответ на вопрос: «Кто мы?» (как появились, какой исторический путь прошли, каковы наши достижения, каковы

¹ Отметим, что в литературе есть другое представление о «негативной идентичности» как солидарности, возникающей против кого-то и обретающей ксенофобный, расистский, шовинистический характер [Гудков, 2004].

цели и т.д.). Значение этих вопросов для формирования самосознания группы трудно переоценить, не случайно идентичности часто трактуются как «дискурсивные конструкты» [Малинова, 2005, с. 14], а сама идентичность описывается как система групповых саморепрезентаций [Хантингтон, 2004; Фадеева, 2012].

К символам-интеграторам относятся создаваемые группой мифологемы, объясняющие прошлый опыт группы и идеологемы, определяющие ее целевые установки. Среди групповых мифологем особое место занимают мифы-события, в основе которых лежат реальные события, подвергнутые мифологической интерпретации путем акцентуации выгодных для группы аспектов события. В итоге получается картина события, с одной стороны, упрощенная, сведенная до понятной членам группы логики причинно-следственных связей, а с другой – формирующая нужный ракурс восприятия данного события, укрепляющий чувство групповой идентичности. Так, в символическом универсуме любой оппозиционной группы можно найти мифы-события, рассказывающие о гонениях на членов группы со стороны властей, о демонстрации членами оппозиции лучших качеств в борьбе за свои идеалы, о случаях противостояния с силами, поддерживающими правящий режим, и т.п. В символическом универсуме любой политической партии – рассказы о событиях, характеризующих ее как выразителя и защитника общественных интересов.

Назначение мифа-события – сформировать у тех, кто идентифицирует себя с той или иной группой, чувство гордости за свою группу, за ее успехи, за ее способность преодолевать трудности, противостоять соперникам и врагам в борьбе за справедливые цели. Мифы-события поддерживают веру человека в призвание своей группы, ее особое назначение, что, в свою очередь, влияет на его восприятие окружающего мира и повышает его личностную самооценку, вместе с группой он ощущает себя сильнее, значимее, влиятельнее.

Формированию групповой идентичности способствует обостренное чувство опасности, возникающее по мере осознания угроз со стороны других групп. Мифы-события могут актуализировать представления о таких угрозах путем напоминания о фактах агрессии, которые органично дополняются суждениями и / или домыслами о корыстной природе групп-конкурентов, их неискоренимой враждебности, перманентной антагонистичности и стремлении распространить свое влияние. Мифы о врагах есть в символическом универсуме любой политической группы. Для оппозиционных политических

групп они представлены главным образом в суждениях о злонамеренности властей, об исходящей от властных структур опасности для существования оппозиции. Для правящей элиты поиск врага и мифологизация его образа также являются неотъемлемой частью процесса конструирования своего символического универсума. Тому, кто выбирается на роль врага, приписываются агрессивные мотивы, черты и качества, угрожающие благополучию и даже существованию группы. Сплочение перед лицом опасности является социальным инстинктом, выработанным еще во времена общинно-родового строя. С ростом тревоги у индивида на уровне подсознания актуализируется потребность в аффилиации, он стремится присоединиться к тем, кто в наибольшей степени похож на него, кто лучше сможет понять его эмоциональное состояние, кто демонстрирует понятные ему модели поведения, т.е. к тем, кто принадлежит к его группе.

Символическое присутствие образа врага помогает группе найти дополнительные скрепы для внутренней консолидации в условиях ослабления роли символов позитивной идентификации. Когда группа сталкивается с проблемами, подрывающими благосостояние ее членов и их уверенность в завтрашнем дне, когда фрустрация становится массовым явлением, то позитивные символы-идентификаторы оказываются не в состоянии поддерживать необходимый для самосохранения группы уровень идентичности. Это связано с изменениями в настроениях группы, с нарастанием пессимизма, беспокойства, страха, которые вытесняют чувства уверенности, гордости. В таких условиях нужен выход негативным эмоциям, и образ врага становится своеобразным громоотводом, позволяющим отвести накопившуюся отрицательную энергию от самой группы, предотвратить ее распад.

Особую роль в интеграции группы выполняют героические мифы, являющиеся дискурсивным развертыванием символических фигур, олицетворяющих ту или иную группу. Наделение действующего политика или исторической личности качествами борца за интересы группы, их героизация создают условия для их превращения в своеобразных аттракторов, притягивающих единомышленников. Сила такого притяжения определяется глубиной веры в созданный образ «героя» и возникающим на этой основе сопереживанием, переходящим в эмпатию. В итоге групповая идентичность формируется на основе референтной идентификации с «героем», олицетворяющим данную группу. Так, 59% голосующих за ЛДПР говорят, что эта поддержка обусловлена симпатией к ее лидеру. Для других партий этот показатель значительно ниже («Единая Россия» – 29%, КПРФ – 20,

«Справедливая Россия» – 13%) [Предстоящие выборы... 2016]. Можно сказать, что фигура В.В. Жириновского занимает центральное место в символическом универсуме ЛДПР.

Консолидирующую функцию выполняют также идеологиемы, призванные объяснить ценностные ориентиры группы, политические цели ее существования. В них отражаются представления группы об идеальных формах политического бытия и роли самой группы в достижении справедливого политического устройства. Интериоризация определенной системы ценностей ведет к формированию у членов группы твердых убеждений в их незыблемости, искренней веры в истинность провозглашаемых идеалов и общественную значимость декларируемых политических целей. При этом человеку свойственно считать своими тех, кто разделяет усвоенные им ценности, и видеть в том, кто придерживается иных взглядов, по меньшей мере оппонента. Будучи интериоризированными, ценности могут превращаться в фактор, с одной стороны, разделяющий людей, а с другой – консолидирующий единомышленников.

Вместе с тем, как показывают социологические опросы, почти половина россиян (46%) не могут однозначно идентифицировать свою идеологическую ориентацию и определить характер своих политических взглядов. К социал-демократам себя относят 16% респондентов, к коммунистам – 16, к государственным – 7, к либералам – 7, к националистам – 4, монархистам – 2, анархистам – 1% [Волков, Гончаров, 2015, с. 25]. Более того, для российского политического пространства характерно несовпадение партийных и идеологических размежеваний. Среди парламентских партий, пожалуй, только сторонники КППРФ демонстрируют относительную приверженность коммунистической идеологии. В остальных партиях представлены сторонники практически всего спектра идеологических ориентаций [там же, с. 27].

Идеологическая размытость, свойственная современным партиям, свидетельствует о снижении интереса политических групп к идеологемам как фактору формирования политической идентичности. Мифологиемы оказываются более действенным инструментом влияния на сознание людей с целью приобщения их к кругу политических сторонников. Это связано с тем, что мифы легче усваиваются массовым сознанием, в то время как вхождение в ценностный дискурс требует от человека определенных когнитивных усилий, необходимых для выработки суждений и оценки альтернатив. Вот почему в символических универсумах, формируемых политически-

ми партиями, преобладают мифологемы, предлагающие привлекательные образы политических организаций.

Символический универсум – это феномен группового сознания. Он существует в виде образов, усвоенных членами определенной политической группы, а основным условием его существования является вера в составляющие его мифологемы и идеологемы. Вера в конструкты символического универсума может оказаться настолько сильной, что даже с исчезновением объективных оснований социальной общности хранящиеся в памяти людей мифы и идеологемы способны оказывать воздействие на людей длительное время, формируя у них ощущение тождественности с формально не существующей общностью. В 2007 г. 16% россиян отметили, что они часто испытывают чувство общности с советским народом, а 42% испытывают это чувство иногда [Российская идентичность... 2007].

Групповой символический универсум функционирует в агрессивной среде, на постоянной основе продуцирующей альтернативные интерпретации значимых для группы событий, а также суждения, подвергающие сомнению ее мифологемы, оспаривающие ее ценностные принципы. Например, поиск в базе данных «Медиалогия» показал, что только за январь-февраль 2015 г. в российских СМИ «Единая Россия» упоминалась в негативном контексте 307 раз, КППРФ – 524 раза (в 1,3 раза чаще, чем в позитивном контексте), ЛДПР – 87, «Справедливая Россия» – 115 [Чижов, 2016, с. 317]. Противоречивый контент в первую очередь дезориентирует людей с неустоявшимися политическими предпочтениями, но он также может оказать влияние на тех, кто уже самоопределился. Под влиянием негативного контента у индивида может начаться процесс критического пересмотра прежних воззрений, он начинает ставить под сомнение групповые мифы, идеалы и ценности. В итоге происходит ослабление силы группового эмоционального притяжения, идентичность индивида либо меняет модальность, становится негативно окрашенной, либо размывается, что неизбежно ведет к разрыву с группой. Чтобы такие процессы не приобрели массового характера, группа должна уметь защищать свой символический универсум, в противном случае она рискует утратить свою качественную определенность, быть поглощенной другой группой или раствориться в безликой массе.

Поскольку символический универсум – это феномен группового сознания, то основным способом его «защиты» становятся информационные технологии. С помощью таких технологий удается

поддерживать в актуальном состоянии основные символические конструкты. В частности это достигается за счет непрерывности дискурса вокруг важнейших идеологем и мифологем группового символического универсума. Такой дискурс не только разворачивается внутри партии, но и выплескивается в традиционное медийное пространство. Кроме того, политические партии активно осваивают интернет-пространство. Так, среди парламентских партий лидером по интернет-активности в социальных сетях является «Единая Россия». По данным на начало 2015 г., она сумела интегрировать максимальное количество подписчиков и обеспечить генерирование наибольшего количества сообщений (постов) в день [Чижов, 2016, с. 320].

Особенно активно символическое конструирование осуществляется в периоды избирательных кампаний, когда важным становится не только актуализация сложившихся политических идентичностей и мобилизация на этой основе своих сторонников, но и расширение электората путем приобщения к групповому символическому универсуму новых людей [Huddy, Mason, Aaroe, 2015]. В избирательных кампаниях озвучиваются мифы, акцентируются ценности, визуализируются бренды, создается на их основе имидж, обладающий притягательными для определенных слоев населения качествами.

В каждой группе существуют своеобразные «хранители» символического универсума. К ним относятся, во-первых, те, кто обладает моральным правом выступать в качестве толкователей основных принципов группового символического универсума. На эту роль выдвигаются те, к чьему мнению в группе прислушиваются, чьи суждения принимают на веру. Как правило, это лидеры политической организации, а также ее представители, которые обладают высоким интеллектуальным потенциалом, творческими способностями, обширными знаниями. Именно они создают мифологемы, обосновывают ценностные принципы, интерпретируют интересы группы и декларируют ее целевые установки. Во-вторых, это так называемое ядро группы – люди с сильной идентичностью, настолько глубоко усвоившие основные принципы символического универсума, что любое покушение на эти принципы в виде критики, оспаривания или даже выражения сомнения они воспринимают как необоснованные нападки, причем не только в адрес группы, но и в отношении себя лично. Если первые являются идеологами группы, конструкторами ее символического универсума, то вторые – ярыми защитниками ее символических устоев.

Групповой символический универсум, чтобы выполнять функцию интеграции группы, должен обновляться в соответствии с меняющимися историческими условиями, новыми факторами социального и политического развития. Функцию обновления способны выполнять только идеологи группы. Их назначение – вовремя уловить происходящие изменения и скорректировать конструкцию символического универсума: сместить акценты на те ценности, которые ранее казались второстепенными, предложить новые мифы, разработать обоснование важности предлагаемых символических трансформаций.

Процессы обновления символического универсума проходят болезненно. Любые изменения в базовых ценностно-мифологических конструкциях вызывают острые дискуссии, сопровождающиеся обвинениями в ренегатстве, отступничестве, предательстве интересов. Особенно непримиримую позицию в данных обстоятельствах занимает ядро группы, последовательно выполняющее роль хранителей старого символического универсума. Сильная идентичность, возвращенная старым символическим универсумом и нередко наложенная на ригидность мышления, становится преградой на пути адаптации ядра группы к новым условиям, что выливается в неприятие любого обновления символических форм политического бытия группы. Так, КПРФ продолжает включать в свой символический универсум фигуру Сталина, поскольку в сознании ядерной части коммунистов эта политическая фигура является символом правителя, который может «навести порядок» [Волков, 2017]. Среди сторонников КПРФ больше половины (52%) тех, кто считает, что Ленин «принес стране больше пользы, чем вреда» (в целом по стране таких людей менее трети (31%) [Пресс-выпуск... 2016].

Борьбу за право определять содержание группового символического универсума можно по праву назвать «борьбой за идентичность» [Фадеева, 2012, с. 190], поскольку в этой борьбе происходит сплочение группы вокруг обновленных мифологем. Однако последствия такой борьбы могут оказаться и роковыми, ведущими к ослаблению влияния политической организации, сокращению ее базового электората. Настойчивое внедрение новых ценностей и мифологем способно спровоцировать раскол и появление новых политических организаций, претендующих на свое видение основных символических конструктов.

Чем лучше организована группа, тем более эффективно она справляется с задачей охраны своего символического универсума. Создаваемые политические партии и иные объединения призваны не

только артикулировать интересы соответствующих политических групп, но и поддерживать у их членов общие представления, подкрепляющие чувство общности, ощущение *Мы*. Групповые мифологемы и идеологемы нуждаются в постоянной подпитке, чтобы не быть вытесненными в сознании людей другими репрезентациями. Для этого необходимо, чтобы в информационном пространстве постоянно присутствовали свидетельства, подкрепляющие уверенность членов группы в правильности основных конструктов символического универсума. Иными словами, если среди этих конструктов присутствует миф об агрессивной природе некоторых политических сил, то человек должен постоянно находить в информационном пространстве сюжеты, подпитывающие его веру в этот миф. Чтобы вера человека в групповые ценности не иссякала, необходимо, чтобы он видел, что другие члены группы разделяют эти ценности и готовы отстаивать их в политической борьбе.

Как уже отмечалось выше, пространство политических различий в современном обществе многопланово. Оно содержит основания для выделения больших общностей (гражданская нация) и небольших групп сторонников микроскопических политических организаций. Отдельный человек неизбежно оказывается в ситуации, требующей от него самоопределения по отношению не к одной-единственной, а к нескольким группам. Так, он может ощущать себя гражданином, идентифицировать себя с политической элитой или с «простым народом», быть сторонником конкретной политической партии, считать себя приверженцем правящего режима или относить себя к оппозиции, причислять себя к либералам или коммунистам. В итоге в сознании одного человека может происходить наслоение нескольких политических идентичностей, выраженных в различных, подчас конкурирующих символических формах.

Как правило, множественная идентичность не сопровождается внутренним личностным конфликтом. Ощущение тождественности с оппозицией может гаситься чувством гражданской ответственности, неприязнь к политическим «верхам» – сглаживаться сопереживанием политическому лидеру, партийные размежевания – смягчаться приверженностью общенациональным ценностям. «Равновесие» идентичностей существует до тех пор, пока групповые символические универсумы не приходят в острое противоречие друг с другом. Иными словами, пока в обществе существует консенсус в отношении базовых ценностей, пока существует согласие по поводу общенациональных мифов, оснований для острого противостояния между политическими группами не воз-

никает. Политический и идеологический плюрализм существуют в пространстве общенационального символического универсума.

Как только общенациональный символический универсум сегментируется и консенсус по базовым ценностям и мифам распадается, актуализируются другие виды политической идентичности. Механизмом, запускающим процесс актуализации в сознании человека политической идентичности и превращения ее в доминантную, обычно становятся изменения в системе репрезентаций человека, вызываемые относительной депривацией. Если идеологи группы начинают говорить об ущемлении ее интересов, о дискриминации, о нарушении прав, то генерируемое данными суждениями чувство несправедливости может привести к превращению данной групповой идентичности в доминантную.

Специфика доминантной политической идентичности заключается в том, что она переживается особенно остро. Для индивида чувство тождественности с соответствующей группой становится особенно значимым, ее интересы он воспринимает необычайно близко к сердцу, групповые ценности и мифологемы не подвергаются сомнению, а любые нападки на группу воспринимаются как акт агрессии, требующий соответствующей реакции. Превращение политической идентичности в доминантную провоцирует возникновение глубоких разломов в обществе, поскольку различия, в обычных условиях принимаемые как естественные и неизбежные, начинают восприниматься как оппозиции, трансформируя дихотомию «*Мы и Они*» в дихотомию «*Мы и Враги*». Люди, живущие в одном городе, на одной улице и даже в одном доме, но ощущающие свою принадлежность к враждебным группам, могут превращаться в непримиримых врагов, готовых принимать участие в акциях протеста, столкновениях, проявлять агрессию, конфликтовать и т.п.

Итак, политическая идентичность как система представлений индивида о своей принадлежности к группе складывается, с одной стороны, в результате его когнитивных усилий, познания им политических различий в пространстве политических отношений, в результате выработанных в процессе политической социализации навыков соотнесения себя с теми, кто обладает похожими политическими чертами и качествами. Но с другой – человек может сформировать у себя эти знания и навыки только благодаря символической форме политической реальности. Символы открывают перед человеком возможность увидеть многообразие групп, возникающих в политическом пространстве, они помогают ему определить свою тождественность по отношению к некоторым из

них. Через приобщение к групповому символическому универсуму в структуре личности формируются устойчивые эмоциональные связи с группой, основанные на вере в мифологические конструкции и ценностные принципы, определяющие облик группы, ее особое место в политическом пространстве.

Литература

- Ахременко А.С. Социальные размежевания и структуры электорального пространства России // Общественные науки и современность. – М., 2007. – № 4. – С. 80–92
- Политическая оппозиция // ФОМ. – М., 2004. – 8 июля. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/dd042709> (Дата посещения: 16.01.2017.)
- Бурдые П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
- Волков Д. Политические дивиденды сталинизма // Левада-центр. – М., 2017. – 9 февраля. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2017/02/09/politicheskie-dividendy-stalinizma/> (Дата посещения 13.02.2017.)
- Волков Д., Гончаров С. Демократия в России: установки населения: Сводный аналитический отчет. – М.: Левада-центр, 2015. – 43 с.
- Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: Новое литературное обозрение: «ВЦИОМ-А», 2004. – 816 с.
- Коргунюк Ю.Г. Концепция размежеваний и факторный анализ // Политика. Анализ. Хроника. Прогноз. – М., 2013. – № 3. – С. 31–61.
- Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей: Предварительные замечания // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2004. – № 4. – С. 204–234.
- Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2005. – № 3. – С. 8–20.
- Малинова О.Ю. Между идеями нации и цивилизации: дилеммы макрополитической идентичности в постимперском контексте // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 332–353.
- Мелешкина Е.Ю. Концепция социально-политических размежеваний: проблема универсальности замечания // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2004. – № 4. – С. 11–29.
- Оппозиция: необходимость, узнаваемость и доверие // Левада-центр. – М., 2016. – 14 марта. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2016/03/14/oppozitsiya-neobhodimost-uznavaemost-i-doverie/> (Дата посещения: 16.01.2017.)
- Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации // Полис. Политические исследования. – М., 2008. – № 3. – С. 29–39.
- Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // Полис. Политические исследования. – М., 2009. – № 1. – С. 143–157.

- Предстоящие выборы и образ нынешней Госдумы // Левада-центр. – М., 2016. – 18 июля. – Mode of access: <http://www.levada.ru/2016/07/18/predstoyashhie-dumskie-vybory-i-obraz-nyнешnej-gosdumy/> (Дата посещения: 22.02.2017.)
- Пресс-выпуск № 3087 // ВЦИОМ. – М., 2016. – 20 апреля. – Режим доступа: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115661> (Дата посещения: 25.02.2017.)
- Пушкарева Г.В. Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации // Полис. Политические исследования. – М., 2012. – № 2. – С. 167–176.
- Пушкарева Г.В. Символические формы конструирования политической реальности // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – Вып. 4: Социальное конструирование пространства. – С. 15–29.
- Российская идентичность в социологическом измерении: Аналитический доклад. – М., 2007. – Режим доступа: http://www.isras.ru/analytical_report_Ident.html (Дата посещения: 24.12.2016.)
- Семенов И.С. Политическая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семенов. – С. 71–75.
- Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы. Социологический опрос. – М., 2013. – Режим доступа: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_Identity_2013_rus.pdf (Дата посещения: 20.12.2016.)
- Тимофеев И.Н. Политическая идентичность России в постсоветский период: альтернативы и тенденции. – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 176 с.
- Фадеева Л.А. Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. – М.: Новый хронограф, 2012. – 320 с.
- Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.
- Чижов Д.В. Формирование имиджа российских политических партий в сети Интернет // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – М., 2016. – № 1. – С. 313–338.
- Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. – М., 1995. – № 3–4. – С. 158–181.
- The American voter / A. Campbell, P.E. Converse, W.E. Miller, D.E. Stokes. – N.Y.; L.: J. Wiley & Sons, 1960. – 573 p.
- Huddy L., Mason L., Aaroe L. Expressive partisanship: Campaign involvement, political emotion, and partisan identity // American political science review. – Cambridge, 2015. – Vol. 109, Is. 1. – P. 1–17.
- Greene S. The social-psychological measurement of partisanship // Political behavior. – Dordrecht, 2002. – Vol. 24, N 3. – P. 171–97.

Г.Л. Тульчинский*

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРОЕКТ: УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Для различных стадий цивилизационного развития характерно доминирование разных способов идентификации личности для позиционирования ее в социуме. Каждый из этих способов имеет особые основания и критерии. Эти способы идентификации выступают в качестве основы для формирования представлений личности о себе (идентичности), целей и возможностей развития. С развитием массового информационного общества сформировался проектный способ идентификации, связанный с наработкой человеческого капитала как преимущественно публицитного. При этом ранее указанные способы позиционирования выступают в качестве материала или препятствий для подобного проектного позиционирования и продвижения личности.

Ключевые слова: идентичность; личность; публицити; позиционирование; проект.

G.L. Tulchinsky

Identity as a project: Conditions for political positioning of a personality

Abstract. Civilization development has developed methods of identification for its positioning in society. Each of these methods relied and relies on its own criteria and social guarantees. These methods were the basis for the formation of personality concepts about themselves (identity), goals and development opportunities. The mass information society development has formed the project identification method, which is associated with the operating time of human capital as publicity advantageously. Traditional positioning methods act as the material or the obstacles for positioning and promotion of project.

Keywords: identity; personality; positioning; project; publicity.

* **Тульчинский Григорий Львович**, доктор философских наук, профессор департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки РФ, e-mail: gtul@mail.ru

Tulchinsky Grigorii, National Research University Higher School of Economics (Saint-Petersburg, Russia), e-mail: gtul@mail.ru

Под идентичностью обычно понимается характеристика самоопределения субъекта относительно его принадлежности к социальным группам и принятия им соответствующих ценностно-нормативных регуляций. В современных исследованиях динамики политических процессов, в объяснении индивидуальных и коллективных политических действий концепту идентичности уделяется большое внимание. При этом в качестве относительно самостоятельных факторов различаются гражданские, классовые, национальные, культурные, конфессиональные, гендерные, партийные, профессиональные и т.п. – вплоть до постимперской, цивилизационной и гибридной идентичностей [Политическая идентичность... 2012].

Построенный по такому принципу анализ, несомненно, дает чрезвычайно обширный и важный материал для осмысления политической реальности, прежде всего – политического поведения, в котором осознание принадлежности, сопричастности группе играет ключевую роль. Каждая группа обладает культурой – ценностно-нормативным механизмом порождения, хранения и трансляции определенного социального опыта – и тем самым наделяет формирующуюся в рамках этой культуры личность определенной жизненной компетентностью. В этом плане идентичность выступает в качестве набора принимаемых и практикуемых личностью программ социальной деятельности.

Однако, как представляется, горизонт такого осмысления может и должен быть расширен. Как уже отмечалось в другой нашей работе, позитивистская ориентация, доминирующая в политических исследованиях, порождает как минимум два класса проблем, ограничивающих возможности объяснения: они связаны с издержками оценочной категоризации и элиминацией (воли) политического субъекта [Тульчинский, 2016]. В первом случае объяснение сводится к распознаванию в неизвестном уже известного, в лучшем случае – достраиванию некоего предзаданного паззла. Во втором – анализ фактически утрачивает собственно политическую реальность – поле и результат взаимодействия, конкуренции, конфликтов, компромиссов различных акторов, социальных сил, поскольку эта реальность несводима к сугубо «объективистским» детерминанциям, она принципиально интенциональна, мотивирована.

В связи с этим можно сказать, что традиционное рассмотрение политических измерений идентичности фактически сводится к своеобразной «инвентаризации», описанию характеристик групп, оставляя феномен самоопределения, политического выбора субъекта

екта за рамками рассмотрения. (И далее будет показано, как ограниченность традиционного подхода проявилась в исходе референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) и результате президентских выборов 2016 г. в США, ставших вызовом для политической науки.) Однако если исходить из того, что идентичность – это прежде всего самоидентификация, осознание сопричастности, отождествление своих интересов, стремлений, надежд с ценностями и нормами определенной группы, то становится ясно, что необходим анализ, во-первых, самого механизма такого самоотнесения, а во-вторых – обратной связи со стороны группы. При этом сама эта обратная связь – в виде оценки, принятия или непринятия субъекта в ценностно-нормативный контекст группы – является частью мотивационного механизма идентификации.

Если идентификация есть «выявление и описание смысловых характеристик индивидуальных и коллективных действий» [Миненков, 2012, с. 18], то она связана с поиском и выражением смысловой картины мира и – явно или неявно – с проблемой смысла жизни. Так же, как смысл слова вытекает из фразы, смысл фразы – из текста, смысл текста – из контекста, так и смысложизненные характеристики связаны с поиском контекста, в который включается существование индивида или группы и который придает смысл этому существованию: дети, любовь, религиозная, политическая или научная идея и т.п. В этом плане идентичность является проявлением поиска, нахождения, придания, в любом случае – осознания такого контекста и предстает явлением глубоко персонологичным. Как в свое время отмечал В.А. Ядов, собственно человеческой потребностью человека как социального существа, выделяющей его из животного мира, является потребность в принадлежности, сопричастности, придающей смысл (контекст) существованию, и в признании (оценке) в этой сопричастности [Саморегуляция... 1979]. Иначе говоря, важно быть не только сопричастным, но и в этой сопричастности быть не забытым, поименованным, как писал Р. Гвардини – окликнутым [Гвардини, 2010].

И предметом нашего дальнейшего рассмотрения являются именно такие аспекты идентичности, как осознание сопричастности и социальное позиционирование. Начнем как бы «извне вовнутрь», с социального позиционирования.

Цивилизационные стадии позиционирования как идентификации

Прежде всего, следует различать идентичность и идентификацию личности. Если идентичность – проявление осознанного или неосознаваемого самой личностью ее самоопределения (за кого «держит» себя сама личность), то идентификация – задача социума, в силу необходимости не просто различения членов общества, но и выделения, спецификации и фиксации личности как вменяемого субъекта. Вменяемого – в обоих русских смыслах этого слова: обладающего сознанием, некоей поддающейся рационализации мотивацией и (очевидно в силу этого) наделяемого ответственностью.

В силу целого ряда исторических факторов в ходе цивилизационного развития можно выделить несколько стадий (способов) идентификации личности для позиционирования ее в социуме как вменяемого субъекта [Тулчинский, 2008; 2010].

(1) *«Этническая» стадия*, на которой границы личности как вменяемого субъекта задаются принадлежностью роду, племени, клану. Гарантами идентификации являются представители данного и других этносов («наш» – «чужой»). Подтверждением идентичности являются внешний облик, одежда, язык, поведение.

(2) *«Статусная» стадия*, на которой личность выступает уже как выделенный из рода индивид, идентифицируемый по его месту в социальной иерархии, определяемому по его заслугам перед неким сувереном. В этом случае подтверждением идентификации помимо облика, телесных признаков становятся некие документальные свидетельства.

(3) *«Ролевая» стадия*, на которой психотелесная целостность индивида идентифицируется прежде всего в соответствии с выполняемыми социальными ролями, независимо от некоего статуса и рода-племени. Гарантом чего являются личная и профессиональная востребованность, подкрепляемые некими сертификатами, но главное – компетентностью и профессионализмом личности.

(4) *«Проектная» стадия*, на которой границы вменяемого субъекта очерчиваются жизненными стратегиями, планами, а идентификация задается вменяемой ответственностью, что подтверждается известностью и узнаваемостью личности, ее представленностью в СМИ.

(5) Предполагаемая *«постчеловеческая» стадия*, когда на первый план выходит «человек без свойств», неявленная и самостоятельно определяемая точка сборки свободы и ответственно-

сти. Проблемы подтверждения такой идентичности весьма неоднозначны и только еще начинают ощущаться в связи с развитием Интернета, виртуальной реальности.

Характеристики этих стадий сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Характеристики стадий идентификации вменяемого субъекта

Стадия	Границы личности как вменяемого субъекта	Форма идентификации личности	Гарант квалификации	Форма самозванства	Главная проблема подтверждения идентичности
Этническая	Род, племя	По принадлежности к этносу (роду, клану, племени, деноминации)	Представители данного и других этносов	<i>Представительство</i> от рода, клана, племени и т.д.	Внешний облик, одежда, язык, поведение
Статусная	Выделенный из рода индивид	По заслугам перед государством, сувереном	Суверен	Традиционная (претензии на высокий статус)	+ документ, свидетельство, + телесные признаки
Ролевая	Психосоматическая целостность индивида	По выполняемым социальным ролям	Личная и профессиональная востребованность	Успешность исполнения ролей	+ непрерывность памяти + компетентность, профессионализм
Проектная	Жизненные стратегии, планы	Конвенционально вменяемая ответственность	Средства массовой коммуникации, общественное мнение	Манифестация имиджа, проект персонифицированного бренда	Известность и узнаваемость
Постчеловеческая перспектива	«Человек без свойств»	Самостоятельно определяемая ответственность	Немонотонная функция свободы / ответственности	В стадии формирования	В стадии формирования

Способы идентификации, характерные для этих стадий, опираются на определенные критерии и предполагают наличие тех или иных социальных гарантов. Каждая стадия порождает свою

форму социализации личности. Так, отказ от родового статуса расчищает поле для карьерного продвижения чиновников; освобождение от всемогущества бюрократии – открывает возможности для свободной игры экономических, политических и других творческих сил; расширение возможностей самоидентификации новыми коммуникативными средствами приносит новые возможности самореализации личности. Каждая из этих стадий не исключает, а предполагает и дополняет другие. Их появление и развитие связано с общецивилизационным процессом, порождающим новые и новые требования к жизненной компетентности личности, формируя ее многомерность. И наоборот, разрушение, эрозия цивилизационного контекста чревато атрофией характеристик, их редукцией к этничности («свой» – «чужой», «наш» – «не наш»).

Во все времена личность могла быть недовольна своим местом в мире, стремилась к его изменению, смене своей социальной позиции. В традиционном обществе средства для решения этой задачи были довольно ограничены: это могла быть узурпация чужой позиции, ее определенная маркировка именем с целью изменить к себе отношение окружающих; затем изменение социального статуса, а затем – роли. Важно отметить, что это не просто самозваное «выдавание себя за». Обманщики, проходимцы и мошенники были во все времена. Речь не о них. Самозванство всегда претендует на некую исключительность. Оно питается серьезными амбициями. При этом и характер, и способы проявления этой амбициозной исключительности – тоже историчны, зависят от особенностей структурирования социума, распределения в нем статусов, соответствующих форм признания и привилегий. «Высокое» самозванство – удел претендующих на власть, исключительные возможности влияния. Это могут быть не только претензии на трон, но и претензии на принадлежность к чему-то, уходящему за пределы человеческой природы: как в трансцендентное (небесного или inferнального плана), так и в природные стихии, животный и даже растительный мир. В основе самозванства как социального явления – претензия на выделенность и исключительность, дающие право на особый статус в социуме. И не всегда с целью получения неких материальных благ. Важен сам факт признания особости [Тульчинский, 2008].

Представляется, что в наше время самозванство как явление политической культуры утратило свой потенциал. В связи с этим точным представляется мнение М.С. Арканниковой, предложившей различать самозванство и самозванчество [Арканникова, 2005]. Первое связано со стремлением личности изменить свое место в

обществе, позиционировать себя как-то иначе. Второе же предполагает привлечение сторонников, способно породить политическое движение. И если в XVI–XVII, а отчасти и в XVIII в. ресурс такого движения возникал в силу принадлежности к роду, династии, необходимой для статусного позиционирования в системе власти, то уже с середины XIX в. такие претензии вызывали все меньший и меньший легитимизирующий отклик в общественном сознании. В наше время претензии на статус, принадлежность, вообще выступление «от имени» и «под именем» уже не порождают такого политического ресурса. И это, очевидно, обусловлено общей тенденцией к усилению ролевой и даже проектной идентификации личности.

В наши дни стремление сменить свою позицию в социуме предполагает изменение себя, своей собственной самоидентификации, построение себя-другого. И в настоящее время активно формируется новая персонология, в которой личность во все большей степени предстает как проект или даже – как серия проектов, автором которых выступает сама личность.

Исключительные возможности «самопроектной» идентичности дают современные информационные технологии, средства связи и коммуникации. В Интернете человек может выступать под самыми различными «никами», создавать и позиционировать различные проекты самого себя – вне зависимости от возраста, пола, гражданства, этнической принадлежности и т.п. Более того, в этой виртуальной реальности человек может добиться вполне конкретного социального признания, состояться как личность в большей степени, чем в «реале».

Личность как проект

Так или иначе, но в настоящее время, в силу ряда общецивилизационных факторов, активно формируется новая персонология, в которой личность во все большей степени предстает как проект или даже – как серия проектов. Разумеется, при этом не происходит полного отказа от статусных и ролевых идентификаций. Но уже нельзя сказать, что они – тот гвоздь, на который вешается шляпа личности. Они становятся некими признаками, используемыми в технологии формирования и продвижения бренда, – так же, как биологическая и сексуальная привлекательность сохраняют важную роль в самом продвинутом обществе. Статус и роль становятся не целью, конечным результатом идентификации, а средством реали-

зации проекта. Этническая, статусная, ролевая идентичности могут быть средствами для реализации проекта – как в случае с такими политическими проектами, как Р. Рейган, В.В. Путин, Б. Обама. Но могут и выступать характеристиками, на преодоление которых автопроект может быть направлен, как это было в случае Майкла Джексона, выстроившего себя как проект, преодолевающий расовые, гендерные, возрастные, а в чем-то уже и просто человеческие характеристики идентификации.

Речь не идет и о полном торжестве ролевой идентичности. Это идентичность именно проектная. Основной персонаж современной культуры – личность как постоянно корректируемый проект, который реализуется в творческой, политической деятельности, деловой активности, спорте и др.

Кто является автором этих проектов? Первый, напрашивающийся ответ – сама личность: именно она выступает автопроектом самой себя, позиционируя собственную особость и уникальность. Однако более глубокое погружение в проблему выявляет два основных смысла автопроектности.

В наши дни обитатели мегаполисов в той или иной степени находятся в динамичном поле пересечения различных идентификаций: национальных и конфессиональных, профессиональных и семейных, возрастных и имущественных... Переключения ролевых функций в этом силовом поле происходят постоянно, почти мгновенно и на всем протяжении дня. И вряд ли можно говорить об очевидном доминировании какой-то одной из них, как это было исторически не так уж и давно, еще в советское время. При этом показательно, что тоталитарным режимам свойственно именно жесткое доминирование «больших» идентичностей.

Эта особенность современной жизненной стратегии была довольно точно названа Д.А. Приговым «самоидентизванством» («само-названство» и «само-идентификация») [Пригов, 2001], когда именно сама личность выступает автором собственного проекта: жизненного, профессионального... И такая автопроектность становится обыденным опытом, повседневностью. Социализация и принадлежность к группе в этой ситуации мало что значат. Если у индивида не складывается социализация в группе и если он при этом нуждается в роли (т.е. не удовлетворен своим статусом), он делается самозванцем – не принадлежит ни обществу, ни группе. И в этом плане к каждому из нас сейчас вполне можно применить характеристику пушкинского Самозванца, который умеет жить так, как нужно жить в мире, в котором гибкая, развивающаяся личность

отзывается на развивающуюся же и всегда эволюционирующую ситуативность, умеет извлекать пользу из нее.

Такое понимание автопроективности вполне укладывается в описанную выше логику стадий / способов идентификации: от представительства социума, породившего личность, – к позиционированию индивидуальной особы, неповторимости и далее – к ответственной самореализации. Это путь от невменяемой безответственности человек проходит через индивидуальную свободу воли к сознательному выстраиванию себя как точки сборки свободы и ответственности в бесконечном, но гармоничном мире.

Можно провести аналогию с развитием трагедии. Трагическое связано с уникальной неповторимостью личности, в отличие от комического – проявлений типологического и отклонений от него. Героями античной трагедии были боги и властители. Чуть расширен этот круг в классицистской формуле, согласно которой в него были включены аристократы, рыцари. Только в XIX столетии была открыта трагичность «маленького человека». Можно сказать, что нарастание и расширение трагичности шли параллельно с нарастанием и расширением роли и значения персонологичности в культуре.

И еще одна аналогия – с таинством получения крестного имени в христианстве. В ортодоксальной церкви крещение совершается вскоре после рождения. Это решение родственников и близких, ответственных за формирование будущей личности. В протестантстве, нравственный импульс которого определил рывок современной цивилизации, окончательным признается крещение по достижении совершеннолетия, т.е. сознательный нравственный и духовный выбор личности, сознательное принятие на себя ответственности.

История динамики личности – история свободы, ее становления, онтофании. Если еще не так давно свобода еще могла пониматься почти мистически, как «безосновная основа бытия» (Н.А. Бердяев), как «ничто», «дыра в бытии» (Ж.-П. Сартр), если ответственность еще недавно могла пониматься как необязательное следствие свободы, то к началу нашего столетия открылось обратное. Свобода – эпифеномен культуры. Она, как и самосознание, вторична по отношению к ответственности, вменение которой вырывает человека из причинно-следственных связей и замыкает их на него. В этом заключается весь смысл семейного и прочего воспитания. Разум – мера и путь осознания своего не-алиби-в-бытии (М.М. Бахтин), своей укорененности в мире. Сознание и самосознание как «чувствилища свободы» не формируются без образования этой «ленты Мебиуса» бытия, концы которой скреп-

лены в душе человека. Но тогда можно и необходимо говорить о втором смысле автопроектности.

Речь идет о том, что личность может рассматриваться как автопроект в смысле автоматичности этого проекта, когда личность, ее идентификация и идентичность становятся результатом, продуктом неких внешних «инвестиций», откликом на них, их отзвуком, эхолоалией. В этом случае сам человек выступает лишь как пассивный материал, формируемый окружением: родителями, близкими, коллегами, СМИ, политтехнологами. И не всегда это воздействие пассивно. Нередко сознательно строится определенный проект под реализацию чьей-то востребованности. Несть числа тому примеров из шоу-бизнеса, политики, семейного воспитания... Тогда получается, что единственным работающим критерием успешности такого личностного проекта является степень достигнутой известности и узнаваемости личности-бренда – как товара, продаваемого на рынках массового потребления, включая политический рынок. Впору говорить о персонологии товара, о маркетинге как не только технологии социального позиционирования личности, но и как жизненной стратегии и вообще – технологии современной жизни. Личность как товар, общество как рынок, жизнь как маркетинг?

Таким образом, обе трактовки автопроектности сходятся в главном. Будь проект сугубо инициативно-личностным или реализацией и воплощением чьей-то внешней воли, он может быть успешным, состоятельным или нет. С технологической точки зрения между этими двумя видами автопроектности личности существенной разницы нет. Так, автопроект самой личности может оказаться успешным только в случае его признания, востребованности другими. А наполнение личности ожиданиями других, эхололический автопроект прямо формирует идентичность. И в том и в другом случае автопроект оказывает ответом на желания, надежды, чаяния других. Как говорил мудрый В.Б. Шкловский, в истории остаемся не мы, а легенды о нас. И в том и в другом случае личность предстает как бренд. А в понимании автопроекта личности как бренда речь идет о конкретной технологии разработки и реализации такого проекта, включающей выбор жизненной стратегии, формирование, позиционирование и продвижение определенного имиджа и репутации [Леонтьев, 2007].

Это буквально применение маркетинговой технологии: формирование собственной востребованности, спроса на себя [Беквит Г., Беквит К., 2007; Питерс, 2012] – не только на рынке труда, но и в социальных отношениях, личной жизни, в быту. Более того,

срок жизни такого личностного проекта совпадает со сроком «жизни» товаров и соответствующих брендов – пять-семь лет. И это совпадает с наблюдениями не только специалистов по маркетингу, брендингу и PR, но и психологов. Причем подобный «культуральный возраст» никак не связывается с возрастом биологическим. Личностные бренды могут быть раскручены и в детстве, и в пожилом возрасте. Не только в литературе, других видах искусства, но и в политике, спорте, науке, обыденной жизни, во всех сферах деятельности личность все в большей степени предстает как проект и автопроект, позиционируемый и продвигаемый по всем правилам маркетинга и брендинга.

Осознанно это делается или стихийно – уже не важно. Мы имеем дело со сложившейся технологией реализации профессиональной и жизненной стратегий. Э. Уорхол, И. Глазунов, З. Церетели, Б. Акунин... Этот ряд можно продолжать и продолжать. И эти персонажи встанут в один ряд со звездами эстрады, спорта, популярными телеведущими. Ничто не мешает добавить в такой перечень политиков. И мы получим набор так называемых «публичных людей», образующих круг «светской тусовки», телевизионных ток- и просто шоу, а то и просто «лиц» товарных брендов – персонажей рекламы. И не так уж важно – кто является автором такого проекта: сама личность или какие-то имиджмейкеры, политтехнологи. Главное – отвечает ли позиционируемый проект чьим-то надеждам, чаяниям. Те же требования предъявляются к брендингу. В современном понимании бренд – это обещание желаемых переживаний, некая волшебная история о магическом артефакте, обладание которым открывает дверь в царство мечты [Тульчинский, 2013].

Речь идет о проявлении более общей тенденции формирования интегрального глобального культурно-информационного пространства в сочетании с его дифференциацией. И слухи об усреднении и унификации – сильно преувеличены. В условиях массового общества такая сегментация и дифференциация могут только нарастать и углубляться. Потому что только уникальное глобально. А что может быть уникальней и неповторимей человеческой личности, ее чаяний и фантазий, надежд и упований?! Единственного полноценного и безоговорочного бренда – «магического артефакта», открывающего дверь в царство собственной судьбы и одновременно – развития общества.

Роль паблисити

В информационном, проектно-сетевом социуме ведущим фактором позиционирования политического личностного автопроекта является паблисити (publicity) – известность и узнаваемость позиционируемого личностного бренда. Человеческий капитал личности политика, его личностные качества (знания, опыт, способности, внешность и т.д.) могут сработать только при наличии паблисити.

Политик может сам нарабатывать паблицитный капитал, присутствуя в медийном пространстве, участвуя в ярких событиях, организуя такие события, демонстрируя способности к эпатажу, поведению и коммуникации на грани скандала, а то и не брезгуя собственно стилистикой скандала в духе С. Берлускони или В. Жириновского. Не обязательно самому становиться ньюсмейкером, иногда достаточно оказываться в компании известных людей. Партии привлекают известных людей (крупных политиков-«тяжеловесов», деятелей культуры, искусства, спортсменов) в качестве «паровозов», возглавляющих партийные списки во время избирательных кампаний.

Сами партии в наше время – уже не столько выразители программных идей, идеологии определенных групп, сколько аппарат мобилизации электората вокруг ярких брендов лидеров.

Как представляется, именно недоучет особенностей современного позиционирования политических проектов отчетливо проявился в неожиданных результатах британского референдума по Brexit и в последних выборах президента США, ставших неожиданностью для респектабельного политологического сообщества. Ориентация на традиционное понимание кластеризации электората, нормативное понимание принадлежности к группам и на теорию рационального выбора серьезно подвели британского премьера и избирательный штаб Х. Клинтон. А на итоговых результатах сказались эмоциональный акцент и установка на выделенность – вплоть до шокирующего эпатажа, – в большей степени привлекающие голосующих.

Роль паблицитного капитала делает его отсутствие главным барьером для выхода личности на политическую арену (политический рынок), с одной стороны. А с другой стороны, наличие паблицитного капитала, даже при полном отсутствии политического опыта, открывает двери в политику артистам, спортсменам, шоуменам: Д. Трамп, Й. Гнапп, Н. Валуев, А. Карелин, В. Марычев,

С. Хоркина... – имя им легион. Тренер российской сборной по художественной гимнастике Е. Винер недавно жаловалась журналистам, что если раньше она готовила своим подопечным портфолио для модельного бизнеса, то теперь они все дружно хотят быть депутатами [Винер, 2008].

Особенно показательна ситуация с деятелями искусства, прежде всего – артистами (театра, эстрады, шоу, кино и т.п.). Искусство вообще является очень точным зеркалом динамики соотношения идентификации и идентичности. В этой сфере речь идет именно об утверждении уникального видения автора, исполнителя, артиста. Не случайно профессия, еще в начале XX столетия считавшаяся чуть не позорной, к концу того же столетия стала чрезвычайно популярной. Артист – «пустое место», постоянно наполняемое образами других людей, – в наше время по своей известности и привлекательности превосходит политиков. Более того, сами артисты стали пополнять ряды политиков: артист и шоумен – губернатор и президент Р. Рейган, культурист и артист – губернатор А. Шварценеггер, шоумен и клоун – мэр Й. Гнарр, артист-клоун – депутат В. Марычев, певец – депутат И. Кобзон, комик – губернатор М. Емельянов – тому примеры.

Речь идет не только о популярности. Современное искусство, включая и литературу, не столько транслирует и выражает социальную норму, эстетические образцы, сколько сознательно и целенаправленно бросает им вызов, испытывает их на «излом» и «скручивание». Акционизм Кулика, фильмы Ким Ки-Дука, некрореализм, литература В. Сорокина и тому подобные примеры – первые пришедшие на ум. В художественных дискурсах сознательно артикулируются идеи, которые недопустимы на «площадках» обыденной жизни. Искусство фактически стало легальной площадкой для нравственного эксперимента. Оно социализирует не за счет аккумуляции, инкорпорирования личности в тело культуры, а наоборот – выводит личность на границу культуры, к ее фронтиру, ее то ли переднему (верхнему), то ли заднему (нижнему) ее рубежу. Это, очевидно, позволяет заново перетряхивать плоский и дисперсный мир массового сознания. Искусство оказывается «фронтиром социализации», ее испытанием и тестированием в той же степени, что и испытанием возможностей тела, а главное – души. А это одно из главных условий привлечения внимания – способность выделиться из общего ряда, в том числе – за счет эпатажа. В этом плане особенно показателен пример Й. Гнарра, в шутку выставившего свою кандидатуру на пост мэра столицы Исландии – Рейкьявика от также

в шутку созданной им из своих приятелей «Лучшей партии». Во время избирательной кампании Гнарр сознательно эпатировал публику и журналистов своим поведением и заявлениями о том, что все политики врут и не выполняют свои обещания, поэтому он будет врать и обещать все что угодно. И – победил. И был успешным мэром [Рыбалкина, 2016].

Так позиционирование личностного проекта может стать началом политической мобилизации, что предполагает не только ответ на запрос определенных групп, но и работу по формированию новой идентичности сторонников, мобилизующей их на поддержку данного проекта.

Позиционирование: От выделенности к мобилизации

Действительно, не все личностные проекты способны «взять барьер» паблсити. Это, однако, не исключает действие фактора, стоящего у истока известности и узнаваемости, обеспечивающего привлечение внимания. Речь идет о выделенности из общего привычного фона информации. Это свойство, как известно, лежит в основе динамики смысообразования и осмысления, которые начинаются с того, что Платон и романтики называли «удивлением», В.Б. Шкловский – «остранением», Б. Брехт – «очуждением», Т. Кун – «способностью увидеть в новом свете». Фактически имеется в виду вырывание явления из его привычного обыденного контекста осмысления или просто предъявление чего-то необычного, цепляющего и привлекающего внимание. На этом построено многое: механизм моды, художественного, да и научного творчества, реклама.

Практика выделения (difference) используется и в политическом брендинге и маркетинге. В традиционной стандартной технологии эта практика используется на стадии продвижения политического бренда (идеи, партии, движения, лидера, региона, страны) за счет PR, рекламы, специальных событий. Этому предшествуют другие составляющие маркетингового комплекса: анализ рынка, определение целевых групп, понимание их проблем, анализ конкурентной среды, форматирование продукта, определение стратегии продвижения.

Однако в последнее время на первый план выходит нетрадиционный брендинг, активируемый за счет деятельности самих «адресатов», их фантазий. При этом важную роль играют автори-

тетные харизматики, большое значение имеют слухи, а главное – атмосфера нестандартности, эксклюзивности, принадлежности, сопричастности этой эксклюзивности, противостояние мейнстриму. Такой бренд является не столько обещанием и реализацией желаемых переживаний, сколько поводом для отношений, триггером, поддерживающим сообщество. Показательно, что в такой технологии «вовлечения в бренд» [Випперфют, 2007] ставка делается именно на исключительность – не только и не столько самого продукта, сколько его потребителей. Так, бренд Nike ориентируется на дворовых подростков Гарлема, а Dr. Martens – обувь, рассчитанная на почталыонов, – стала культовой у неформальных европейских подростков.

Технология эта сформировалась стихийно, как осмысление и обобщение практики маркетинга в обществе массового потребления, когда товары, услуги, формы досуга стали факторами культурогенеза, формирования новых, прежде всего – молодежных субкультур: байкеры, рейверы, реконструкторы, толкиенисты, скейтбордисты и т.д. Но со временем ситуация перевернулась – исходным импульсом стал не продукт, а активность самого некоего сообщества, создающего рынок, нуждающийся в формировании обслуживающей его инфраструктуры. Наверное, впервые это проявилось впервые с упоминавшимся Dr. Martens, когда неожиданная для самого производителя реакция рынка – возникновение совершенно нового потребителя – изменила стратегию компании. Почти одновременно и Harley Davidson объявила о том, что компания берет на себя ответственность за созданное ею «племя» байкеров.

Однако проработка технологии создания «племени-бренда» показала ее удивительную близость к технологии формирования сообществ типа религиозных сект и, как ни странно, политических движений. На первом этапе формируется причастность к тайне. Очерчивается граница «свои – чужие», декларируется противостояние «великому врагу». Коммуникация осуществляется «между своими» без особой огласки, за счет интенсивных внутренних контактов при ограничении внешних (утечки, слухи, специальные события).

На втором этапе осуществляется «инициация» («промывка мозгов») членов сообщества. Осуществляется таргетинг людей с проблемами, используется практика испытаний. Акцент в коммуникации делается на искренность, демонстративную заботу, избыточную поддержку (делать больше, чем обещано).

За этим следует этап создания параллельного социума и соответствующей идентичности. Члены группы изолируются от

прошлого. Используются специальные ритуалы, общие переживания. Внутри сообщества вводятся иерархия, ранги, кодексы, запреты, конкуренция. Коммуникация приобретает отчетливо кодовый характер для посвященных (лексика, жаргон). Обеспечивается постоянная занятость (не праздность) членов сообщества (клубы, акции, церемонии).

И наконец, на четвертом этапе происходит мобилизация («Все под знамена!»). На основе упрощенной смысловой картины мира формируется миссия сообщества, выдвигаются харизматичные лидеры. Могут инициироваться конфликтные специальные события в духе «Наших бьют!» для практического закрепления мобилизации.

Есть широкий спектр возможностей для дальнейшего развития. Это может быть институционализация такого сообщества: регистрация, открытие счета, т.е. приобретение статуса юридического лица. А может быть и его радикализация.

Успехи маркетинга, развитие средств коммуникации привели к тому, что наступило время нарастания разнообразия идентичностей... В политической (и не только) культуре, в динамике политических процессов все более важную роль играет феномен меньшинств – все более дробных идентичностей: политических, этнических, субкультурных и т.п. Л.Г. Ионин даже констатирует «восстание меньшинств» [Ионин, 2012] (очевидно, в пику знаменитому «Восстанию масс» Х. Ортеги-и-Гассета), а другую недавнюю работу посвятил презентациям («параду») меньшинств [Ионин, 2014]. Описанные им общие технологии презентаций и социального позиционирования даны «крупными мазками». Автором выделяются демонстрация, индоктринация, институционализация и радикализация. Нетрудно заметить совпадение с более подробно описанными выше этапами позиционирования «параллельных» социумов.

Такой процесс все большей дифференциации идентичностей имеет существенные политические последствия. Прежде всего – дробление, дивергенция политических сил. Иногда в этом дроблении видят причину ослабления современной власти, даже ее кризис [Мозес, 2016]. Однако представляется, что нарастание разнообразия идентичностей и дробление политических сил создают дополнительные возможности для политического маркетинга за счет кластеризации рынка. А использование технологии big data способно довести эту кластеризацию до точно-индивидуальной. В этой ситуации выигрывает тот, кто предлагает бренд надежды большинству (большому количеству) меньшинств.

Ergo

Представляется, что проведенный анализ показывает две тенденции в динамике политической идентичности. Во-первых, ее решающим фактором становится информационно-коммуникативная городская среда, в контексте которой сама личность превращается в позиционируемый проект. И во-вторых, происходит радикальное сближение социальной идентификации и идентичности как самоопределения личности.

Рассмотрение мотивационного механизма формирования сопричастности и мобилизации, включая политическую волю, возможностей и роли нравственной оценки автопроектов, к сожалению, выходит за ограниченные рамки данной работы, но теоретическая и практическая важность этой тематики определяет необходимость ее рассмотрения в дальнейшем.

Литература

- Арканникова М.С. Самозванчество как проявление кризиса легитимности власти в России: Автореф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. – СПб., 2005. – 25 с.
- Беквит Г., Беквит К.К. Сам себе бренд: Искусство продажи себя. – М.: Альпина Паблишер, 2007. – 224 с.
- Винер И. Я больше не «бумажная душа» // Спорт-Экспресс. – М., 2008. – 12 сентября. – Режим доступа: <http://www.sport-express.ru/rhythmic-gymnastics/news/248573/> (Дата посещения: 13.02.2017.)
- Випперфют А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию. – М.: ИД Коммерсантъ – ИД Питер, 2007. – 384 с.
- Гвардини Р. Конец Нового времени. Попытка найти свое место // Самосознание культуры и искусства XX века. – М.; СПб.: Университетская книга: Культурная инициатива, 2000. – С. 169–226.
- Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. – М.; СПб.: Университетская книга, 2012. – 237 с.
- Ионин Л.Г. Парад меньшинств. – М.; СПб.: ЦГИ: Гнозис, 2014. – 176 с.
- Леонтьев Д.А. Феномен свободы: от воли к автономии личности // Только уникальное глобально. Личность и менеджмент. Культура и образование. – СПб., 2007. – С. 64–89.
- Миненков Г.Я. Идентичность как предмет политического анализа // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семенов. – С. 18–23.
- Мозес Н. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. – М.: АСТ, 2016. – 512 с.
- Питерс Т.Дж. Преврати себя в бренд: 50 способов сделать из себя бренд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 240 с.

- Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семенов. – 208 с.; Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв. ред. И.С. Семенов. – 471 с.
- Пригов Д.А. Само-идентичность // Место печати: Журнал интерпретационного искусства. – М.: Obscuri viri, 2001. – № 13. – С. 10–32.
- Рыбалкина Л. Жизнь с улыбкой: почему мы обожаем комика и экс-мэра Рейкьявика Йона Гнарра. – 2016. – 5 декабря. – Режим доступа: <http://disgustingmen.com/lichnosti/jon-gnarr-my-spirit-animal> (Дата посещения: 25.12.2016.)
- Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В.А. Ядова. – Л.: Наука, 1979. – 264 с.
- Тульчинский Г.Л. Личность как успешный автопроект // От события к бытию. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – С. 49–63.
- Тульчинский Г.Л. Самозванство, массовая культура и новая антропология // Человек. – М., 2008. – № 1. – С. 43–57.
- Тульчинский Г.Л. Объяснение в политической науке: конструктивизм vs позитивизм // Публичная политика. – СПб., 2016. – № 1. – Архив автора.
- Тульчинский Г.Л. Total Branding: Мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре. – СПб.: СПбГУ, 2013. – 280 с.

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ВООБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦ

И.В. Самаркина*

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ «ДРУГОЙ» В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ¹

Аннотация. В статье представлены результаты исследования восприятия молодежью значимых геополитических образов как части дихотомических отношений «мы» – «другие» (на примере образа Европы). На основе обзора теоретических подходов обоснована концепция и представлена комплексная методика исследования геополитического «другого», в которой политика идентичности выделяется как значимый фактор.

Ключевые слова: «другой»; молодежь; Европа; политика идентичности.

I.V. Samarkina

**The foreign «other» in the context of the identity policy:
Theoretical aspects and the experience of empirical study**

Abstracts. The article presents the results of the study of youth perception of meaningful geopolitical images as part of the dichotomous relationship «we» – «the other» (the example of Europe's image). Based on a review of theoretical approaches grounded concept and presents a complex research technique of the geopolitical «other» in which identity politics distinguishes as a significant factor.

Keywords: «another»; youth; Europe; identity politics.

* Самаркина Ирина Владимировна, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета (Краснодар), e-mail: smrkn@mail.ru

Samarkina Irina, Kuban State University (Krasnodar, Russia), e-mail: smrkn@mail.ru

¹В статье представлены итоги первого этапа реализации международного проекта «Восприятие Европы в молодежной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана)» (грант РГНФ № 16-23-20001). Представлены эмпирические данные российской части исследования.

Вопрос о том, кто такие «мы», всегда влечет за собой целую цепочку размышлений. Чем «мы» отличаемся от «других»? Чем «мы» похожи на «других»? Иными словами, вопрос формирования собственной идентичности прямо связан с осмыслением связей и взаимодействий в этом сложном мире, с «пристраиванием» и «отстраиванием» «нас» от «других». Изучение роли и функций «другого» как компонента собственной идентичности и образа, который является играет не последнюю роль в национальной политике идентичности, сегодня следует рассматривать как важную научную и практическую задачу. Нынешнее становление и изменение российской макрополитической идентичности происходит в сложных внутривнутриполитических и внешнеполитических реалиях, которые наполняют субъективное пространство российской политики целой палитрой «других»: «друзей» и «врагов». Наше исследование образа внешнеполитического «другого» опирается на собственные эмпирические данные и обзор исследований других авторов, в фокусе которых находится Европа, играющая роль значимого «другого» в российском общественном сознании и общественно-политическом дискурсе.

Исследования «другого» носят междисциплинарный характер. Предпосылки, отдельные теоретические аспекты и некоторые методики исследования «другого» складывались в разных областях социально-гуманитарного знания. Теоретические конструкты и инструментарий для изучения образов в массовом сознании созданы в системе социологического знания. В социальной психологии исследуются функциональное наполнение образов, их влияние на формирование других компонентов субъективного пространства личности. В рамках методологии конструктивизма были описаны разные функции образа «другого» («другой / иной» и «другой / чужой») в моделях (толерантной и интолерантной) национальной идентичности. В современных политико-психологических исследованиях образы стран рассматриваются как часть политической картины мира в восприятии граждан, влияющей на формирование национальной идентичности. Социальные медиа и эффекты их воздействия на представления и поведенческие установки исследуются в рамках сетевого подхода в политической науке. Таким образом, современное состояние политической науки дает возможность создания (на основе междисциплинарного подхода) объяснительной модели, раскрывающей факторы формирования, содержание образа «другого» и его роль в политике идентичности.

Теоретическая модель и методика исследования

Общая теоретическая канва исследований образа «другого» в субъективном пространстве политики представлена политико-философской традицией феноменологии (Х. Арендт, А. Шюц, Э. Гуссерль) и конструктивизма (П. Бергер и Т. Лукман).

В определении функций «другого» как компонента субъективного пространства личности важную роль играют психологические и социально-психологические концепции идентичности: персоналистская трактовка «другого» Дж.Г. Мида [Мид, 1994] как значимого образа в структуре личностной идентичности; функциональная трактовка роли «другого» С. Жижека [Жижек, 1999]; трактовка «другого» как «чужого» Э. Эриксоном [Эриксон, 2006] в исследованиях юношеской идентичности.

Интерпретация разнообразных функций «другого» в пространстве политики представлена К. Шмиттом [Шмитт, 1992], определявшим *политическое* через понятия *друга* и *врага*.

Дискурсивный подход рассматривает «другого» как часть широкого политического дискурса. В этом дискурсе оппозиции «друг – враг», «свой – чужой» являются определяющими. Функции значимых образов политической картины мира можно описать, используя функциональную модель политической коммуникации: Я-образ играет роль интегрирующего основания для формирования идентичности; образ «друга», значимого, референтного «другого» играет роль интегратора; образ «врага», «другого как чужого» отражает агональность, позволяет «отстроить» «других» от «своих» [Шейгал, 2006, с. 319].

О «своих» и «чужих» в политическом дискурсе пишет также Т.А. ван Дейк [Дейк, 2013, с. 133]. Ш. Муфф дифференцирует «других» на основе понятий антагонизма и агонизма, врагов и соперников [Муфф, 2004, с. 194]. Таким образом, в политическом дискурсе существуют «другие – не-свои» (соперники) и «другие – чужие» (враги). Ф. Феррари подчеркивает, что основная оппозиция политического дискурса содержит поле «свои», которое ассоциируется с уверенностью, и поле «чужие», которое ассоциируется со страхом [Ferrary, 2007]. О.С. Иссерс видит причины возникновения оппозиции «свой круг» и «чужие» в давней социокультурной традиции деления общества на «своих» и «чужих» [Иссерс, 2008].

Политический дискурс как сферу столкновения «своих» и «чужих» с использованием лингвистического анализа исследуют В.Е. Чернявская и Е.Н. Молодыхенко. В частности, они выявляют

механизмы моделирования образа врага в дискурсе глобального антагонизма «США и чужие», а также рассматривают политический дискурс как сферу столкновения конкурирующих интерпретаций истории [Чернявская, Молодыхенко, 2014].

Таким образом, мы можем дифференцировать позицию «другого» в субъективном пространстве политики по шкале: «другой – референтный свой» (соратник); «другой – не-свой» (соперник); «другой – чужой» (враг). Кроме того, место «другого» в пространстве политики определяет его роль в процессах формирования идентичности. Образ «другого» в политической картине мира может быть наполнен разным содержанием: это может быть внутриполитический «другой» (если речь идет о политической идентичности), а также внешнеполитический (геополитический) «другой», если речь идет о национально-государственной идентичности и идентификации себя с макрополитическим сообществом. И в том и в другом случае речь идет о целенаправленном использовании специальных технологий, о которых говорит О.В. Попова [Попова, 2012], определяя образ «другого» как значимый компонент политики идентичности.

Следует отметить, что изучение процессов и результатов восприятия других стран является распространенным сюжетом современных социально-политических и политико-психологических исследований. Мы проанализировали современные эмпирические исследования интересующего нас образа – образа Европы – собственно европейскими учеными и представителями социально-политического знания ближнего зарубежья [см. Евтушенко, Сазантович, Самаркина, 2016 а; 2016 б]. Предметным полем зарубежных исследований образа Европы являются проблемы формирования европейской идентичности и внешнего имиджа Европы [см.: Lucarelli, 2013; Torney, 2014]. Европейские авторы ищут ответы на вопросы: кто «мы» такие? Как Европу воспринимают европейцы? И какими «нас» видят другие? В работах, посвященных социокультурным процессам в самой Европе, мы выделили несколько проблемных полей: изучение различных аспектов содержания образа Европы, в том числе визуальных [см.: Mason, 2012; Kask, 2013] и географических параметров ее образа; исследование восприятия Европы в дихотомии «мы – они»; анализ внешнего имиджа Европы [см.: Portela, 2010; Images of the EU, 2013; Elgstrom, 2007]; изучение образа Европы как части идентичности; исследование «своих» и «других» для европейских элит, в том числе взаимоотношений с Россией [Dias, 2013].

В работах авторов из ближнего зарубежья акценты иные. В первую очередь в них идет поиск ответов на вопросы: что у нас общего и чем «мы» отличаемся от Европы? Каково будущее наших (с Европой) двусторонних отношений? Эти исследования много говорят о национально-государственных идентичностях постсоветских стран, общей чертой которых является обязательное присутствие образа России. Можно говорить о существовании «треугольника восприятия», когда собственная идентичность рефлексивируется в контексте двух значимых «других»: Европы и России.

О наличии такого «треугольника восприятия» говорят исследования отношений Европейского союза и Азербайджана в контексте существующих интересов двух сторон [см.: Merabishvili, 2015]; изучение восприятия Европейского союза в Абхазии в контексте грузино-абхазского конфликта [см.: Кварцелия, 2011]; исследование влияния внешне- и внутривосточного контекста на восприятие Европы в Грузии [см.: Элбакидзе, Перцалава, 2012]; изучение восприятия Европы в странах-партнерах Европейского соседства на примере Армении [см.: Надежный и сильный, как медведь, 2010]. Как нам кажется, наиболее ярким примером такого подхода служат исследования общественного сознания в Молдове [см.: Korosteleva, 2014] и Беларуси [см.: Korosteleva, 2013].

Усилия, которые предпринимает Евросоюз для реализации политики европейской идентичности в бывших советских республиках [см.: Kimber, Halliste, 2015], говорят о том, что на постсоветском пространстве разворачивается реальная битва за идентичность.

В отечественных и кросс-культурных исследованиях наиболее актуальной темой в последнее время становятся исследования «Запада». В частности, исследования Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) совместно с Лотмановским институтом Рурского университета в Бохуме подтвердили, что «миф о Западе» включает в себя ряд взаимосвязанных конструкций (например, демонизация и идеализация), периодически актуализирующихся и вытесняющих противоположные версии на периферию сознания. Функции этого мифа исследователями определяются как самоопределение и ориентация, с одной стороны, и оборона и разграничение с внешним миром – с другой. Отталкиваясь от того, *что* «мы» думаем и *как* «мы» думаем о Западе, можно многое понять о состоянии общества и структуре восприятия самих себя [«Запад как враг», 2014, с. 9]. С. Сергеев отмечает, что миф «Запад как враг» постоянно с той или иной интенсивностью присутствует в русской

общественно-политической мысли XIX и XX вв., а также в постсоветской России [Сергеев, 2014, с. 22–23].

Т. Филиппова, анализируя мифологему «Враг с Запада», подчеркивает, что отношение к «Западу» оказывается каждый раз одним из важнейших идентификационных факторов. Этот образ выступает значимым при построении обновленной системы духовных ценностей, моральных норм, оценочных категорий, самой стилистики российской политической культуры [Филиппова, 2014, с. 50].

А. Люсый подчеркивает, что поиск русской и российской идентичности неразрывно сплетен с проблемой «Россия и Запад», поскольку именно Запад был в новое время тем «значимым другим», противостояние и диалог с которым играли и продолжают играть важную роль в определении национальной идентичности, поиске направления и содержания развития страны [Люсый, 2014, с. 55]. Он же исследует проблему переноса негативного образа России на постсоветское пространство. Фактически А. Люсый говорит о роли России как «другого» на постсоветском пространстве. Любой возникающий национализм должен быть направлен против какого-то внешнего врага («негативного интегратора»), который используется для объединения, интеграции новой нации. Практически для всех стран постсоветского пространства в той или иной степени объектом такой «интеграции против» является Россия как бывший имперский центр [Люсый, 2014, с. 62].

В восприятии Запада в постсоветской России наблюдается динамика, обусловленная внутри- и внешнеполитическими факторами. В 1998 г. 50–51% россиян в культурном отношении отождествляли себя со странами Запада – США, Францией, Германией. Объясняя этот феномен, специалисты Института социологии РАН подчеркивали: «Определившись со своими целями и интересами и более отчетливо осознав собственную самостоятельность, российское общество просто утратило психологическую потребность в... “надрывном” антизападничестве» [Российская идентичность... 2007, с. 104, 106].

Страны Европы остаются для современной России важнейшим объектом сопоставления с отечественными реалиями. Несмотря на периодическое охлаждение отношений, культурный диалог с Европой не прекращается и остается значимым для россиян. В 2007 г. в представлениях россиян Европа ассоциировалась с такими понятиями, как «цивилизация» (80,1%), «культура» (52,9%), «права человека» (79,3%). В 2015 г., несмотря на осложнение геополитической ситуации и рост критических настроений в общественном сознании в отношении Запада, 36% жителей России

хотели бы в будущем видеть страну «такой, как развитые страны Запада» [Две трети россиян... 2015].

Следует отметить, что представления о Европе как «другом» в массовом сознании амбивалентны. В них присутствуют как негативные, так и позитивные черты. Причем как правило культура является пространством объединения, а политика и идеология – факторами разъединяющими. Особое место в образе Европы как «другого» занимают исторические сюжеты взаимодействия с отдельными европейскими странами. Речь идет о польском вопросе, отношениях с Чехословакией, Германией, Румынией и др. [Восприятие Европейских стран, 2016, с. 11–12].

Восприятие геополитических образов обусловлено групповыми и индивидуальными особенностями субъекта восприятия. Этот факт следует учитывать, когда речь идет о восприятии Европы в молодежной среде. Например, при высоком интересе к проблемам российско-украинских отношений единственной группой, у которой нет такого интереса к Украине, является молодежь, которая не жила в СССР [Ушкова, 2016, с. 16].

Теоретический подход к исследованию восприятия Европы основан на модели социальной перцепции и отражает особенности восприятия геополитического образа и его функции в процессе формирования национально-государственной идентичности. Образ выступает результатом процесса социальной перцепции, происходящего под влиянием системы факторов. Восприятие геополитические объектов (образа Европы), с одной стороны, подчинено общим закономерностям социальной перцепции, с другой – имеет особенности, обусловленные самим содержанием данного образа как части субъективного пространства политики. Во-первых, по сравнению со многими другими представлениями человека геополитический образ имеет сложную структуру, в которой отражается не только нынешнее состояние объекта восприятия (что такое Европа?), но и целая система факторов, влияющих на этот образ (например, история Европы или выдающиеся деятели культуры). Во-вторых, на процесс и результат восприятия геополитических образов большое влияние оказывают социокультурный, экономический и политический контекст. В-третьих, важным фактором формирования геополитического образа становятся коммуникативные аспекты восприятия, т.е. вовлеченность субъекта в процессы социальной коммуникации, влияние средств массовой информации и имеющийся опыт непосредственного познания Европы и общения с европейцами.

Следует также учитывать особенности восприятия политических объектов: направленность восприятия на смысловые и оценочные интерпретации политических объектов; слитность когнитивных и эмоциональных компонентов перцепции; опосредованность процесса восприятия средствами массовой информации; влияние на процесс восприятия стереотипов массового сознания [Психология политического восприятия, 2012, с. 15].

Результаты исследования: Содержание образа Европы

В данной статье представлены результаты первого пилотного этапа исследования содержательных и эмоциональных аспектов образа Европы в политической картине мира молодежи на основе комплексной методики, включающей фокус-групповую дискуссию (проведено три пилотные фокус-группы в сентябре – ноябре 2016 г.) с участием студенческой молодежи¹, а также ряд проективных методик с участниками фокус-групп (проективный рисунок «Россия – Европа»; методика семантического дифференциала «Россия – Европа»; методика шкалирования «Россия – Европа»). Инструментарий для проективных методик проходил апробацию сначала за рамками фокус-групп, затем – на фокус-группах. С учетом всего имеющегося в распоряжении массива количество единиц анализа по каждой проективной методике составляет 102 единицы (все респонденты – студенты очной формы обучения).

Результаты эмпирического исследования на основе методики проективного рисунка «Россия – Европа» позволяют нам описать содержательные компоненты образа Европы в сознании студенческой молодежи. В целом содержательная палитра образа весьма широка, хотя образ собственной страны (что вполне закономерно) молодежь отражает на рисунках гораздо детальнее.

Нами выявлены следующие содержательные компоненты образа Европы:

– *географические* параметры Европы респонденты отражают, рисуя схематическую карту Европы как целостного образова-

¹ На пилотном этапе фокус-группы проводились со студентами гуманитарных направлений подготовки Кубанского государственного университета, более половины участников – жители других регионов РФ.

ния или разделенного на отдельные страны (чаще всего изображают Францию, Испанию, Великобританию, Италию);

– важной частью образа Европы является политическая *символика*: флаг и символы Европейского союза, евро или флаги отдельных европейских стран; интересно, что не единичными являются также изображения американской символики (флага, доллара, Дяди Сэма);

– *персонификация* образа Европы проявляется в изображениях политиков (Наполеона, Елизаветы II, Ангелы Меркель, Гитлера, папы Римского), персон, отражающих европейскую культуру (Шерлок Холмс, Чарли Чаплин, Битлз), символических персон (испанская женщина, свобода на баррикадах). Наиболее популярной персоной на рисунках является Кончита Вурст. Интересно, что в нескольких рисунках Европа представлена портретами Барака Обамы;

– *язык*, с которым у респондентов ассоциируется Европа, – английский, хотя на рисунках присутствуют надписи и на других языках (немецкий, французский, испанский, итальянский);

– *политический* компонент образа Европы в сознании молодежи представлена изображениями государственной символики, символами монархии (короны), НАТО и Берлинской стены;

– *культурная* составляющая проиллюстрирована на рисунках наиболее известными архитектурными памятниками (Колизей, Эйфелева башня, Пизанская башня, Биг Бен), произведениями живописи (Мона Лиза), музыки (опера, Битлз);

– частью образа Европы является богатая *история*. Свои ассоциации с Европой респонденты представляют рисунками викингов, рыцарей, упоминают Отечественную войну 1812 г. (Наполеон), комментируют, что в Европе начались мировые войны;

– *традиции образования* являются важной частью представлений о Европе. На рисунках эта часть образа представлена университетами, книгами и библиотеками;

– *европейские ценности* как важную составляющую образа Европы респонденты изображают в рисунках или описывают в комментариях к ним. Наиболее часто упоминаются свобода и толерантность в самом широком смысле этих понятий. В связи с этим самые распространенные сюжеты, символы и персоны связаны со свободой сексуальных меньшинств, легализацией однополых браков, символикой ЛГБТ сообщества;

– важными составляющими образа Европы являются *изобилие, достаток и покой*. Картина материального благополучия Европы респондентами рисуется достаточно детально: изобилие продук-

тов (сыры, вино, пиво, пицца), одежды (представлены названия европейских брендов), автомобилей и др. Наряду с национальными символами традиций потребления (французские духи, итальянская пицца, немецкие пивные фестивали) часто образ Европы включает глобальные: гамбургеры, Кока-Кола, Starbucks и др.;

– *экологический* компонент образа представлена противоречиво: с одной стороны, в рисунках подчеркиваются перенаселенность и урбанистический характер Европы (в сравнении с Россией), а с другой – присутствуют изображения, представляющие экологические технологии и научно-технический прогресс (ветряные мельницы, баки для раздельного сбора мусора, евроэкспресс);

– неожиданной для нас частью образа Европы в представлениях молодежи стал *спорт*, а именно европейский футбол (футбольный мяч, стадионы, футболисты);

– неотъемлемой частью образа Европы, представленного на рисунках, являются европейские *проблемы*: беженцы, санкции, террористические акты (бомбы), газовая зависимость от России.

Эмоциональная окраска образа представлена на рисунках всей шкалой эмоциональных оценок, от негативных до позитивных.

Сопоставление содержания образа собственной страны (России) и образа Европы позволило выделить линии противопоставления и неконгруэнтности: единство – раздробленность; сплоченность – индивидуализм; независимость (сила) – зависимость (под сапогом США); гомофобия – гомофилия; несвобода – свобода; экстенсивное – интенсивное развитие; натуральное – суррогатное; бедность – богатство; беспорядок – порядок; богатство неиспользованных ресурсов – прагматичное использование всего, что имеется; Крым – Украина; «мы» – «они» (другие); сила – отсутствие силы. Вместе с тем обнаружены несколько линий конгруэнтности образов: богатая история и культура; наличие проблемы (у нас – бедность, у них – беженцы). Очевидно, что линий несовпадения гораздо больше. Они охватывают практически все аспекты восприятия одного из ключевых образов политической картины мира, который оказывает существенное влияние на образ собственной страны и его эмоциональную окраску.

«Свой» и «другой»: Дифференциация образов России и Европы

Использование шкалы семантического дифференциала позволило нам выявить эмоционально-оценочные дифференциации образов Европы и России в сознании студенческой молодежи. Для этого мы сначала использовали традиционную шкалу (оценка пар противоположных суждений относительно Европы, а затем тех же суждений относительно России по шкале от -3 до 3 ; сумма рангов с учетом знака), которая выявила наибольший разброс по парам слабый / сильный, маленький / большой и свой / чужой с абсолютным доминированием положительных значений характеристик России (сильная, большая, своя). При этом абсолютный максимум мы зафиксировали в последней паре: «свой» (Россия + 139) / «чужой» (Европа – 40) (см. табл. 1).

Таблица 1

Эмоционально-оценочные дифференциации образов Европы и России: семантический дифференциал.

Базовая часть

№	Шкала дифференциала		Европа	Россия
1	Плохой	Хороший	70	92
2	Неприятный	Приятный	79	91
3	<i>Слабый</i>	<i>Сильный</i>	36	120
4	<i>Маленький</i>	<i>Большой</i>	36	149
5	Медленный	Быстрый	59	61
6	Пассивный	Активный	62	69
7	Чужой	Свой	–40	133

Во второй части таблицы участникам исследования были предложены суждения, связанные с социально-политическими характеристиками России и Европы. Результаты представлены в табл. 2. В дифференцирующей части мы наблюдаем противоположную картину. Значительная часть параметров, характеризующих Россию, имеют минимальные значения, а характеризующие Европу – максимальные: люди больные / люди здоровые (Европа +57 / Россия +10); социально-экономическое положение: нестабильное / социально-экономическое положение: стабильное (Ев-

ропа +63 / Россия –42); власть авторитарная / власть демократическая (Европа +72 / Россия +4); политика для политиков / политика для людей (Европа +30 / Россия –29). Максимальные положительные оценки для России и, соответственно, минимальные – для Европы касаются расовых и этнических маркеров (люди белые / люди цветные), маркеров, характеризующих единство социального и политического пространства (пространство фрагментированное / пространство единое), и маркеров духовно-конфессиональной сферы (светская / религиозная).

Таблица 2

**Эмоционально-оценочные дифференциации образов
Европы и России: Семантический дифференциал.
Дифференцирующая часть**

№	Шкала дифференциала		Европа	Россия
8	Люди злые	Люди добрые	58	47
9	Люди больные	Люди здоровые	57	10
10	Люди цветные	Люди белые	7	91
11	Социальное самочувствие: пессимизм	Социальное самочувствие: оптимизм	60	16
12	Социально-экономическое положение: нестабильное	Социально-экономическое положение: стабильное	63	–42
13	Природа загрязненная	Природа чистая	72	35
14	Власть авторитарная	Власть демократическая	72	4
15	Общество не свободное	Общество свободное	61	19
16	Политика для политиков	Политика для людей	30	–29
17	Пространство фрагментированное	Пространство единое	27	82
18	Отношение к другим: нетерпимое	Отношение к другим: терпимое	45	32
19	Светская	Религиозная	5	63

Таким образом, студенческая молодежь на базовом (можно сказать бессознательном уровне) воспринимает Европу однозначно как «другого» и «чужого». Вместе с тем сравнение дифферен-

цирующих социально-политических маркеров показывает, что образ собственной страны оценивается более критично, чем образ Европы. Объяснение этому феномену мы попытались найти в ходе фокус-групповой дискуссии.

Насколько, по общему восприятию участников исследования, близки или далеки Европа и Россия? Ответ на этот вопрос мы получили, используя методику шкалирования. Участники исследования получили задание расположить геополитические объекты¹ на трех орбитах относительно России.

В зависимости от того, на какой орбите участник располагал указанные объекты, им присваивался ранг от 1 до 3 (1 – самые близкие к России; 3 – самые дальние). В таблице 3 приведены средние арифметические ранговые результаты.

Таблица 3

Проективная методика «Орбиты»: Шкалирование

№	Геополитические объекты	Ранг
1	Армения	1,3
2	Китай	1,4
3	Прибалтика	1,7
4	Европа	1,8
5	Турция	1,8
6	Германия	2,05
7	Украина	2,1
8	США	2,6

Таким образом, участники исследования четко дистанцировали Россию от США, которые оказались на самой дальней орбите; Армения и Китай определены как наиболее близкие к России, а Европа оказалась на второй орбите, в середине. Показательно также место Германии, которая, судя по комментариям участников фокус-групп, выступает для них политическим лицом Европы.

Образ внешнеполитического «другого», являясь одним из результатов политики идентичности, помогает ответить на актуальные

¹ В задании был дан перечень стран: Европа, США, Китай, Армения, Турция, страны Прибалтики, Украина, Германия. Другие страны Европы и мира можно было добавлять по своему усмотрению.

вопросы этой политики: кто и какие «мы»? Кто и какие «другие»? Прочно зафиксированные образы своей страны нашли отражение в рисунках и комментариях участников фокус-групп: простор, масштаб, размах страны, сила и мощь. Комментарии о «других»: «странные и какие-то злые люди», «внешнее доброжелательные, но чужие», «мы точно из разного теста». Чаше всего для аргументации этой позиции участники фокус-групп называли «европейскую толерантность» к сексуальным меньшинствам: *«Европа – это, конечно, культурные достопримечательности, которые привлекают, и проявления не самые положительные, так сказать, их сексуальная вседозволенность, “толерантность”, которые отталкивают...»*. Образ Европы более консолидирован или даже стереотипизирован, чем образ России: *«Больше похожих черт, наверное, будет про Европу... Почему? Наверное, что мы думаем про Европу – это желаемое; а то, что мы рисуем или говорим про Россию, – это действительное»*.

Основным отличием Европы и России, главным ответом на вопрос о «других» является ментальность: *«Если в голове у них не Европа, значит, и они не Европа...»* (в споре о том, является ли европейская часть России – до Уральских гор – Европой). По этому же принципу к Европе не отнесли Турцию и Украину, а также отметили, что *«Кавказские страны, несмотря на то что они тянутся к Европе, все равно ментально ближе к России»*. При этом были и такие комментарии: *«Не стоит воспринимать Европу как одну большую страну. Сколько там стран, столько и менталитетов»*. На основании дискуссий можно также сказать, что, например, Франция – представляет культурное лицо Европы; Германия – политическое; страны Северной Европы – социальное; страны Восточной Европы – *«примкнувшая и даже еще не совсем Европа»*.

Участники фокус-групп фиксируют динамику изменения образа Европы в России и справедливо связывают это с проводимой политикой идентичности, основным институтом которой являются СМИ: *«Просто Европа для нас было что-то очень высокое, недостижимое, об этом постоянно говорили в новостях. Европа – хорошая; а в России – все плохо. И мы привыкли, что Россия – плохая. Только теперь все наконец увидели, что Россия встает с колен и становится великой державой!»* Эта функция СМИ универсальна и в Европе, и в России: *«В Италии в новостях Россию показывают как ужасную страну. Девочка у меня жила из Италии, у нее папа обожает Путина и Россию. Так вот, он специально ищет в Интернете и общается с русскими, потому что*

не верит новостям о России... Ну это логично: в Европе про Россию говорят одно; а у нас наоборот – так сейчас говорят о Европе». Главным источником информации, формирующим представление о Европе, участники фокус-групп считают телевидение (новости): «По телевидению новости более серьезно воспринимаются, чем новости из Интернета». На основании анализа фокус-групп можно сделать вывод о том, что медийный дискурс, являясь частью политики идентичности, гораздо большее влияние оказывает на восприятие молодежью Европы как «другого», чем, например, социальные сети.

На фокус-группах мы также зафиксировали мнения участников о поколенческих отличиях в восприятии Европы, которые связаны с жизненным опытом, встраиваются в общий социально-политический дискурс периода активной социализации. Например, восприятие Европы самым старшим поколением до сих пор носит отпечаток Великой Отечественной войны: *«Моя бабушка говорит, что нечего там (в Европе) делать, нечего туда ехать. Там все гниет... У нее представление такое, что в Германии, например, до сих пор почти что фашисты. Не буквально, конечно, но отношение именно такое...»*. Среднее поколение (родители участников фокус-групп) чаще воспринимают Европу как место отдыха, со всеми соответствующими содержательными и эмоциональными оценками: *«Мои родители часто бывают в Европе на отдыхе. У них, наверное, отношение к Европе даже лучше, чем у меня. Я там училась, и у меня более полное представление о Европе. Родители, например, хотят, чтобы я продолжала там учиться и уехала туда работать. А я хочу учиться и жить здесь»*. *«Мой опыт и опыт моих друзей показал, что это место, где все хорошо. Особенно пока ты турист. Но! Если ты захочешь устроиться на работу, то увидишь, что сначала они будут брать своих, потом арабов, потому что они им исторически должны, и только потом, может быть, дойдет очередь до тебя»*.

Образ Европы в политической картине мира молодежи выполняет функцию «другого», с помощью которого отстраивается российская макрополитическая идентичность. Наши эмпирические данные (по крайней мере, отражающие ситуацию 2016 г.) позволяют сделать вывод о том, что в политической картине мира молодежи образ Европы является значимым объектом для сравнения и сопоставления, имеет сложное и противоречивое содержание. Проективные методики (считывающие иррациональные аспекты восприятия) фиксируют дрейф образа Европы от «другой» («не-своей») к «другой» («чужой»). Рациональные оценки фиксируют образ Европы в роли «дру-

гой» («не-своей»). Специально предпринимаемые субъектом политики усилия по конструированию собственной макрополитической идентичности касаются и образов «другого». Именно через медийный дискурс субъект политики может управлять образами «другого» и включать так называемую реципрокную модель идентичности, описывающую соотношение и динамику образов «мы» и «другие» как «чем хуже “другие”, тем лучше “мы”». Использование такой модели эффективно, но в долгосрочной перспективе может привести к формированию негативной идентичности. Образ внешнеполитического «другого» в контексте российской политики идентичности нуждается в дальнейших исследованиях.

Литература

- Восприятие Европейских стран в России // Актуальные проблемы Европы / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 2. – С. 11–12.
- Две трети россиян назвали Россию великой державой // Интерфакс. – М., 2015. – 30 ноября. – Режим доступа: <http://www.interfax.ru/russia/482273> (Дата посещения: 30.08.2016.)
- Дейк Т.А., ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. – М.: Книжный дом «Либроком», 2013. – 344 с.
- Евтушенко А.С., Сазантович А.Б., Самаркина И.В. Европа в восприятии соседей: проблемы, методики и результаты современных зарубежных исследований // Человек. Сообщество. Управление. – Краснодар, 2016 а. – Т. 17, № 4. – С. 45–61.
- Евтушенко А.С., Сазантович А.Б., Самаркина И.В. Современные зарубежные исследования восприятия Европы: проблемы, методики, результаты // Среднерусский вестник общественных наук. – Орел, 2016 б. – Т. 11, № 6. – С. 143–154.
- Жижек С. Возвышенный объект идеологии / Пер. с англ. – М.: Художественный журнал, 1999. – С. 45–65. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/jjiek-vozv_o_ideologii-81.pdf (Дата посещения: 15.08.2016.)
- Запад как враг: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы семинара 22 октября 2014 г. / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 128 с.
- Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – Изд. 5-е. – М.: Книжный дом «Либриком»: URSS, 2008. – 288 с.
- Кварчелия Л. Восприятие ЕС в Абхазии и перспективы для сотрудничества: Аналитический доклад Центра гуманитарных программ. – Сухум, 2011. – Режим доступа <http://mfaarsnyu.org/information/?ID=885> (Дата посещения: 21.09.2016.)
- Люсьи́й А. Не сотвори себе Запада // «Запад как враг»: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы семинара 22 октября 2014 г. / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2014. – С. 51–64.
- Мид Дж. Яз и Я // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренкова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 227–237.

- Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. – М., 2004. – № 2(42). – С. 180–197.
- Надежный и сильный, как медведь. – Ереван, 2010. – Режим доступа: <http://www. Iragir.am/index/rus/0/society/view/16783> (Дата посещения 17.09.2016.)
- Попова О.В. Образ «другого» // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 190–193.
- Психология политического восприятия в современной России / Под ред. Е.Б. Шестоपाल. – М.: РОССПЭН, 2012. – 423 с.
- Российская идентичность в социологическом измерении: Аналитический доклад. – М.: ИС РАН, 2007. – 140 с.
- Сергеев С. «Запад как враг» в русской общественно-политической мысли: от преддверия Крымской войны до «лихих девяностых» // «Запад как враг»: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы семинара 22 октября 2014 г. / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2014. – С. 12–23.
- Ушкова Е.Л. Отношение российского общества к Украине (реферативный обзор) // Актуальные проблемы Европы / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 2. – С. 15–30.
- Филиппова Т. «Враг с Запада» – мифологема в контексте исторических и культурных смыслов // «Запад как враг»: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы семинара 22 октября 2014 г. / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2014. – С. 23–37.
- Чернявская В.Е., Молодыхенко Е.Н. История в дискурсе политики: лингвистический анализ «своих» и «чужих». – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 200 с.
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: монография / Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2000. – 368 с.
- Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. – М., 1992. – № 1. – С. 37–67.
- Элбакидзе М., Перцалава Э. Восприятие ЕС в трансформации конфликта в Грузии. – Тбилиси, 2012. – Режим доступа http://www.c-r.org/downloads/PPP_2012_analysis2_RUS.pdf (Дата посещения 28.09.2016.)
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. – 352 с.
- Dias V.A. The EU and Russia: Competing discourses, practices and interests in the shared neighborhood // Perspectives on European politics and society. – Abingdon, UK, 2013. – Vol. 14, N 2. – P. 256–271.
- Elgstrom O. Outsiders' Perceptions of The European Union in international trade negotiations // Journal of common market studies. – Oxford, 2007. – Vol. 45, N 4. – P. 949–967.
- Ferrary F. Metafor at work in the analysis of political discourse: investigating a «preventive war» persuasion strategy // Discourse and society. – Los Angeles, Ca., 2007. – Vol. 18, N 5. – P. 603–625.
- Images of the EU beyond its borders: Issue-specific and regional perceptions of European Union power and leadership / Chaban N., Elgstrom O., Kelly S., Yi L. // Journal of common market studies. – Oxford, 2013. – Vol. 51, N 3. – P. 433–451.

- Kask K., Hannust T. Does a dozen years change a thing? Estonian children's drawings of Europe in 2000 and 2012 // *Trames: Journal of the humanities and social sciences*. – Tallinn, 2013. – Vol. 17, N 3. – P. 301–312.
- Kimber A., Halliste E. EU-related communication in eastern partnership countries // *The eastern partnership review*. – Tallinn, 2015. – N 22. – Mode of access: <http://eceap.eu/wp-content/uploads/2015/05/EPR-22-final.pdf> (Accessed: 12.10.2016.)
- Korosteleva E.A. Belarus and eastern partnership: A national values survey. – The UK's European University, 2013. – Mode of access: <https://www.kent.ac.uk/politics/gec/research/documents/gec-belarus-survey-brief-2013.pdf> (Accessed: 12.10.2016.)
- Korosteleva E.A. Moldova's focus groups «Widening a European dialogue in Moldova». – Kent, 2014. – Mode of access: <https://www.kent.ac.uk/politics/gec/research/documents/gec-moldova-focus-groups-brief-may-2014.pdf> (Accessed: 12.10.2016.)
- Korosteleva E.A. Moldova's values survey: Widening a European dialogue in Moldova. – Kent, 2014. – Mode of access: <https://www.kent.ac.uk/politics/gec/research/documents/gec-moldova-survey-brief-2014.pdf> (Accessed: 12.10.2016.)
- Lucarelli S. Seen from the outside: The state of the art on the external image of the EU // *Journal of European integration*. – Abingdon, UK, 2013. – Vol. 35, N 6. – P. 1–16.
- Mason R. School children's visualizations of Europe // *European educational research journal*. – Oxford, 2012. – Vol. 11, N 1. – P. 145–165.
- Matonyte I., Morkevicius V. Threat perception and European identity building: The case of elites in Belgium, Germany, Lithuania and Poland // *Europe-Asia studies*. – Abingdon, UK, 2009. – Vol. 61, N 6. – P. 967–985.
- Merabishvili G. The EU and Azerbaijan: Game on for a more normative policy? // *CEPS policy brief*. – Brussels, 2015. – N 339. – Mode of access: <https://www.ceps.eu/system/files/PB329%20EU%20Policy%20towards%20Azerbaijan%20G%20Mera%20bishvili.pdf> (Accessed: 12.10.2016.)
- Portela C. The Perception of the European Union in the Southeast Asia // *Asia Europe journal*. – Berlin, 2010. – Vol. 8, N 2. – P. 149–160.
- Torney D. External perceptions an EU foreign policy effectiveness: The case of climate change // *Journal of common market studies*. – Oxford, 2014. – Vol. 52, N 6. – P. 1358–1373.

Е.В. Морозова*

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И ОБРАЗ «ДРУГОГО» В СЕПАРАТИСТСКОМ ДИСКУРСЕ (КЕЙСЫ СТРАНЫ БАСКОВ И ВЕНЕТО)¹

Аннотация. Автор рассматривает политику идентичности в двух европейских регионах, отличающихся значительным проявлением сепаратистских настроений, – Стране Басков в Испании и Венето в Италии. В статье использована модель Р. Фитьяра, выделившего такие усиливающие региональную идентичность факторы, как региональный язык, факт собственной государственности в прошлом, характер отношений центра и регионов, включенность в процессы евроинтеграции, уровень экономического развития, наличие регионалистских партий и др. На разнообразном эмпирическом материале показано, как структурные элементы и технологии политики идентичности, конструирование образа «другого» используются для мобилизации региональных общностей. Сепаратистская риторика направлена больше не на реальное отделение регионов от государства, а на получение большей финансовой и налоговой самостоятельности.

Ключевые слова: политика идентичности; образ «другого»; региональная идентичность; сепаратизм; символическая политика; языковая политика; политика памяти; брендинг региона.

E.V. Morozova

The identity politics and the image of the «other» in separatist discourse (the cases of the Basque Country and Veneto)

Abstract. The author examines identity policy in two European regions, characterized by a significant manifestation of separatism – the Basque Country in Spain and the Veneto in Italy. The author relies her analysis on R. Fitier's model of the regional identity.

* **Морозова Елена Васильевна**, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета (Краснодар), e-mail: morozova_e@inbox.ru

Morozova Elena, Kuban State University (Krasnodar, Russia), e-mail: morozova_e@inbox.ru

¹ Работа выполнена в рамках исследования «Чужой/Другой в меняющемся мире: от онтологии к гносеологической типологизации», поддержанного РГНФ, грант № 15-03-00402.

Among the factors that strengthen such identities R. Fitjar singled out the regional language, the fact of own statehood in the past, the nature of the center-regional relations, the involvement in Eurointegration, the level of economic development, the existence of regionalist parties, etc. The diverse empirical base allows the author to show how the construction of the image of the «other» are used to mobilize regional communities. The author argues that a separatist rhetoric is aimed less at real separation from the state, than to obtaining greater financial and tax autonomy.

Keywords: identity policy; the image of the «other»; regional identity; separatism; symbolic politics; language policy; memory politics; branding of a region.

Исследование образа «другого» во внутривитическом дискурсе приобретает особую актуальность в контексте развития так называемого «нового национализма» и роста сепаратистских настроений в современной Европе. Состоявшиеся в 2014 г. референдумы о суверенитете Шотландии и Каталонии¹, а также Brexit в 2016 г. вновь подтвердили актуальность изучения сепаратистского дискурса средствами современной политической коммуникативистики. Сепаратизм сегодня понимается как специфическая форма регионального самоопределения с потенциальным стремлением к отделению от «чуждого» большинства и созданию нового государства. Исследователи считают, что прямой связи между качеством жизни и уровнем сепаратизма нет. Ведущими причинами популярности сепаратизма чаще всего называют незавершенное нациестроительство; слабость национальной идентичности в сравнении с региональными и этническими; восприятие территориальных конфликтов в категориях политической культуры [Баранов, 2015].

Особая роль среди причин принадлежит выраженности региональной идентичности и проводимой в регионах политике идентичности². Ощущать самотождественность и целостность для жителя Вене-то важно, чтобы определять для себя жизненные приоритеты и понимать, откуда нужно ждать угрозы. Л.В. Смирнягин отмечал мощный потенциал региональной идентичности для сплачивания людей в устойчивые группы, объединенные общими системами ценностей, сходной реакцией на социальные процессы и единой волей к социальному действию. Он писал о ее способности «объединять людей раз-

¹ Как известно, каталонский референдум не имел правового статуса и может рассматриваться как выражение общественного мнения

² Политика идентичности понимается автором в трактовке И.С. Семененко – как совокупность ценностных ориентиров, практик и инструментов формирования и поддержания различных форм идентичности (в нашем случае региональной идентичности) [Семененко, 2011, с. 164].

ных рас, профессий, состояний, уровней образования, ломать или снижать барьеры между этими группами» [Смирнягин, 2014].

По данным Евробарометра, удельный вес респондентов, которые считают региональную идентичность приоритетной для себя, колеблется в различных европейских регионах от 4 до более чем 50% [Fitjar, 2010, p. 522]. Р. Фитъяр, предложивший весьма интересную модель региональной идентичности, выделил такие усиливающие ее факторы, как региональный язык, факт собственной государственности в прошлом, характер отношений центра и регионов, включенность в процессы евроинтеграции, уровень экономического развития, наличие регионалистских партий и др. [ibid., p. 522–544]. Именно эти факторы стали определяющими при отборе кейсов Страны Басков и Венето. Объяснение исследовательского интереса к регионализму в Италии и Испании, который проявился у автора достаточно давно [Морозова, 1998], можно найти в уникальности региональной дифференциации, сложившейся в данных странах. Катализаторами политизации региональной идентичности здесь выступают два основных фактора: наличие серьезных социально-экономических проблем и деятельность региональных политических партий и движений, выступающих за выход регионов из состава государств. Основой политической мобилизации становится негативная идентичность, которая поддерживает «комплекс жертвы». «Другим» чаще всего становится государство в целом, действия против «другого» оправдываются тем, что его бытие и экзистенциальная сущность отличны от «наших».

Материалом для эмпирического анализа послужили разнообразные агитационные и рекламные материалы (общим числом 237), распространявшиеся сепаратистскими общественно-политическими движениями и региональными партиями двух регионов, в основном они датируются 2012–2016 гг. Каналы коммуникации, которые использовались для распространения материалов, – печатные и электронные СМИ, наружная реклама, интернет-ресурсы, социальные медиа¹.

¹ Автор выражает благодарность студентам отделения зарубежного регионоведения Кубанского государственного университета, оказавшим неоценимую помощь в сборе и первичной интерпретации эмпирического материала.

Страна Басков: Содержание и результаты политики идентичности

В Эускади (так по-баскски называется эта испанская область) сформировалась особая этнокультурная идентичность, имеющая самоназвание Эускалдунак [Totoricaguena, 2004]. После образования отдельных государств – Франции и Испании (конец XV в.) – Страной Басков стали называться четыре испанские провинции: Бискайя, Алава, Гипускоа и Наварра. В 1936 г. Бискайя, Гипускоа и Алава объединились в единое автономное сообщество, а Наварра в 70–80-е годы XX в. получила самостоятельный автономный статус. В 1978 г. была принята Конституция Испании, согласно статьям которой баски получили статус автономного сообщества в составе Королевства Испании. С этого времени Баскония имеет собственный парламент, полицию, а также широкие экономические привилегии. Уникальная способность басков противостоять инородному влиянию, сохранять своеобразие не может не вызывать повышенный интерес исследователей идентичности. Следует заметить, что идеологи баскского национализма умело используют ореол таинственности вокруг происхождения этноса и целенаправленно подогревают интерес ученых.

Целью символической политики в регионе является стремление четко обозначить себя как отдельный элемент в политическом пространстве страны, показать свою уникальность. Для этого используется не только официальная региональная символика – флаг, герб, гимн, но и такой важный для басков символ, как Дерево Герники¹. Этот дуб олицетворяет силу, мощь и благородство басков. Его значимость подтверждается тем, что именно он встречается на гербах многих баскских городов и провинций. Еще один распространенный символ басков – крест (лаубуру). Его часто изображают над входной дверью как талисман, его также можно встретить на флагах и эмблемах современных баскских организаций.

Государственную символику в Басконии размещают не только на государственных учреждениях, но и на домах. На балконах зданий часто можно встретить вывески и плакаты с лозунгами «Euskal Herria – not Spain, not France. Self-determination for the

¹ В Средние века представители общин проводили собрания под большими деревьями. Со временем возросла роль собрания в Гернике, а местный дуб приобрел символическое значение. Именно под этим деревом произносили клятву монархи, обещая уважать традиционные свободы басков.

Basque Country» и «You're neither in Spain nor in France, you're in the Basque Country». Футбольные матчи также становятся площадками для самовыражения басков. Так, помимо официальной атрибутики футбольного клуба баскские болельщики используют государственную символику автономного сообщества, подчеркивая тот факт, что баски – это не испанцы.

Жители Басконии устраивают символические акции в поддержку собственной независимости и сохранения своей этнической общности. Можно привести в пример одну из самых масштабных акций – «Всё в наших руках», во время проведения которой в 2014 г. более 100 тыс. человек выстроились в «живую цепь» длиной 123 км в поддержку регионального референдума по вопросу о независимости Страны Басков от Испании [Сторонники независимости... 2014]. Важно подчеркнуть, что данную инициативу поддержали и другие регионы страны, в частности Наварра, имеющая общие историко-культурные корни с Басконией.

Персонифицированным символом, или, по определению В. Бедерсона, персоналистским идентификатором [Бедерсон, 2015] является Сабино Арана (1865–1903) – наверное, самый популярный идеолог баскского национализма и сепаратизма, сказавший в одной из публичных речей: «Испанец еще ходил со сгорбленной спиной и на полусогнутых ногах, когда бискаец уже обладал элегантно походкой и благородными чертами лица. Бискаец – статен и мужественен; испанец же либо вообще не знает, что такое стать, либо женственен в своей внешности. Бискаец энергичен и подвижен; испанец – ленив и неуклюж. Бискаец умен и способен во всех сферах деятельности; испанец глуп и тугодумен. Бискаец по натуре своей предприниматель; испанец же ничего не предпринимает и ничего не стоит. Бискаец рожден для того, чтоб быть сеньором, а не слугой; испанец же рожден лишь для того, чтобы быть вассалом или сервом» [Сабино Арана, 2016]. Портреты Араны – обязательный атрибут современной политической агитации баскских сепаратистов. «...Личность и деятельность Араны вызывают либо ненависть, либо обожание. Самые яростные противники называют его “баскским Гитлером”, его апологеты – “Учителем” или даже “баскским Иисусом”. Фигура Араны окружена мистическим, полурелигиозным ореолом...» [Самсонкина, 2009].

Арана считал главным атрибутом этноса басков язык, являющийся, по его мнению, главным препятствием на пути окончательного порабощения Страны Басков «испанскими колонизаторами» [Moral, 1998, p. 32]. Эускара, язык басков, является обособленным,

изолированным и не относящимся ни к одному европейскому языку. Языковой фактор, по данным Ф. Морала, наряду с этническим указали как основу баскской идентичности более 60% респондентов [Moral, 1998, p. 32]. С целью изучения, защиты языка и его продвижения как в лингвистическом, так и в социальном плане в Басконии в 1919 г. была создана Королевская академия баскского языка – Euskaltzaindia, являющаяся официальным консультативным органом в отношении эускара¹. Правительство региона официально поощряет знание баскского языка, который является обязательным для госслужащих [Totoricaguena, 2008]. Многие привычные испанцам слова были заменены в последние годы на баскские аналоги и стали неотъемлемой частью политкорректной повседневности страны.

Важным содержательным компонентом региональной политики идентичности является политика памяти. Цель ее заключается в том, чтобы не дать баскам забыть о жертвах, принесенных ими на пути сохранения своей уникальной идентичности. Сравнительно недавно был учрежден День Страны Басков, который отмечается ежегодно 25 октября, так как именно в этот день в 1979 г. референдумом был одобрен Статут об автономии Страны Басков (Статут Герники), благодаря которому она получила статус автономного сообщества. Именно этот праздник служит напоминанием баскскому населению о трудностях и притеснениях, с которыми им пришлось столкнуться во время диктатуры Франко, когда их национальная идентичность была подвержена наибольшим угрозам. Каудильо рассматривал территориальные автономные движения как носителей антигосударственных идей, они рассматривались как главные враги наряду с «красным материализмом». Баскский язык запрещали употреблять в общественных местах под угрозой тюремного заключения, баскские надписи вытравливали даже на могильных камнях [Iberica, 1983, с. 177].

Имиджевая политика выстраивается правительством Страны Басков в полном соответствии с выдвинутым в 2003 г. слоганом: «Euskadi, saboreala» – «Страна Басков – насладись прекрасным». Элементы имиджа региона: самобытная культура, экономическая стабильность, природное разнообразие, футбол. По опросу, проведенному «Баскским социальным барометром» в 2014 г., лишь 8% опрошенных назвали коррупцию главной проблемой общества.

¹ Официальный сайт Королевской Академии баскского языка: Euskaltzaindia. Real academia de la lengua vasca. – Mode of access: <http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?lang=es>

В свою очередь, в общем по Испании этот показатель составил 64% [La poblacion... 2015]. Гордостью Страны Басков также является один из самых известных футбольных клубов Испании – «Атлетик Бильбао». Его уникальная особенность состоит в том, что абсолютно все его игроки – баски. Вместе с тем во внешнем имидже Басконии существуют и негативные элементы, связанные с деятельностью радикальной организации ЭТА¹. Несмотря на сравнительно недолгое существование, эта организация в определенной мере сформировала во внешней среде представление о Басконии как о регионе, стремящемся добиться своей независимости радикальными, террористическими методами.

Важную роль в реализации политики идентичности в Стране Басков играет система образования, в отношении которой выделяется феномен «басконизации» учителей, которым необходимо добиться реализации различных двуязычных учебных моделей в автономном сообществе: испанский – основной, а баскский как предмет; баскский – основной, а испанский как предмет; двуязычие. Итоги реализации этих программ привели к тому, что за 20 лет процент говорящих на баскском языке преподавателей вырос с 5% в 1975 г. до примерно 80% в государственных учреждениях и 65% в частных в 2005–2006 уч. году [Azurmendi, Larrañaga, Araletegi, 2008]. В качестве инструмента политики идентичности выступают так называемые икастолас (Ikastolas) – местные школы, пропагандирующие традиционные баскские ценности. Поскольку икастолас получают поддержку Правительства, обучение в них дешевле, чем в других школах. Благодаря этому туда поступает больше учеников. Это приводит к тому, что наибольшей популярностью сепаратистские и националистические настроения пользуются именно среди молодежи. Баски выдвинули гражданскую инициативу за родной язык – Коррику. Во время ее проведения несколько сотен тысяч бегунов на протяжении 11 дней непрерывно передают из рук в руки эстафетную палочку, символизирующую родной язык. Эстафетная палочка успеваешь побывать во всех городах и деревнях Страны Басков, поучаствовать в эстафете считается честью, поэтому организации и частные лица «выкупают»

¹ ЭТА – Euskadi Ta Askatasuna – «Страна басков и свобода» – баскская леворадикальная, националистическая организация сепаратистов. Главной целью ее деятельности было создание независимого государства басков, в состав которого помимо Баскской Автономии должны были войти Наварра, а также четыре провинции на юго-западе Франции.

участки эстафеты, а собранные с помощью такого краудфандинга средства идут в пользу образовательных учреждений, в которых преподается баскский язык. В 2017 г. Коррика состоится уже в 19-й раз [Арбелайтц, 2015]. Также, подчеркивая уникальность своего языка, баски с давних пор проводят конкурс на лучшее чтение берцолари (устное стихосложение).

Баскская националистическая партия, идеология которой выстроена вокруг идеи создания независимого либо автономного баскского государства, традиционно на выборах в региональный парламент получает наибольшее количество депутатских мест. Этот факт свидетельствует о том, что тенденция к политическому оформлению своей идентичности серьезно поддерживается гражданами Страны Басков. Начиная с 1977 г. в Басконии действуют газеты националистической направленности: «Deia» и «Egin». Кроме того, с началом демократических перемен в регионе появляется собственное телерадиовещание, которое активно способствовало «лингвистической нормализации». Благодаря мощному вкладу печатных и электронных СМИ баскский язык перестает быть чисто литературным, становясь языком народным. Именно роль и влияние прессы стали решающей предпосылкой формирования единого баскского языка. Уже «Deia» на протяжении всей своей истории демонстрирует тесную связь с националистической партией, поэтому при освещении проблем автономии партийный аппарат активно использует газету, чтобы выразить свои интересы, превращая ее тем самым в важный инструмент политической пропаганды [Занина, 2002].

Региональная политика идентичности невозможна без использования образа «другого». Образ «другого», как считает О.В. Попова, может реализоваться в двух моделях. Первая из них, модель политической толерантности, представлена формулой «я» – «другой-иной». Вторая, интолерантная модель может быть описана формулой «я» – «другой-чужой-враг» [Попова, 2012, с. 191]. О.Ю. Малинова полагает, что сообщества, «стоящие за» другими государствами, значимы не только в качестве потенциальных противников / врагов или партнеров / друзей, но и в качестве носителей социального или политического опыта, обусловившего их успехи и неудачи и способного служить ориентиром [Малинова, 2016]. «Разделяемые представления о внешних “других” являются не только неотъемлемым элементом механизма конструирования макрополитических идентичностей, но и инструментом символической политики как публичной деятельности, связанной с производством и

продвижением различных способов видения социальной реальности. В частности, они активно используются для легитимации властных решений» [Малинова, 2016, с. 21].

В преддверии досрочных парламентских выборов в Испании в 2008 г. на баскском телевидении был запущен видеоролик, наглядно демонстрирующий содержание образа «другого» [Euskal Herriartok... 2008]. Стилистика ролика говорит о том, что мы имеем дело с интолерантной моделью, в которой «другой-чужой» – это все испанское государство. Сравнительный анализ видеоряда показывает, что Страна Басков и ее граждане ассоциируются исключительно с позитивными образами: деревья, цветы, объятия, праздник, песни, танцы, стройка, в то время как Испания – с образами, вызывающими страх и тревогу: тюрьма, кандалы, решетки, ядерная угроза, оружие, солдаты. Образный ряд эмоционально усиливается цветовой символикой: все, что касается басков, показано в многоцветном формате, а образы испанцев колорированы исключительно в серо-черных тонах.

Накануне празднования Дня басков в 2005 г. в городе Бильбао ведущей медиагруппой Страны Басков – EITB был проведен социологический опрос, целью которого было выяснить, гордятся ли жители тем, что они баски, и почему. Приведем наиболее характерные ответы: «Я чувствую гордость за то, что я баск, и считаю себя счастливым человеком. И это именно то чувство, которое я хочу передать своим детям. Для меня Страна Басков – это большая семья. Я истинный баск!»; «Я – баск, и иногда тяжело объяснить людям, что это значит. Мы – упрямый, настойчивый и, честно говоря, довольно закрытый народ. Да, это правда, что баск не откроет тебе так легко свои объятия, но когда это случится, это навсегда...»¹. Проведенный двумя годами позже Университетом Страны Басков опрос показал, что 27,4% респондентов продемонстрировали баскскую идентичность; 18,1 – европейскую идентичность; 8,3 – испанскую; а 7,9% – локальную (на муниципальном и общинном уровнях) [Azurmendi, Larrañaga, Apalategi, 2008].

¹ Официальный сайт EITB – коммуникационной компании Страны Басков: – Mode of access: <http://www.eitb.eus/>

Венето и «венетизм»

Как заметил Л. Зидентоп, риски сепаратизма в Италии достаточно велики, в силу того что национальное государство сложилось относительно поздно [Зидентоп, 2004]. Внимание исследователей феномена сепаратизма в современной Италии, как правило, приковано к Сицилии, Сардинии, Трентино-Альто-Адидже. Мы обратились к исследованию кейса Венеции, потому что в его структуре можно найти сочетание практически всех факторов, питающих радикальный регионализм и сепаратизм (прежде всего, исторических, экономических и социокультурных), а также формы политической институционализации сепаратизма (политическая партия, программным лозунгом которой является независимость, референдум).

Важнейшим историческим фактором является существование в Венеции собственной государственности в течение более 1000 лет. Регион Венето стал наследником La Serenissima, Венецианской республики. Богатая событиями история этого могущественного государства продолжает влиять на сознание венецианцев и жителей региона Венето в целом. Безусловно, региональный сепаратизм опирается на представления об экономической состоятельности Венеции. Наконец, важнейшим социокультурным фактором является выраженная региональная идентичность. Здесь было бы уместно привести идею Г.С. Корепанова об учете «социокультурных стереотипов», которые призваны обеспечить подобную непрерывность, транслированность во времени и пространстве [Корепанов, 2009]. Существует определенный спектр признаков, определяющих региональную идентичность жителя Венето: региональная символика (герб с изображением льва св. Марка, гимн *Inno Nazionale Veneto*), диалект (на котором свободно разговаривают практически все жители Венето), культура (творческое наследие Тициана, Палладио), уважение к либеральным ценностям, свободе (демократия как отличительная черта Венецианской республики). Жители Вероны, Падуи, Ровиго также воспринимают себя как жителей Венето – наследников Венецианской республики. Очень хорошо это показано в популярной песне группы *Radiosboro Viva el Veneto*. В песне поется, что падуанцы – хорошие врачи, веронцы – сумасшедшие люди, а в городе Виченца едят котлов. Но объединяет всех любовь к Венето.

Основа символика Венецианской республики – это лев св. Марка, опирающийся одной лапой на раскрытую книгу (иногда раскрытая книга используется в отдельности), на красно-золотом полотнище. Он присутствует на гербе региона и используется все-

ми его политическими движениями. Политическими лозунгами нередко служат строки из гимна Венеции, например: «*Na bandiera, na lengoa, na storia*» (Один флаг, один язык, одна история).

В регионе Венето достаточно активно проводится языковая политика. Начиная с 2010 г. в школах Венето проводится конкурс под названием «*Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto*» («Охрана, оценивание и продвижение лингвистического и культурного наследия Венето»). Официальный гимн Венето (*Ino nasional veneto*) исполняется на венецианском диалекте, который весьма успешно продвигается, в том числе и методами социальной рекламы (например, популярный ролик «Я венецианец» [*Io sono Veneto...* 2007] набрал на YouTube полмиллиона просмотров). Указом региональных властей от 13 апреля 2007 г. был учрежден праздник *Festa del Popolo Veneto* (Праздник народа Венето) (празднуется ежегодно 25 марта) [*La Sinistra...* 2015]. Брендами Венето выступают как объекты культурного наследия, так и традиционный напиток *Spritz*, а также Дом моды *Benetton*.

Губернатор региона Венето Дж. Дзайя, отвечая на вопрос о том, что значит чувствовать себя венецианцем, воскликнул: «Нужно здесь родиться, чтобы понять! Это наша идентичность, наш язык, историческая память, наша республика была первой демократией. Как это можно забыть!» [Емельянова, 2014].

Первый «всплеск» идей о необходимости обретения Венецией независимости приходится на 1990-е годы. Именно тогда достаточно неожиданно Лига Севера, ставшая политическим «продуктом» неразрешенного противоречия между Севером и Югом Италии и колоссальных региональных социально-экономических диспропорций, продемонстрировала первые внушительные электоральные успехи. В целом, по мнению О.Н. Барабанова, идеология и политические действия «Лиги Севера» не привели к формированию достаточно серьезной угрозы государственному единству и территориальной целостности Италии. В то же время они внесли достаточно весомый вклад в начавшийся при поощрении ЕС процесс определенной трансформации политической системы страны, ее «деволюции», т.е. передачи более широких административных и финансовых полномочий от центрального правительства регионам [На перекрестке Средиземноморья, 2011].

Венецианский национализм (венетизм), по словам итальянского журналиста Паоло Поссамай, отражает «усилия Венето и венецианцев признать их идентификацию и автономию» [Венеци-

анский национализм, 2015]. В 1998 г. Региональный совет Венето одобрил резолюцию о самоопределении венецианского народа. Документ закрепил «права венецианцев на демократический и прямой референдум для свободного выражения своего права на самоопределение» [там же]. В 2007 г. Венето предоставил венецианскому языку наряду с итальянским статус официального и провозгласил 25 марта Днем венецианского народа (Festa del Popolo Veneto) в день годовщины основания Венеции.

Различные социологические опросы показывали впечатляющую динамику роста сторонников идеи независимости Венето: около 50% в 2011 г., 53,3% в 2012 г. [Гоголева, 2016]. Усилия по политической мобилизации координировались партией «Независимость Венето», которая сыграла ведущую роль в проведении референдума 2014 г. По сути это было не имеющее юридической силы электронное голосование по отсоединению от государства Италии области Венеция (Венето).

Электронное голосование проходило с 16 по 22 марта 2014 г. Имели право голоса и возможность принять участие в референдуме около 3,8 млн человек. Главный вопрос, который был вынесен на референдум, звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы создание независимой, суверенной, федеративной республики Венето?» Почти 89% респондентов, принявших участие в интернет-голосовании, высказались в пользу создания независимого государства «Республика Венето». Инициаторы голосования объявили о подготовке к проведению референдума на официальном уровне. Президент Венето Лука Дзайя сказал, что для этого необходимо разработать соответствующие законодательные акты, признав, что отсоединение противоречит итальянской конституции, однако апеллирует к праву на самоопределение. Поскольку референдум не был официально признан, организаторы не обязаны были раскрывать источники его финансирования. Тем не менее они объявили, что общие пожертвования в фонд проведения голосования составили 3 млн евро [Гнетий, 2014].

При анализе региональной политики идентичности Венето можно особо отметить деятельность политических партий и общественных движений, например *Indipendenza Veneta* (Независимость Венето), которые в своих политических лозунгах и плакатах используют всемирно известные символы: Beatles и падение Берлинской стены в 1989 г. Целью своей деятельности эта политическая партия объявила отделение региона Венето от Итальянской респуб-

лики. В своей агитационной деятельности она активно использовала средства сети Интернет, в частности канал на информационно-сетевом ресурсе YouTube. Так, *Indipendenza Veneta* запустила серию видео: «Lezioni di Indipendenza: cambiare la struttura» («Уроки Независимости: поменять структуру») [*Indipendenza veneta*, 2014]. В этих видео объясняется, какие выгоды Венето получит в результате отделения от Итальянской республики, а также используется региональная символика: флаг и гимн.

Как показал анализ эмпирического материала (листовки, плакаты, телевизионные ролики, контекстная реклама в Интернете), приемы политической коммуникации в Венеции активно использовали образ «другого» для достижения целей референдума и политической мобилизации сторонников. Образ «другого» в Венеции был диверсифицирован в следующих направлениях:

1) «другой» – вся Италия (за исключением Венето). Отличия воспринимаются в основном в экономическом и социокультурном ракурсах. Так, одна из агитационных листовок содержит сравнительную статистику по уклонению от налогов: Венето – 14,5%, Калабрия – 32%. Авторы текста задают риторический вопрос: почему жителей Венето зовут эгоистами, если калабрийцы уклоняются от налогов? «*Veneto is not Italy*» – самый популярный слоган политической агитации в период референдума;

2) «другой» – Юг Италии. В общественном сознании венецианцев укоренена мысль о том, что «бедный и ленивый Юг» живет за счет богатого Севера, в стране происходит постоянное несправедливое перераспределение средств в пользу Юга [На перекрестке Средиземноморья 2011, с. 89]. Президент Венето Л. Дзайя сказал, что венецианцы не хотят спонсировать практически в одиночку бедный юг страны, накопивший уже 17 млрд долл. госдолга [Джейкобс, 2014];

3) «другой» – правительство страны. Лодовико Пиццати, пресс-атташе общественного объединения *plebiscito.eu*, организовавшего данный референдум, пояснил: «Если мы добьемся кворума, то в одностороннем порядке объявим о независимости Венето. На практике с этого момента местные ассоциации промышленников и предпринимателей автоматически перестанут платить налоги в центральную римскую казну. Это произойдет вне зависимости от того, что скажет Рим, с которым мы больше не можем вести переговоры» [Щербакова, 2015], Лозунг «Рим – воровка» стал главным в электоральном дискурсе сторонников независимости Венето.

Весьма образно все «другие» отражены в песне Sergio Bosato «Fuori il tiranno» (Прочь, тиран!) [Io sono Veneto... 2007] (перевод слов О. Базайкиной):

*Избавимся от тиранов,
Которые нас угнетали и притесняли.
Прочь убирайся, фашист, с моей земли,
Выгоню тебя из моего дома!
Сыны героев, римлянин нас обокрал,
Бесстыдно пограл нашу историю и наши сердца!
Вот он, стоит – пугало для ворон,
Хочет нас застращать,
Но хватит порыва ветра,
И он падет!
Прочь, вы, мошенники в тогах поддельных
И лизоблюды из Ватикана!
Прочь, вы, насквозь прогнившие
Коррупционеры!
Отныне народ сам станет себе хозяином!
Сильный и щедрый народ,
Который всегда отдавал последнюю рубашку,
Ни одного евро взамен не получая.
Честный народ,
из которого выжимали последние соки!*

Парламент Венеции привлек к себе внимание европейского и мирового сообщества, утвердив 18 мая 2016 г. резолюцию, требующую признать Крым частью России, а также отменить санкции, введенные Италией и ЕС против нашей страны. Инициатива этой политической акции принадлежала представителю Вероны Стефано Вальдегамбери. Политик пояснил, что решение носит рекомендательный характер, оно направлено «центральной властью страны. Однако это только первый шаг. Мы будем добиваться, чтобы и другие регионы Италии приняли подобную резолюцию, чтобы показать центральному руководству необходимость изменения политики по отношению к России... В Крыму произошло как раз то, чего мы пытаемся добиться в Венеции» [Крючков, 2016]. Нет сомнения, что указанная резолюция имеет прежде всего символическое значение, акцентируя не столько ущерб от санкций, который несет экономика региона, сколько право принимать самостоятельные решения.

Представляется, что сепаратистская риторика направлена все же больше не на реальное отделение регионов от государства, а на получение большей финансовой и налоговой самостоятельности. Эта риторика процветает на фоне усиления евроскептицизма в последнее десятилетие. Политика идентичности в исследуемых регионах и использование в ней образа «другого» применяются сепаратистскими движениями для легитимации своей деятельности, политической мобилизации, ценностной ориентации и политической социализации. Прошедшие в Шотландии, Каталонии и Венеции референдумы стимулируют консолидацию групп и движений сепаратистов. Так, в Ломбардии и Сардинии после венецианского референдума начался сбор подписей за проведение аналогичных референдумов в данных регионах. Рост настроений сепаратизма в начале текущего тысячелетия стал симптомом того, что региональная неоднородность уже не сводится к традиционным социокультурным и политическим размежеваниям, она становится более сложной и многозначной, что создает новые вызовы внутреннему единству стран. Политические субъекты, выступающие за целостность государств, апеллируют в большинстве случаев к аргументам конституционно-правового характера. В дополнение к ним совершенно необходимы действия символического порядка, продвижение идеи целостности с использованием методов современной визуализации, сетевых технологий, социальных медиа.

Литература

- Арбелайтц Л. Коррика: крупнейшая гражданская инициатива за родной язык в Стране Басков / Пер. А. Выборновой // *Argia*. – 2015. – Мартхоарен 21. – Режим доступа: <http://www.argia.eus/albistea/korrika-errusieraz> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Баранов А.В. Сепаратизм в современной Италии: факторы развития, институционализация, политические стратегии // *Человек. Сообщество. Управление*. – Краснодар, 2015. – Т. 16, № 1. – С. 78–90.
- Бедерсон В.Д. В поисках героев: разнообразие персоналистских идентификаторов и политика идентичности в регионах современной России // *Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН*. – М., 2015. – Вып. 3: Политические функции мифов. – С. 192–209.
- Венецианский национализм. – 2015. – Режим доступа: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

- Гнетий В. Венеция: Уйти, чтобы остаться // Радио Свобода. – М., 2014. – Режим доступа: <http://www.svoboda.org/a/25304993.html> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Гоголева В.А. Сепаратизм в Италии: карнавал движений за независимость // Алтайская школа политических исследований. – Барнаул, 2016. – Режим доступа: <http://ashpi.asu.ru/ic/?p=3880> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Джейкобс Ф. Если сецессия не удастся с первого раза... // Inopressa. – М., 2014. – 29 апреля. – Режим доступа: <http://www.inopressa.ru/article/29apr2014/foreignpolicy/separatist.html>
- Емельянова А. «Хватит кормить лентяев»: венецианцы голосуют за отделение от Италии // Вести.ru. – М., 2014. – 14 марта. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1401761> (Дата посещения: 12.03.2017.)
- Занина Е.Н. Трансформация СМИ Страны Басков (Испания) в условиях переходного периода и демократии, (1975–1995 гг.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2002. – 26 с.
- Зидентоп Л. Демократия в Европе. – М.: Логос, 2004. – 312 с.
- Iberica: культура народов Пиренейского полуострова. – М.: Наука, 1983. – 242 с.
- Корепанов Г.С. Региональная идентичность в дискурсе социологии регионального развития // Вестник РУДН. Серия: Социология. – М., 2009. – № 4. – Режим доступа: <http://regionalnaya-identichnost-v-diskurse-sotsiologii-regionalnogo-razvitiya> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Крючков И. Почему Венеция признает Крым Российским // Газета.Ru. – М., 2016. – 17 мая. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/politics/2016/05/16_a_8247437.shtml (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Малинова О.Ю. Риторика политического лидера как индикатор значимости Другого. США и КНР в выступлениях президентов РФ (2000–2015 гг.) // Полис. Политические исследования. – М., 2016. – № 2. – С. 21–37.
- Морозова Е.В. Региональная политическая культура. – Краснодар: Куб. ун-т, 1998. – 378 с.
- На перекрестке Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века / Под ред. Т.В. Зоной. – М.: Весь мир, 2011. – 456 с.
- Попова О.В. Образ «другого» // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 190–193.
- Сабино Арана // Культурный досуг в Испании. – 2016. – 25 апреля. – Режим доступа: <https://hispanoculturablog.wordpress.com/2016/04/25/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Самсонкина Е. Сабино Арана Гойри (1865–1903): жизнь, смерть и жизнь после смерти // Герника: журнал о баскской культуре. – М., 2009. – № 8. – Режим доступа: <http://gernika.ru/euskal-herria/7-euskal-herria/179-sabino-arana-goiri-bizitza-heriotza-eta-heriotzaren-osteko-bizitza> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Семененко И.С. Политика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 162–168.

- Смирнягин Л.В. О региональной идентичности // Демоскоп. – М., 2014. – № 5. – 18 мая, № 597–598. – Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0597/analit05.php> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Сторонники независимости Страны Басков выстроились в цепь длиной 123 км // Russia Today. – 2014. – 9 июня. – Режим доступа: <https://russian.rt.com/article/35724> (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Щербакова В. Куда движется Венеция? // Частный корреспондент. – М., 2015. – 11 марта. – Режим доступа: http://www.chaskor.ru/article/kuda_dvizhetsya_venetsiya_37797 (Дата посещения: 15.03.2017.)
- Azurmendi M.-J., Larrañaga N., Apalategi J. Bilingualism, identity and citizenship in the Basque Country // *Bilingualism and identity: Spanish at the crossroads with other languages* / M. Niño-Murcia, J. Rothman (eds.). – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008. – P. 35–62.
- Euskal Herritarrok – Hauteskunde iragarkia [Баскские граждане – Выборы]. – 2008. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=HIGiUo0emEk> (Accessed: 15.03.2017.)
- Fitjar R.D. Explaining variation in sub-state regional identities in Western Europe // *European journal of political research*. – Malden, Mass., 2010. – Vol. 49. – P. 522–544.
- Indipendenza veneta: cambiare la struttura [Независимость Венето: изменения структуры]. – 2014. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=kNV4jbOmkuE> (Accessed: 15.03.2017.)
- Io sono Veneto – Mi so Veneto [Я Венето – Я знаю Венето]. – 2007. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=dG5zFj5g9no> (Accessed: 15.03.2017.)
- La poblacion vasca mejora su percepcion sobre la inmigracion extranjera. Barometro 2014. – 2015. – Mode of access: www.siiis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/500022/ (Accessed: 15.03.2017.)
- La sinistra Veneta indipendentista la nostra lingua a scuola si puo! – 2015. – 29 Ago. – Mode of access: <http://www.lindipendenzanuova.com/la-sinistra-veneta-indipendentista-la-nostra-lingua-a-scuola-si-puo> (Accessed: 15.03.2017.)
- Moral F. Identidad regional y nacionalismo en el Estado de las Autonomnas // *Opiniones y actitudes*. – Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998. – Vol. 18. – Архив автора.
- Toricaguena P. Identity, culture, and politics in the Basque Diaspora. – Reno: Univ. of Nevada press, 2004. – 639 p.
- Toricaguena P. The Legal status of the Basque language today: one language, three administrations, seven different geographies and a diaspora. – Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2008. – 267 p.

Д.О. Рябов*

ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ

Аннотация. В статье анализируется политика европейской идентичности, которая рассматривается как вид символической политики, направленный на создание и интерпретацию европейской идентичности. Автор выделяет следующие направления политики идентичности: создание негативной идентичности, ослабление внутренних символических границ, создание негативной идентичности. Анализируется использование таких форм политики идентичности, как установка и снос памятников, создание учебников истории, открытие музеев, создание институтов памяти, интерпретация прошлого с помощью символов.

Ключевые слова: политика европейской идентичности; европейская идентичность; политика идентичности.

D.O. Riabov

The European identity politics: Dimensions and directions

Abstract. The article analyzes European identity politics, which is viewed as a type of symbolic politics aimed at creating and interpreting European identity. The author reveals the following dimensions of identity politics: the creation of negative identity, the weakening of internal symbolic boundaries, the creation of negative identity. The use of such forms of identity policy as installation and demolition of monuments, creation of history textbooks, opening of museums, establishment of institutions of memory, and symbolic interpretation of the past are analyzed.

Keywords: European identity politics; European identity; identity politics.

Одной из причин современных разногласий в Европейском союзе, приведших в том числе к референдуму о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, можно считать кризисные евро тенденции в

* **Рябов Дмитрий Олегович**, ассистент кафедры российской политики Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: dmriabov@gmail.com
Riabov Dmitry, St. Petersburg State University, e-mail: dmriabov@gmail.com

формировании европейской политической идентичности, которая оказывается менее значимой для европейцев, чем их национальные идентичности. Вместе с тем нельзя не признать, что на пути конструирования европейской идентичности были достигнуты серьезные успехи. Согласно замерам общественного мнения, в 2015 г. 67% жителей стран ЕС чувствовали себя гражданами ЕС [Standard Eurobarometer 83, 2015, p. 15]. Это стало как следствием объективных успехов в экономической, политической, социальной интеграции, так и результатом политического курса по формированию европейской идентичности, т.е. политики европейской идентичности.

Изучению различных аспектов европейской идентичности посвящены работы многих исследователей: анализируются история европейской идеи [Борко, 2003], закономерности складывания европейской идентичности [Pagden, 2002; Bruter, 2004], критерии европейскости [Cedermann, 1995; Hedetoft, 1998; Calhoun, 2001], европейские ценности [European identity, 2009]. Значительно меньше внимания уделяется вопросам политики европейской идентичности как системе целенаправленных действий. Целью данной статьи является анализ политики европейской идентичности, ее направлений и форм.

Термин «политика идентичности» длительное время использовался для анализа борьбы непривилегированных социальных групп (прежде всего этнических), направленной на разрушение прежних легитимаций, и поиск признания и легитимности [Миненков, 2005; подробнее об истории термина см.: Цумарова, 2014]. В российской политической науке утверждалось понимание политики идентичности как политического курса, акторами которого являются политические элиты, стремящиеся навязать определенные способы интерпретации реальности и сформировать политическую идентичность [Ачкасов, 2012, с. 72; Семененко, 2012, с. 165; Цумарова, 2012].

Политику европейской идентичности, таким образом, можно определить как политический курс политических элит стран Европейского союза, направленный на создание европейской политической идентичности, которая понимается как состояние групповой солидарности граждан ЕС, включающее коллективный (осознание и переживание сообществом своей целостности) и индивидуальный (осознание и переживание гражданами ЕС своей принадлежности к Европе) уровни.

Я предлагаю рассматривать политику европейской идентичности как вид символической политики, понимаемой как «деятельность

политических акторов, направленная на производство и продвижение / навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих» [Малинова, 2010, с. 92]. Действительно, создание европейской идентичности связано с символической борьбой за ее производство и продвижение способов интерпретации «своих» и «чужих».

Следует учитывать также, что европейская идентичность в ЕС формируется не только в результате политики идентичности, но и как «побочный продукт» европейской интеграционной политики в целом, которая должна оставаться за рамками анализа политики идентичности.

Прежде чем характеризовать формы политики европейской идентичности, следует отметить свойства европейской идентичности, которые эту политику определяют и делают возможной.

Европейская идентичность, как любая коллективная идентичность, референтна. Конструктивистская и постструктуралистская парадигмы отказываются от атрибутивного понимания идентичности (как свойства) в пользу реляционного: идентичность выступает как отношение между «своими» и «чужими» [Jenkins, 2008]. Референтность европейской идентичности предполагает, что ее необходимым условием выступает дифференциация от «чужих», которая помогает членам европейского политического сообщества определить его, осознать себя единым целым и достичь позитивной самооценки. Такими «чужими» для европейцев в разное время выступали страны, идеологии и конфессии.

Далее, европейская идентичность гетерогенна. Конструирование политической идентичности, как отмечают исследователи, является многосубъектным процессом [Семененко, 2012, с. 165; Фадеева, 2012, с. 72]. Поскольку идентичность представляет собой отношение «своих» и «чужих», политические акторы соревнуются между собой за определение того, кто и почему является «своим» и «чужим». При этом речь идет не только об определении внешних «чужих», но и о производстве внутренних границ и иерархий: «свои» делятся на «более своих» и «менее своих» [Курнаева, Рябов, 2006; Рябов, Константинова, 2011].

В случае европейской идентичности образы «своих» и «чужих» выступают предметом символической борьбы между политическими элитами внутри ЕС. Основными акторами политики европейской идентичности, продвигающими собственные интерпретации европейскости и определения «своих» и «чужих», а также обладающими соответствующими ресурсами для этого, следует

назвать институты ЕС, национальные государства [Hedetoft, 1998] и международные организации [Sassatelli, 2009]. Кроме того, исследователи подчеркивают роль в создании идентичности «символических элит» [Сукало, 2014], к которым относят профессиональные группы и личностей, реализующих символический капитал как инструмент власти (публичных интеллектуалов, представителей экспертных структур, публицистов, этнические и религиозные организации) [Семененко, 2012, с. 165–166; Фадеева, 2012, с. 72–73].

Оспаривание существующего социального порядка – не менее важная часть символической политики, чем его легитимация. Европейские политические элиты обладают конкурирующими пониманиями Европы и европейской идентичности: «еврооптимистическим» и «евроскептическим» [подробнее см.: Кореcký, Mudde, 2002; Euroscepticism... 2004; Vries de, Edwards, 2009; Mapping EU attitudes, 2011; Рябов, 2014].

Наконец, такое свойство коллективной идентичности, как контекстуальность, является характеристикой и европейской идентичности. Это означает, что образы «своих» и «чужих» подвержены изменениям и зависят от временного и социального контекста: Э. Смит полагал, что переопределение образа «своих» может происходить в каждом новом поколении [Smith, 1991, с. 184].

Свойства европейской идентичности – референтность, гетерогенность и контекстуальность – определяют важнейшие направления политики европейской идентичности: (1) создание позитивной идентичности, т.е. производство узнаваемых и привлекательных образов европейскости, а также формирования чувства принадлежности к ЕС у его граждан; (2) обеспечение внутреннего единства за счет ослабления внутренних символических границ (в первую очередь национальных); (3) создание негативной идентичности за счет конструирования образов «чужих» [см.: Рябов, 2016 а, с. 60].

Что касается первого направления, то практики создания позитивной идентичности включают в себя, прежде всего, информирование о Европе и Европейском союзе, европейских ценностях. Как известно, первым официальным документом, признающим необходимость создания позитивной европейской идентичности, является «Декларация европейской идентичности», принятая девятью государствами – членами Европейских сообществ в 1973 г. [Declaration on European Identity, 1973]. основополагающие договоры ЕС – Маастрихтский (1993), Амстердамский (1997) и Лиссабонский (2007) – также перечисляют ценности и цели, стоящие

перед ЕС [см.: Бусыгина, 2012, с. 371]. Проблема европейских ценностей постоянно обсуждалась также в ходе дискуссий о кризисе «евро» [Shore, 2012], греческом долговом кризисе [Mylonas, 2012], противодействии терроризму [Huysmans, 2000] и проблеме беженцев [Agirdag, Phalet, Van Houtte, 2016]. Именно к европейским ценностям апеллировали европейские политики во время миграционного кризиса в 2015 г.: например, председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер в обращении к депутатам Европейского парламента подчеркивал, что защита беженцев является и защитой европейских ценностей [Juncker, 2015]. Представители евроскептической части политической элиты ЕС также обращались к теме защиты европейских ценностей, но уже в контексте защиты их от мигрантов [Hampshire, 2015; Postelnicescu, 2016].

Вторым направлением политики европейской идентичности является обеспечение внутреннего единства, солидарности его граждан за счет ослабления внутренних символических границ (в первую очередь национальных). Не случайно поэтому, что одной из важнейших форм укрепления европейской солидарности является борьба с европейскими национализмами. Показательно, что многие герои в политике европейской идентичности репрезентируются скорее как европейцы, нежели как представители своих народов. Например, Н. Коперник в различных культурных проектах, поддерживаемых ЕС, представляется в первую очередь как великий европейский (а не польский) астроном [Green, 2000]. Значимым инструментом для достижения цели европейской солидарности является политика памяти, с помощью которой производится отбор исторических событий, подчеркивающих естественность существующего политического порядка ЕС. Исторические события, ставящие его под сомнение, прежде всего мировые войны, получают новую интерпретацию, а события, разделяющие народы ЕС, такие как коллаборационизм, забываются [Шерпер, 2009; Полякова, 2015]. Укреплению солидарности служит и политика в области образования. Так, концепция франко-германского учебника истории 2006 г. заключается в том, чтобы школьники могли развивать историческое сознание без национальных шор [см. также: Korostelina, Lässig, 2013].

Третьим направлением политики европейской идентичности является производство негативной идентичности, создание образов внешних «чужих», проведение видимой, прочной и легитимной символической границы между «своими» и «чужими» [Рябов, Константинова, 2011]. В разные периоды становления ЕС значи-

мыми «чужими» для него выступали страны (США, Турция, Россия), идеологии (тоталитаризм) и конфессии (ислам).

Наиболее заметным примером включения антиамериканизма в политику идентичности ЕС стала реакция на войну в Ираке в 2003 г. 15 февраля во многих европейских столицах состоялись миллионные антивоенные демонстрации, а 31 мая этого же года в различных изданиях нескольких европейских стран были одновременно опубликованы манифесты, обращения, статьи интеллектуалов, размышлявших о европейской идентичности в контексте противопоставления американскому «другому» [Berman, 2004; O'Connor, Griffiths, 2007; Фадеева, 2012, с. 86].

В политике европейской идентичности используется и образ исламского, турецкого и арабского «другого», прежде всего представителями право-популистских партий [Bunzl, 2005; Mogeno, 2010; Бенедиктов, 2015; Haraszti, 2015]. Исламский «другой» выступает и как внешний «другой» (Турция), и как внутренний «другой» (такowymi стали беженцы из стран Ближнего Востока).

Заметим, что важнейшим «другим», поддерживающим идентичность современной Европы, является Россия, что уже было показано российскими и зарубежными исследователями [Neumann, 1999; Morozov, Rumelili, 2012; Рябов, 2016 а]. Россия изображается как страна, внутренняя и внешняя политика которой противоположна европейской политике и европейским ценностям. Этот прием служит для легитимации ЕС [Рябов, 2016, с. 90].

Формами политики европейской идентичности являются политика символов и политика памяти.

В конструировании европейской идентичности большое значение имеют символы, такие как гимн и флаг Европы, девиз ЕС «единство в многообразии», символика на евро [Clark, 1997; Bruter, 2003; Kaelberer, 2004; Fornas, 2012]. Обратим внимание на то, что отказ разделять символы европейской интеграции также может являться частью политики идентичности: польский кабинет министров, сформированный евроскептической партией «Закон и справедливость» в ноябре 2015 г., отказался устанавливать флаг ЕС на заседаниях правительства.

Как показал Э. Хобсбаум, праздники, ритуалы и общественные церемонии также создают возможность использовать «полезное прошлое» для легитимации политических сообществ [Хобсбаум, 2000]. Так, например, в политику европейской идентичности включаются День Европы (9 мая) и День памяти жертв сталинизма и нацизма (23 августа) [Sieg, 2017].

Другой формой европейской политики идентичности является политика памяти, предполагающая целенаправленную работу над интерпретацией коллективного прошлого, в ходе которой многие исторические факты переосмысливаются, реинтерпретируются, выдумываются или забываются [Поцелуев, 1999]. Исторический дискурс чрезвычайно важен для идентичности многих типов политических сообществ (прежде всего национального) [см.: Ачкасов, 2013; Малинова, 2015 и др.].

Среди значимых видов политики памяти, которые используются в политике европейской идентичности, следует особо отметить: (а) установку и демонтаж памятников (возведение памятников «великим европейцам» и снос памятников советским солдатам) [Kaelble, 2009; Rumford, 2012; Рябов, 2016 b, с. 93]; (б) определение стандартов образования в области исторической науки, создание учебника «История Европы» [Лееув-Роорд вон дер, 1997]; (в) открытие музеев, например Музея Европы в Брюсселе, в концепцию которого были заложены укрепление европейской идентичности и интеграция европейской истории [Kohli, 2000; Badenoch, Fickers, 2010;]; (г) создание исследовательских исторических институтов, открыто позиционирующих себя в качестве борцов с тоталитарной фальсификацией истории и защитников европейской демократии (например, Платформа европейской памяти и совести) [Gledhill, 2011; Clarke, 2014; Mälksoo, 2014]. Прошлое также может реинтерпретироваться с помощью политики символов. Так, активное привлечение в дискурс о европейскости символа «русского медведя» помогает ассоциировать современную Россию с теми историческими периодами, во время которых происходили конфликты с теми или иным европейскими странами, – например, с образом «империи зла» периода холодной войны [Riabov, Lazari de, 2009].

Подведем итоги. Европейская идентичность формируется в том числе в результате политики идентичности, проводимой европейскими и национальными политическими институтами. Политика европейской идентичности, являясь видом символической политики, проводится в трех направлениях: 1) производство позитивного образа «своих»; 2) ослабление внутренних символических границ (прежде всего национальных); 3) конструирование негативного образа «чужих». Основными формами политики европейской идентичности являются политика символов (использование

европейских символов, праздников, ритуалов) и политика памяти (установка и демонтаж памятников, создание учебников европейской истории, открытие музеев, создание «институтов памяти»).

Литература

- Ачкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения проблемы безопасности. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. – 230 с.
- Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2013. – Т. 16, № 4 (69). – С. 106–123.
- Бенедиктов К. Политическая биография Марин Ле Пен. Возвращение Жанны д'Арк. – М.: Книжный мир, 2015. – 336 с.
- Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. – М.: Деловая литература, 2003. – 463 с.
- Бусыгина И.М. Региональная интеграция в современном мире // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв. ред. И.С. Семенов. – С. 365–386.
- Курнаева Н.А., Рябов О.В. «Гусары денег не берут»: Свои и Чужие в гендерном дискурсе коллективной идентичности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – М., 2006. – № 518. – С. 239–246.
- Лееув-Роорд вон дер Й. История России в зарубежных учебниках // Метаморфозы Истории. – Псков, 1997. – № 1. – С. 261–266.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2010. – № 1. – С. 5–29.
- Миненков Г.Я. Политика идентичности с точки зрения современной социальной теории // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2005. – № 3. – С. 21–38.
- Полякова Н. Политика памяти в современной Франции: между коллаборационизмом и сопротивлением // Политическая наука перед вызовами современной политики: Материалы VII Всероссийского конгресса политологов, Москва, 19–21 ноября 2015 г. / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунува, Л.Н. Тимофеевой. – М.: Аспект-Пресс, 2015. – С. 469–471.
- Поцелуев С.П. Символическая политика: Конstellация понятий для подхода к проблеме // Полис. Политические исследования. – М., 1999. – № 5. – С. 62–75.
- Рябов Д.О. Образ России в политике европейской идентичности ЕС: Дис. ... канд. полит. наук. – СПб., 2016 а. – 173 с.
- Рябов Д.О. Образ России в политике европейской идентичности: Случай «еврооптимистов» // Лабиринт: Журнал социально-гуманитарных исследований. – Иваново, 2016 б. – № 3–4. – С. 86–102.

- Рябов Д.О. Россия как «другая Европа» в дискурсе европейских правых популистских партий // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2014. – Т. 10, № 3. – С. 136–144.
- Рябов О.В., Константинова М.А. «Русский медведь» как символический пограничник // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. – Петрозаводск, 2011. – Т. 2, № 6. – С. 114–123.
- Семененко И.С. Политика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 162–168.
- Сукало С.А. Символическая политика как технология культурного контроля массового сознания // Вестник СПбГУКИ. – СПб., 2014. – № 3 (20). – С. 6–9.
- Фадеева Л.А. Политика идентичности: акторы, стратегии, дискурсы // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 72–98.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. – М., 2000. – № 1. – С. 47–62.
- Цумарова Е.Ю. Политика идентичности в регионах России: теоретический и практический аспекты (на примере республики Карелия). – Дис. ... канд. полит. наук. – СПб., 2014. – 157 с.
- Цумарова Е.Ю. Политика идентичности: politics или policy? // Вестник Пермского Университета. Серия «Политология». – Пермь, 2012. – № 2. – С. 5–16.
- Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти // Pro et Contra. – М., 2009. – Т. 13, № 3–4. – С. 89–96.
- Agirdag O., Phalet K., Van Houtte M. European identity as a unifying category: National vs. European identification among native and immigrant pupils // European Union politics. – Konstanz, 2016. – Vol. 17, N 2. – P. 285–302.
- Badenoch A., Fickers A. Introduction Europe materializing? Toward a transnational history of european infrastructures // Materializing Europe / Ed. by A. Badenoch, A. Fickers. – L.: Palgrave Macmillan UK, 2010. – P. 1–23.
- Berman R.A. Anti-Americanism in Europe: A cultural problem. – Stanford: Hoover Institution press, 2004. – 186 p.
- Bruter M. Winning hearts and minds for Europe: The impact of news and symbols on civic and cultural European Identity // Comparative political studies. – Beverly Hills, 2003. – Vol. 36, N 10. – P. 1148–1179.
- Bruter M. Civic and cultural components of a European identity: A pilot model of measurement of citizens' levels of European identity // Transnational identities: becoming European in the EU / Eds. R.K. Herrmann, T. Risse, M.B. Brewer. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004. – P. 186–213.
- Bunzl M. Between anti-semitism and islamophobia: Some thoughts on the new Europe // American ethnologist. – Washington, 2005. – Vol. 32, N 4. – P. 499–508.
- Calhoun C. The virtues of inconsistency: Identity and plurality in the conceptualization of Europe // Constructing Europe's Identity: The external dimension / Ed. by L.E. Cedermann. – Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2001. – P. 35–56.

- Cedermann L.E. Political boundaries and identity trade-offs // *Constructing Europe's identity: The external dimension* / Ed. by L.E. Cedermann. – Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2001. – P. 1–32.
- Clark C. Forging identity: Beethoven's «Ode» as European anthem // *Critical inquiry*. – Chicago, 1997. – Vol. 23, N 4. – P. 789–807.
- Clarke D. Communism and memory politics in the European Union // *Central Europe*. – L., 2014. – Vol. 12, N 1. – P. 99–114.
- Declaration on European identity // *Bulletin of the European Communities*. – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. «Declaration on European Identity, 1973. – N 12. – P. 118–122. – Mode of access: http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/publishable_en.pdf (Accessed: 06.03.2017.)
- European identity / Ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2009. – 265 p.
- Euro scepticism: Party politics, national identity and European integration / Ed. by R. Harmsen, M. Spiering. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi B.V., 2004. – 290 p.
- Fornas J. Signifying Europe. – Bristol; Chicago: Intellect Books, 2012. – 384 p.
- Gledhill J. Integrating the past: Regional integration and historical reckoning in Central and Eastern Europe // *Nationalities papers*. – Levittown, Pa., 2011. – Vol. 39, N 4. – P. 481–506.
- Green D. The end of identity? The implications of postmodernity for political identification // *Nationalism and ethnic politics*. – L., 2000. – Vol. 6, N 3. – P. 68–90.
- Hampshire J. Europe's migration crisis // *Political insight*. – L., 2015. – Vol. 6, N 3. – P. 8–11.
- Haraszi M. Behind Viktor Orbán's War on refugees in Hungary // *New perspectives quarterly*. – Santa Barbara, 2015. – Vol. 32, N 4. – P. 37–40.
- Hedetoft U. On Nationalisers and Europeanisers in contemporary Europe – an introduction // *Political symbols, symbolic politics: European identities in transformation* / Ed. by U. Hedetoft. – Aldershot: Ashgate, 1998. – P. 1–19.
- Huysmans J. The European Union and the securitization of migration // *Journal of common market studies*. – Oxford, 2000. – Vol. 38, N 5. – P. 751–777.
- Jenkins R. Social identity. – N.Y.: Routledge, 2014. – 264 p.
- Juncker J.-C. State of the Union 2015: Time for honesty, unity and solidarity. – Strasbourg, 2015. – 9 September. – Mode of access: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm (Accessed: 10.01.2017.)
- Kaelberer M. The euro and European identity: Symbols, power and the politics of European monetary union // *Review of international studies*. – Cambridge, 2004. – Vol. 30, N 2. – P. 161–178.
- Kaelble H. Identification with Europe and politicization of the EU since the 1980 s // *European identity* / Ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2009. – P. 193–212.
- Kohli M. The battlegrounds of European identity // *European societies*. – L., 2000. – Vol. 2, N 2. – P. 113–137.
- Kopecký P., Mudde C. The two sides of Euro scepticism: Party positions on European integration in East Central Europe // *European Union politics*. – Konstanz, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 297–326.

- Korostelina K.V., Lässig S. History education and post-conflict reconciliation: Reconsidering joint textbook projects. – N.Y.: Routledge, 2013. – 272 p.
- Mälksoo M. Criminalizing Communism: Transnational mnemopolitics in Europe // International political sociology. – Malden, 2014. – Vol. 8, N 1. – P. 82–99.
- Mapping EU attitudes: Conceptual and empirical dimensions of Euroscepticism and EU support / Boomgaarden H.G., Schuck A.R.T., Elenbaas M., Vreese de C.H. // European Union politics. – Konstanz, 2011. – Vol. 12, N 2. – P. 241–266.
- Moreno L. Fearing the future: Islamophobia in Central Europe // New presence. – Prague, 2010. – N 4. – P. 73–80.
- Morozov V., Rumelili B. The external constitution of European identity: Russia and Turkey as Europe-makers // Cooperation and conflict. – L., 2012. – Vol. 47, N 1. – P. 28–48.
- Mylonas Y. Media and the economic crisis of the EU: The ‘culturalization’ of a systemic crisis and bild-zeitung’s framing of Greece // Journal for a global sustainable information society. – L., 2012. – Vol. 10, N 2. – P. 646–671.
- Neumann I.B. Uses of the Other: «The East» in European identity formation. – Manchester: Manchester univ. press, 1999. – 308 p.
- O’Connor B., Griffiths M. The rise of anti-Americanism. – N.Y.: Routledge, 2007. – 240 p.
- Pagden A. Europe: Conceptualizing a continent // The idea of Europe from antiquity to the European Union / Ed. by A. Pagden. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2002. – P. 33–54.
- Postelnicescu C. Europe’s new identity: The refugee crisis and the rise of nationalism // European journal of psychology. – Bucharest, 2016. – Vol. 12, N 2. – P. 203–209.
- Riabov O., Lazari de A. Misha and the Bear: The bear metaphor for Russia in representations of the «five-day war» // Russian politics and law. – Armonk, 2009. – Vol. 47, N 5. – P. 26–39.
- Rumford C. Towards a multiperspectival study of borders // Geopolitics. – L., 2012. – Vol. 17, N 4. – P. 887–902.
- Sassatelli M. Becoming Europeans. Cultural identity and cultural policies. – Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2009. – 233 p.
- Shore C. The euro crisis and European citizenship: The euro 2001–2012 – celebration or commemoration? // Anthropology today. – L., 2012. – Vol. 28, N 2. – P. 5–9.
- Sieg C. Beyond foundational myths: Images from the margins of the European memory map // The changing place of Europe in global memory cultures: Usable pasts and futures / Ed. by C. Kraenzle, M. Mayr. – Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan: Springer International Publishing AG, 2016. – P. 137–157.
- Smith A.D. National identity. – Reno: Univ. of Nevada press, 1991. – 226 p.
- Standard Eurobarometer 83. – 2015. – May. – 88 p. – Mode of access: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_en.htm (Accessed: 06.03.2017.)
- Vries de C.E., Edwards E.E. Taking Europe to its extremes extremist parties and public Euroscepticism // Party politics. – L., 2009. – Vol. 15, N 1. – P. 5–28.

С.В. Акопов*

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДИВИДА:
АКТУАЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
«ВЕСТФАЛЬСКОГО ПАРАДОКСА»¹**

Аннотация. В статье обобщается теоретический и практический опыт конструирования транснациональной идентичности. В аналитического рамках обзора литературы особое внимание уделяется двум темам. Первая часть статьи дает краткий экскурс в историю зарождения понятия «транснациональное», а также описание факторов, актуализирующих транснациональную модель идентификации в современном мире. Вторая часть статьи нацелена на раскрытие транснациональной модели в контексте проблем «Вестфальского парадокса» и асимметрично протекающей глобализации.

Ключевые слова: транснационализм; идентичность; транснациональная идентификация; Вестфальский парадокс.

S. V. Akopov

**The transnational model of self-identification:
The relevance under in the context of the «Westphalian paradox»**

Annotation. The article summarizes theoretical and practical aspects of the phenomenon of a transnational identity. Our analytical framework focuses on two themes. The first part of the article gives a brief history of the concept of «transnational», as

* **Акопов Сергей Владимирович**, доктор политических наук, доцент, профессор департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, e-mail: sergakopov@gmail.com;

Акопов Sergei, Higher School of Economics (Saint-Petersburg, Russia), e-mail: sergakopov@gmail.com

¹ Автор пользуется этой возможностью, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимую помощь в разработке концепции транснациональной идентификации О.Ю. Малиновой.

well as a description of factors that actualize transnational model of self-identification in the modern world. The second part of the article focuses on transnational model in the context of «the paradox of Westphalia» and asymmetrical globalization.

Keywords: transnationalism; identity; transnational identity; the paradox of Westphalia.

I

Данная статья представляет собой аналитический обзор литературы, обобщающий теоретический и практический опыт конструирования транснациональной идентичности. Данная проблема становится особенно актуальной в той мере, в какой нациецентричная политическая картина мира перестает быть в полной мере адекватной меняющимся социально-политическим практикам в эпоху глобализации. Во-первых, это связано с возрастанием роли негосударственных акторов, во-вторых – с усилением миграционных потоков и повышением роли диаспор, в-третьих – с развитием Интернета, который раздвигает национальные рамки коммуникации, в-четвертых – с интернационализацией высшего образования и др. Эти и другие обстоятельства побуждают подвергнуть пересмотру картину мира, сложившуюся на основе идеи нации. Такая постановка вопроса опирается на значительный массив зарубежной и отечественной литературы, проблематизирующей нациецентричную картину мира и рассматривающей транснациональную идентификацию в качестве одной из возможных альтернатив национальной.

С исторической точки зрения следует отметить, что понятие «транснациональность» было введено в научный оборот американским интеллектуалом, писателем и журналистом Р. Борном в 1916 г. в работе «Транснациональная Америка» [Bourne, 1992, p. 260]. Это понятие зародилось как некоторый компромисс между патриотизмом и культурным плюрализмом, между национализмом и пацифизмом на фоне практических трудностей ассимиляции и интеграции мигрантов в США в начале XX в. В дальнейшем, вплоть до 1950-х годов формулировка «транснациональные отношения» еще долго использовалась как синоним понятия «международные отношения». Идеи таких ученых, как Р. Борн, Дж. Най и Р. Кеохэйн, С. Вертовек, Л. Приес, можно рассматривать в качестве интеллектуальных предпосылок для кристаллизации транснациональной идентификации в качестве модели, принципиальным образом отличающейся от национальной, цивилизационной и кос-

мополитической. Связь между концепцией Борна и работами Дж. Ная и Р. Кеохэйна отчетливо видна из их определения «транснациональных взаимодействий» в качестве понятия, используемого «для описания перемещения материальных или нематериальных объектов через государственные границы, когда хотя бы один из акторов *не является представителем государственной или межгосударственной организации*¹» [Nye, Keohane, 1971, p. 332]. Таким образом, по мысли Ная и Кеохэйна, *транснациональное отличается от межгосударственного* тем, что в первом случае хотя бы один из партнеров взаимодействия *вообще не является государственным актором*.

Крупный современный исследователь, в прошлом профессор транснациональной антропологии Оксфордского университета С. Вертовек указал на несколько не разрешенных до конца теоретических проблем, важных для исследования взаимоотношений «транснационального» и «государственного». Во-первых, это злоупотребление термином «транснациональный», который часто заменяется прилагательными «интернациональный», «глобальный», «мультинациональный» или «диаспорический». Другая проблема, по мнению С. Вертовека, – смешение понятий «транснациональное», «трансгосударственное» и «транслокальное». Третья проблема – конструирование мнимой дихотомии между «транснациональным» и «мультикультурным» или «транснациональным» и «ассимиляционистским» (в то время как эти явления скорее взаимосвязаны, чем находятся в оппозиции друг к другу) [Vertovec, 2009, p. 3]. С. Вертовек также исследовал различия между *интернациональным* и *транснациональным*. Под «интернациональным» он понимает взаимодействия, соединяющие людей или институты несмотря на границы, но *на уровне государств*. Под «транснациональным» Вертовек понимает такое же взаимодействие, но уже между *негосударственными* акторами. Речь идет о представителях бизнеса и НКО, о сообществах по интересам, объединенных общим религиозным, культурным или географическим происхождением. Подобные группы и практики людей С. Вертовек предлагает называть «транснациональными» [ibid.]. Это совпадает с разделением, введенным Д. Наем и Р. Кеохэйном.

Оригинальный подход к теоретизации «транснационального» предложил немецкий ученый из Университета Бохума профессор Л. Приес. В своих работах Л. Приес особое внимание уделяет

¹ Здесь и далее курсив мой. – С. А.

необходимости выработки новых концептуальных оснований транснациональных исследований, а именно методологии единиц анализа, сравнения и измерения «транснационализма». Старая метафора государств, воображаемых в виде своеобразных «контейнеров»¹, к анализу транснациональных сообществ, на его взгляд, применена быть *не может*. Это обусловлено качественными особенностями подобных транснациональных коллективных образований. Скорее здесь, по мнению Приеса, подходит *образ* проходящих сквозь границы трансгрессивных *сетей* или даже *цепочек сетей* (*networks of networks*) [Pries, 2008, p. 6].

На основе обзора литературы на сегодняшний день можно выделить ряд факторов, актуализирующих транснациональную модель идентификации в современном мире.

«*Жизнь в сетевом обществе*». Сегодня в литературе человеческая жизнь часто описывается в качестве инвестированной в сеть проектов (в сеть социальных отношений), в рамках которых протекают человеческое существование и становление, пульсируя и временно оживая от «проекта» к новому «проекту». Такая «сетевая жизнь» может быть признаком транснациональной идентификации: «В ретикулярном мире, – отмечают французские социологи Л. Болтански и И. Кьяпелло, – социальная жизнь сплетается из сети встреч и знакомств, из временных, но постоянно готовых возобновиться связей с различными группами, причем этим связям не мешает дистанция – социальная, профессиональная, географическая, культурная... “Проект” – вот удобный случай и повод для установления таких связей» [Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 199–200].

Включенность в информационную глобальную экономику. Транснациональная идентификация присуща индивидам, способным откликнуться на вызовы новой, глобальной по своему характеру информационно-технологической революции. Как отмечал М. Кастельс, если прежние технологические революции надолго оставались на ограниченной территории, то новые информационные технологии почти мгновенно охватывают пространство всей планеты. По мнению испанского социолога, есть тесная связь между информационной и глобальной экономикой, ибо «в новых исторических условиях достижение определенного уровня производительности и существование конкуренции возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети» [Кастельс, 2000, с. 81]. При этом Кастельс подчеркива-

¹ Так Л. Приес метафорически определяет общепринятые принципы исследования национальных государств или даже межгосударственных образований.

ет, что сетевое сообщество создается сетями производства, власти и опыта, которые в глобальных потоках, пересекающих время и пространство, образуют принципиально новую культуру виртуальности [Кастельс, 2000, с. 496].

Европейский локальный космополитизм. Составная политическая идентификация всегда выражается в исторических примерах и тем самым способствует наполнению транснациональной модели конкретными национальными составляющими. Эти составляющие могут быть рядоположенными, но могут и соединять феномены разноуровневого содержания. Исследования, проведенные в Каталонии и Шотландии, позволили Л. Морено описать такое явление, как «европейский локальный космополитизм»¹. Наднациональные структуры ЕС, по мнению Морено, усилили наднациональные идентичности. «Процесс наднационализации снизу и децентрализации сверху, – пишет испанский исследователь, – позволили значительно расширяться так называемому “локальному космополитизму”. Это находит отражение в социальных интересах направленных одновременно и на развитие чувства локального сообщества, и на участие в международном контексте. Таким образом, – делает вывод Морено, – повышается согласованность между частным и общим» [Moreno, 2006, p. 8–9].

Би(мульти)лингвизм. Транснациональная идентификация развивается параллельно с наблюдающимся ростом метисации (мисгенации) супружеских пар и культурной креолизации. Внешне это часто выражается в росте билингвизма и мультилингвизма. Билингвизм модифицирует такие общие основания идентификации индивида, как представление о значимом «другом» (которое у билингва не совпадает с представлением о другом у индивида, владеющего только одним языком). То же самое прослеживается на уровне привязки к национальной (в случае с билингвом – двумя национальными) территориями, а также на уровне коллективной памяти нации (в случае билингва – коллективных памятей двух разных наций).

Интенсификация взаимодействия негосударственных акторов. В 1970-е годы транснационализм был связан в основном с описанием экономических отношений между транснациональными корпорациями (работы Д. Ная и Р. Кеохэйна). Однако к концу 1990-х годов концепция транснационализма была распространена на практики неправительственных организаций и транснациональ-

¹Представляется, что более благозвучно было бы переводить термин «*cosmopolitan localism*» как «*локальный космополитизм*».

ных «сетей продвижения интересов», связанных общими ценностями, дискурсом и обменом информацией между единомышленниками [см.: Keck, Sikkink, 1999]. По мнению Вэйленд, сегодня следует различать этнографический и политологический подходы к природе транснационального. Этнографы (и социологи) рассматривали индивидов, практикующих частые трансграничные контакты с родственниками за рубежом. Политологи же определяют транснационализм иначе: они «используют этот термин для *описания практик или учреждений, которые функционируют ниже уровня государств, но чья деятельность выходит за рамки национальных границ*» [Wayland, 2006, p. 18].

Виртуализация политического пространства в форме индивидуальных ментальных карт. Современный индивид нередко соотносит себя с разными культурами и сообществами. Несмотря на то что физически он может присутствовать преимущественно на территории одного сообщества, вторая часть его идентификации на уровне воображения протекает и реализуется в рамках виртуального пространства. Что является основанием для подобной виртуальной идентификации современного индивида? Можно считать, что в качестве таких оснований выступают виртуальные сети коммуникации, расширение доступа к потокам информации, повествующей о разных образах жизни людей в разных сообществах, большая транспортная доступность, снижение ряда визовых ограничений. Одновременно с этим у индивида возникает ощущение большего выбора. Тоталитарным режимам XX в. было относительно не сложно удерживать граждан за «железным занавесом» национальных границ. Однако в конце XX в. ситуация изменилась: теперь национальные правительства все чаще вынуждены конкурировать за привлечение квалифицированных специалистов для работы в своих странах. Это часто делается с помощью новейших информационных технологий, повышения привлекательности и политического брэндинга страны. В условиях информационных «войн за воображение» последнее подвергается изощренной манипуляции. Одновременно с этим многие люди осознают, что в условиях относительной прозрачности границ уже не столько от государств, сколько, прежде всего, от них самих (и от их сетевых взаимодействий) зависит, как выстраивать свои траектории развития в глобальном мире. Например, на виртуализацию пространства и появление принципиально нового типа социальности указывает И.С. Семененко. Она пишет о новых навыках, необходимых индивидам для межличностного сотрудничества в условиях постиндустриальной экономики и «изменения пространственно-временных коор-

динат жизни современного человека, “ускорения времени” и виртуализации пространства взаимодействия, в условиях высокой мобильности и сокращения значимости коротких социальных связей» [Семененко, 2009, с. 178]. «*Infomodernity*» – именно этим неологизмом исследователи В.В. Лапкин и И.С. Семененко обозначили свое представление о новой социальной реальности, организованной через интерактивные сетевые формы виртуального общения, где выявляется тенденция индивидуализации политики как возможная альтернатива «бегству» человека из мира политического [Лапкин, Семененко, 2013, с. 64].

Общение в Интернете. На эмпирическом уровне формированию транснациональной субъектности активно способствует новая виртуальная кибернетическая реальность Интернета. Развитие транснациональной идентификации можно связать с активно развивающейся сферой так называемого «цифрового человечества». В западной литературе к таковому, как правило, относят индивидов, родившихся после 1982 г., чье взросление совпало с всеобщей компьютеризацией и развитием социальных сетей. Во Франции это поколение иногда называют «*les natifs numériques*» («рожденные в цифре»), в США – «*generation Y*»¹. В результате развития Интернета в современном мире быстро возрастает численность группы людей транснациональной принадлежности. Транснациональность (не только в Западной Европе и Северной Америке, но и в странах БРИКС) оказывается тесно связана с поколением, растущим в эпоху развития компьютерных технологий. Ведь, например, свои «маленькие» онлайн-России есть в Нью-Йорке и Сан-Франциско, в Париже и Берлине, в Тель-Авиве и Лондоне. Можно предположить, что меняется сама природа национальной и политической идентификации людей. Принцип национальной территориальности часто заменяется принципом политерриториальности, порождающим транснациональное социальное пространство. В него выходит в том числе и новое поколение «рожденных в цифре». В Интернете ограничения, налагаемые географией на социальное и культурное устройство, ослабевают, и главное – что люди это осознают.

¹ Подробный анализ литературы на эту тему см.: [Акопов, 2013].

II

Как было показано в первой части статьи, транснациональная идентификация оформляется на базе ряда социальных условий и процессов, а именно: становление сетевого общества; формирование «информациональной» и «глобальной» экономики нового типа; расширение мультилингвизма; развитие составной политической идентификации; процесс «интернетизации» населения¹. Во второй части статьи мы попытаемся ответить на вопрос: что делает транснациональную модель идентификации актуальной для ряда индивидов в контексте проблем «Вестфальского парадокса» и асимметрично протекающей глобализации?

На протяжении XX в. статус индивида значительно эволюционировал, и сегодня у многих оказалось гораздо больше автономии от государства. В поствестфальской международной системе, указывает исследовательница К. де Вейден, это проявляется в признании на уровне ряда государств более гибких моделей гражданства, права на передвижения индивида в поиске работы, отстаивания в некоторых случаях своего права на миграцию и др. Политическая картина мира индивида в эпоху глобализации в ряде случаев выходит из того самого измерения «политического», в недрах которого родилась известная фраза Людовика XIV «Государство – это я» [Wenden, 2009, p. 107, 105]. Как подчеркивал в своей книге Дж. Розенау, сегодня государства в системе глобальной политики иногда уступают место сетевым взаимодействиям конкретных индивидов – путешественников, преподавателей, иммигрантов, космополитов, глав бизнес-корпораций, политиков и даже террористов (всего ученый выделил 17 категорий таких индивидов) [см.: Rosenau, 2008]. Согласно концепции Розенау межличностные транснациональные сети единомышленников (в том числе и в форме диаспор) [Rosenau, 1997, p. 135–136] не являются носителями традиционных форм суверенитета (англ. *sovereignty-free actors*). Последнее связано с тем, что само управление (*governance*) не обязательно требует иерархии в форме государственной власти или правительства (*government*). Описываемые Розенау автономные сообщества способны поддерживаться и в условиях отсутствия юридической или политической власти. Управление ими требует лишь общественного консенсуса относительно правил и ценностей в рамках «сферы власти, автономной от государства» [ibid.].

¹ Подробнее об авторской концепцией транснациональной идентификации см.: [Акопов, 2015; Акоров, 2012].

Отталкиваясь от идей Дж. Розенау, но уже в рамках собственной концепции аналогичную логику развивают специалисты в области теории мировой политики Й. Фергюсон и Р. Мансбах. Идея о том, что индивиды могут участвовать в глобальной политике напрямую – либо в одиночку, либо, например, через некоммерческие организации, – но без посредничества «своего» национального государства, близка их конструктивистскому подходу. С точки зрения этих исследователей, в настоящий момент нет единственного заместителя Вестфальского государства и нет института, который мог бы требовать подчинения или лояльности, распространяющейся на всех индивидов. Сегодня на месте Вестфальской системы мы скорее имеем самые разные инстанции, претендующие на подчинение индивидов. Такие инстанции конкурируют между собой. Более того, есть индивиды, в поисках руководства или вознаграждения обращающиеся к множеству разных институтов [Ferguson, Mansbach, 2004, p. 23–24].

Еще до работы Фергюсона и Мансбаха в философии международных отношений наметился переход на позиции интеллектуальной рефлексии над посылкой государствоцентричной модели мира. Исследователи отмечают, что на место традиционной *геополитики* в ряде случаев приходит *глобальная политика*, учитывающая роль негосударственных акторов, размывающих традиционную Вестфальскую систему [Лебедева, 2000, с. 11]. В условиях эрозии просуществовавшей более 350 лет Вестфальской модели мы сталкиваемся с так называемым «*Вестфальским парадоксом*»: частичная утрата государственного суверенитета и стремление к его сохранению имеют место параллельно, что выливается в новые стратегии регионализма в Европе [см., напр.: Бусыгина, 2003].

Вместе с тем идея о том, что индивиды могут (более или менее осознанно) не только соотносить себя с национальным государством, но и выбирать объекты идентификации и лояльности более высоких уровней находит свое развитие в работах, посвященных проблематике государственного суверенитета, стэнфордского профессора С. Краснера. Одна из главных идей «неореалиста» Краснера, по его собственному признанию, заключается в том, что такие традиционные признаки суверенитета национальных государств, как территория, автономия, признание и контроль, в историях всех государств, созданных после распада Оттоманской империи и Первой мировой войны, постоянно ограничивались, в частности ради защиты интересов меньшинств и прав человека, а также в целях обеспечения международной стабильности [Krasner,

1999, p. 237]. Самим названием своей книги Краснер утверждает, что претензия национальных государств на суверенность – не более чем «организованное лицемерие».

Продолжая исследование «мнимости» государственного суверенитета, начатое Краснером, И. Фергюсон и Р. Мансбах указывают, что концепция суверенитета опирается на череду мифов: государство якобы обладает монополией на насилие и полностью контролирует свою территорию; оно формирует якобы непроницаемые границы. Мифический характер носит и предполагаемое равенство суверенных государств. В действительности с самого начала суверенитет был скорее желаемым, нежели действительным состоянием. Вестфальское государство – не более чем случайный продукт места и времени. Вестфальская система никогда не обладала полной монополией над политическим пространством¹.

Американские исследователи Й. Фергюсон и Р. Майнсбах анализируют постепенное появление постинтернационального мира в противоположность уходящему интернациональному миру. Последний, на их взгляд, универсализировал и преувеличивал поствестфальский опыт Европы, в частности претензии национальных государств на эксклюзивные права в отношении территории и подданных / граждан в пределах своих границ [Ferguson, Mansbach, 2004, p. 114, 120]. Таким образом, по мнению Фергюсона и Мансбаха, межгосударственная модель глобальной политики всегда была не вполне адекватна, но сегодня она значительно искажает реальную картину. Современные государства – лишь один из множества коллективных акторов наряду с бюрократическими союзами, транснациональными организациями, сетями фирм, глобальными городами, социальными движениями и др. По мере того как неправительственные организации начинают действовать в рамках глобальной повестки дня, они также становятся самостоятельными акторами, легитимность которых опирается на экспертное знание, инновационные политические технологии и др. В результате Фергюсон и Мансбах предлагают концепцию постнационального мышления: национальное государство «не было на протяжении истории для большинства граждан главным символом их идентификации и лояльности. Домом всегда было то место, где находилось их сердце. И прелесть глобализующейся современности (при всех ее рисках и неопределенностях) заключается в том,

¹ Авторский перевод английского выражения «was never the only game in the town» [Ferguson, Mansbach, 2004, p. 108].

что у человечества появляется гораздо больше возможностей, и есть высокая вероятность, что оно ими воспользуется» [Ferguson, Mansbach, 2004, p. 180].

Работы Розенау, Краснера, Фергюсона и Мансбаха показывают, что, помимо национального, есть основания для воображения других уровней политических сообществ и здесь есть перспективы для разработки идеи транснациональной идентификации. Однако в эпоху асимметричной глобализации и культурной фрагментации обостряется такое явление, как кризис идентичности. Здесь можно воспользоваться метафорой В.М. Межуева, писавшего о кризисе самосознания как наиболее распространенном духовном недуге современного человека, попавшего в ситуацию культурного плюрализма и релятивизма: «...перед ним как бы “зеркало”, разбившееся на многие осколки, и ни в одном из них он не находит собственного отражения» [Межуев, 2012, с. 25].

Асимметричное размывание глобализацией национального суверенитета, проблематизация нациецентричной модели идентификации и снижение лояльности ей со стороны индивидов влекут за собой проблему, которую метафорически определила С. Стрэндж как «*проблему Пиноккио*». «Нити, связывающие каждого из нас с национальным государством, – подчеркивает английская исследовательница, – мне напоминают нити, прикрепленные к мальчику Пиноккио, делающие его игрушкой в руках тех сил, которые он не мог ни контролировать, ни как-то влиять на них» [Strange, 1996, p. 199]. Сложность заключается в том, что когда Пиноккио наконец превратили из деревянной игрушки в настоящего мальчика, ему пришлось самому решать, чьего авторитета слушаться, а чьему сопротивляться. Схожая проблема возникает сегодня и перед нами. Бывший президент ассоциации международных исследований Великобритании задается вопросом: куда простираются наши верноподданность, лояльность, идентичность? Иногда – в сторону национального государства. Однако в других случаях они могут быть связаны с транснациональным концерном или социальным движением, функционирующем поверх территориальных границ. В мире множественности и фрагментированности авторитета каждый из нас разделяет проблему Пиноккио. И наши единственные проводники – наш внутренний голос и чувство совести [ibid.].

«Проблема Пиноккио» особенно актуальна для потенциальных представителей новой транснациональной субъектности, в числе которых можно выделить три группы: транснациональные мигранты (трансмигранты); современные «глобальные кочевники» и «трансна-

циональные интеллектуалы». На наш взгляд, эти три группы субъектов наделены характеристиками *транснациональной* политической культуры, под которой понимается система порождения, отбора, воспроизводства и трансляции транснационального политического опыта и идентификации. В то же время *политическими агентами, продвигающими* транснациональную модель идентификации, могут выступать разнообразные негосударственные акторы мировой политики: сетевые университеты, глобальные СМИ, компании интернет-индустрии и разработчики интернет-проектов, ТНК в области логистики, международные молодежные организации, экологические НПО, глобальные города и др. [Лебедева, 2013, с. 11].

Дальнейшее исследование транснационального в современной политической культуре предполагает выявление новых характеристик субъектности, вписанных в транснациональные социальные пространства (которые, как правило, носят менее иерархический, но более сетевой характер) с присущими им транснациональными практиками и символическими системами. Иначе говоря, транснациональная модель – это модель не для всех, а для носителей специфического опыта, практик и политического сознания.

В условиях неравномерного распространения глобализации важной проблемой для будущих исследований остается соотнесение транснациональной модели идентичности и концепции множественной модерности П. Вагнера. Последний связывает фундаментальный признак модерности именно с идеей о том, что мы сами конструируем нашу социальную идентичность. Причем именно расширение возможностей по конструированию идентичностей выступает у него отличительной чертой разных конфигураций модерности [Wagner, 1994, p. 157]. Ученый также проводит связь между проблематикой множественной модерности и темой освобождения (*liberation*), достижением автономии индивида, его правом и способностью свободно противопоставлять себя разным значимым «другим», с тем, что его идентичности могут меняться, а обязательства в отношении других – быть множественными и относительными [ibid., p. 186]. Другим аспектом транснациональной идентификации может быть возможность того, что исследовательница из университета Барселоны Н. Караганис назвала формированием множественных солидарностей как шага к успешному конструированию общего мира (*successful world-making*) [Karagiannis, 2001, p. 154]. В этом смысле транснациональная модель идентификации индивида является альтернативой распространенному пониманию транснационализма как идеологии, идеализирующей для своих

сторонников – триумф, а для своих противников – опасность глобального либерализма транснациональных корпораций.

Модель транснациональной идентификации, рассмотренная в настоящей статье, представляется нам не столько как альтернатива национальной модели, сколько в качестве надстройки над несколькими национальными моделями и макрополитическими сообществами. Причем «над» в данном случае не следует понимать буквально, например в смысле *над*национальных институтов. Речь идет о надстройке над национальными идентификациями именно на уровне отдельных индивидов. Тогда «сакральность» транснациональной коллективной памяти может питаться из «национальных» источников, но их соприкосновение и стыковка будут происходить на *микроуровне*. Поскольку у различных индивидов транснациональная идентификация на микроуровне будет сопрягаться с разными макрополитическими сообществами, то в своей совокупности это может сформировать особую политическую ткань из различных солидарностей – органическую сеть, в которую могут сплетаться индивидуальные лояльности самым разным сообществам и государствам. При сохранении потенциала «сакральности» нации транснациональная модель может лишиться первую важных оснований для милитаризации масс в направлении формирования образа политического «врага»¹.

Вероятнее всего, что транснациональная идентификация не сможет стать решением проблемы «кризиса идентичности» для крупных политических сообществ. Однако теоретическая разработка такой формы идентификации может оказаться актуальной для жизненных стратегий отдельных индивидов, которым приходится жить в рамках политического порядка, сложившегося в эпоху Модерна, несмотря на то что практики индивидов в глобальном и сильно фрагментированном мире уже вышли за пределы национальных границ.

Литература

- Акопов С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). – СПб.: Алетейя, 2015. – 296 с.
- Акопов С.В., Прошина Е.М. Неоконченное приключение образа «врага»: от теории «секьюритизации» до «далеких местных» // Власть. – М., 2011. – № 1. – С. 89–92.

¹ Подробнее об этом см.: [Акопов, 2016; Акопов, Прошина, 2011, с. 89–92].

- Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / Пер. с фр.; под общ. ред. С. Фокина. – М.: НЛЮ, 2011. – 976 с.
- Бусыгина И.М. Стратегии европейских регионов как ответ на вызовы интеграции и глобализации. – М.: Интердиалект, 2003. – 55 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 458 с.
- Лапкин В.В., Семенов И.С. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity» // Полис. Политические исследования. – М., 2013. – № 6. – С. 64–81.
- Лебедева М.М. Мировая политика: проблемы и тенденции развития // Мировая политика и международные отношения на пороге нового тысячелетия / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – С. 7–16.
- Лебедева М.М. Современные тенденции развития транснациональных участников мировой политики // Негосударственные участники мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой, М.В. Харкевича. – М.: Аспект Пресс, 2013. – С. 8–19.
- Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Университетская книга, 2012. – 326 с.
- Семенов И.С. «Человек мыслящий» и «человек действующий». Интеллектуальные сообщества и формирование пространства диалога в России // Сообщества как политический феномен / Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 178–187.
- Akopov S. Multinationalism, mononationalism or transnationalism in Russia? // Challenging multiculturalism. European models of diversity / R. Taras (Ed.). – Edinburg: Edinburg univ. press, 2012. – P. 279–296.
- Akopov S. Russian identity after the fall of the USSR. From generation «П» to generation «Т» («Transnational») // Russia's changing economic and political regimes: The Putin years and afterwards / Ed. by A. Makarychev, A. Mommen. – N.Y.: Routledge, 2013. – P. 66–76.
- Akopov S. Aidar Sultanov: A Russian European intellectual against the formidable «sacrifice of security to security» // Review of Central and East European law. – Leiden; Boston, 2016. – Vol. 1, N 41. – P. 1–26.
- Bourne R. The radical will: Selected writing, 1911–1918. – Los Angeles: Univ. of California press, 1992. – 548 p.
- Ferguson Y.H., Mansbach R.W. Remapping global politics. History's revenge and future shock. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – 384 p.
- Karagiannis N. Multiple solidarities: Autonomy and resistance // Varieties of world-making: Beyond globalization / Karagiannis N., Wagner P. (eds.). – Liverpool: Liverpool univ. press, 2001. – P. 154–172.
- Keck M., Sikkink K. Transnational advocacy networks in international politics: Introduction // Keck M.E., Sikkink K. Activists beyond borders. – Ithaca: Cornell univ. press, 1999. – P. 1–39.
- Krasner S. Sovereignty: Organized hypocrisy. – Princeton: Princeton univ. press, 1999. – 275 p.
- Moreno L. Scotland, Catalonia, Europeanization and the Moreno question // Scottish affairs. – Edinburgh, 2006. – N 54. – P. 1–21.
- Nye J., Keohane R. Transnational relations and world politics: An introduction // International organization. – 1971. – Vol. 25, N 3. – P. 329–349.

- Pries L. Transnational societal spaces: Which units of analysis, reference and measurements? // Rethinking transnationalism. The meso-link of organizations / Pries L. (ed.). – L.: Routledge, 2008. – P. 1–18.
- Rosenau J. Along the domestic-foreign frontier exploring governance in a turbulent world. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1997. – 467 p.
- Rosenau J. People count!: The networked individual in world politics. – Boulder: Paradigm Publishers, 2008. – 200 p.
- Strange S. The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996. – xvii, 218 p.
- Vertovec S. Transnationalism. – L.: Routledge, 2009. – 205 p.
- Wayland S.V. The politics of transnationalism: comparative perspectives // Transnational identities and practices in Canada / V. Satzewich, L. Wong (eds.). – Vancouver: UBC Press, 2006. – P. 18–34.
- Wagner P. A sociology of modernity: Liberty and discipline. – L.: Routledge, 1994. – 267 p.
- Wihtol de Wenden C. L'individu dans les relations internationales // Les relations internationales / F. Charillon (ed.). – Paris: La Documentation française, 2009. – P. 105–109.

В.Н. Конышев, Э. Ноцень, А.А. Сергунин*

**СИМВОЛИЧЕСКИЕ
И РЕПУТАЦИОННО-СТАТУСНЫЕ
СТРАТЕГИИ БРИКС:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ¹**

Аннотация. В статье рассматриваются мотивация государств – участников БРИКС и символически-статусные стратегии, применяемые ими как внутри этого объединения, так и в отношении ведущих западных государств и международных финансово-экономических и политических институтов.

Ключевые слова: БРИКС; символическая политика; репутационно-статусные стратегии.

V.N. Konyshov, E. Notsen, A.A. Sergunin

BRICS symbolic and reputational-status strategies: Problems and opportunities

Abstract. This article examines BRICS member-states' motivation, as well as the symbolic-status strategies which they use within this grouping and towards the leading Western states and international financial-economic and political institutions.

Keywords: BRICS; symbolic policy; reputational-status strategies.

* **Конышев Валерий Николаевич**, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений, факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: konyshov06@mail.ru; **Ноцень Эва**, аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: notsen.e@my.mgimo.ru; **Сергунин Александр Анатольевич**, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений, факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: sergunin60@mail.ru

Konyshov Valery, St. Petersburg State University, e-mail: konyshov06@mail.ru; **Notsen Eva**, St. Petersburg State University, e-mail: notsen.e@my.mgimo.ru; **Sergunin Alexander**, St. Petersburg State University, e-mail: sergunin60@mail.ru

¹ Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Санкт-Петербургским государственным университетом (шифр ИАС 17.37.226.2016).

Введение

Современная теоретическая мысль рассматривает БРИКС в основном через призму материальных интересов участников этой группировки, т.е. стремится понять, какими прагматическими соображениями руководствуется эта «пятерка» государств (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), объединившись в данный форум и координируя свою деятельность на мировой арене.

Так, сторонники теории изменения соотношения сил (power transition theory), которая делит все страны мира на ревизионистские и статус-кво, считают БРИКС прежде всего инструментом в руках таких «ревизионистских» держав, как Россия и КНР, которые якобы стремятся бросить вызов существующему миропорядку, в котором доминирует относительно небольшая группа высокоразвитых государств. Остальные члены БРИКС также презентуются как «ревизионисты», но не столько глобального, сколько регионального порядка.

Последователи концепции «мягкой силы» (soft power) пытаются дать свое объяснение мотивации стран БРИКС. По их мнению, страны «пятерки» осознали тот факт, что в современных условиях военная сила далеко не всегда является эффективным средством для достижения тех или иных геостратегических и геоэкономических целей. Методы экономической, политической и культурной дипломатии часто дают гораздо больший результат, чем откровенное силовое давление на иностранные государства. Стратегия «мягкой силы» востребована в странах БРИКС еще и потому, что с ее помощью они пытаются преодолеть тот их негативный образ, который по ряду причин время от времени возникает у их соседей или в мире в целом.

Адепты вновь набирающей в странах БРИКС силу концепции мирного сосуществования считают, что это объединение, с одной стороны, помогает входящим в него государствам отстаивать их право развиваться по тем моделям и схемам, которые они сами разрабатывают и которые лучше соответствуют их историческим традициям и национальным ценностям, а с другой – позволяет избежать прямой конфронтации с Западом, который настойчиво пытается заставить их «играть по своим правилам».

Однако все эти теории и концепции имеют один существенный недостаток: будучи основанными на принципах рационализма, т.е. рассматривая страны БРИКС лишь как сугубо рациональных акторов, стремящихся к максимизации своей выгоды и строящих свою деятельность в прагматическом ключе, они оказы-

ваются не в состоянии объяснить эмоциональные, непредсказуемые, нелогичные поступки этих государств, которые не только не приносят им пользу, но и иногда даже могут вредить их интересам и нанести ощутимый ущерб.

Так, с точки зрения этих рационально-прагматических теорий непонятно, почему Россия пошла на реинтеграцию Крыма и поддержку «мятежного» Донбасса: ведь было очевидно, что эти шаги должны были неизбежно обернуться жесткой конфронтацией с Западом и существенными материальными жертвами и экономическими трудностями. Основываясь на этих теоретических подходах, сложно найти внятное объяснение ряду китайских геополитических и геоэкономических проектов, например таких как «Новый шелковый путь». «Рационалистам» непонятно, зачем Бразилии понадобилась дорогостоящая летняя Олимпиада 2016 г. в то время, когда страна испытывала серьезные экономические трудности. «Загадкой» для них являются истинные мотивы ЮАР, упорно претендующей на роль «регионального гегемона» на африканском континенте. Наконец, Западу непонятно, почему все эти государства, которые никак нельзя отнести к числу отсталых, примитивных, не способных к инновациям и модернизации, так сильно сопротивляются предлагаемым им «рецептам» социально-экономического и политического развития, которые так хорошо «сработали» в «передовых» странах мира.

В последнее время появились так называемые статусные теории (*status theories*), которые предлагают свое объяснение мотивации поведения стран БРИКС и обращают внимание на появление во внешнеполитическом арсенале этой группировки новых методов и инструментов, которые позволяют им более успешно добиваться своих целей на мировой арене. В частности, в рамках данной статьи мы рассмотрим, как эти теории трактуют сам феномен БРИКС и как они описывают символические и репутационно-статусные стратегии стран – участниц этого интеграционного объединения.

Статусные теории о феномене БРИКС

Эта группа теорий прежде всего стремится преодолеть ограниченность сугубо рационалистических и прагматических объяснений БРИКС. Статусные теории оказываются особенно полезными для изучения тех случаев, когда политика стран БРИКС оценивается другими субъектами мировой политики как «эмоциональная»,

«иррациональная» и «непредсказуемая». Статусные теории обращаются к мотивам политики, связанным с самооценкой, репутацией, честью и достоинством, славой, симпатиями и антипатиями, а также с другими эмоционально-психологическими категориями, которые могут вносить элементы хаоса и непредсказуемости в поведение лидеров, общественных групп и государств. Поскольку для традиционных политических теорий эти категории являются непривычными, непонятными и слишком экзотичными, исследователи обратились за методологическим инструментарием к другим общественным наукам – психологии, антропологии, социологии и пр.

Первые работы ученых-международников, выполненные в этом ключе, появились в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Они были в основном посвящены изучению того, как недооценка самовоспринимаемого статуса государства другими международными акторами влияла на возникновение насильственных (вооруженных) конфликтов [Midlarsky, 1969; Wallace, 1973].

Возврат интереса к теме статуса в ТМО наблюдается в 2000-х годах, когда к ней обратились представители разных теоретических парадигм международно-политической науки. Такие школы, как неореализм и неолиберализм, в основном фокусировались на интересах выживания и экономической целесообразности, считая статус производной от военной и экономической мощи. Для постпозитивистских школ поначалу статус также не был важной аналитической категорией. Например, социальный конструктивизм до относительно недавнего времени считал, что именно идентичности и нормы, а не соображения статуса или престижа являются движущими силами политики [Onuf, 2013]. Однако именно постпозитивисты первыми обратили серьезное внимание на психологические и морально-этические аспекты внешнеполитического поведения различных государств и политических лидеров.

Применительно к БРИКС тема статуса впервые была поднята в связи с дискуссией о том, что является главной целью внешней политики современной России: вернуть себе статус великой державы в мировой политике или добиться каких-то конкретных материальных выгод и укрепить свою безопасность [Russia: Re-emerging great power, 2007; Kanet, 2010; Larson, Shevchenko, 2010; Neumann, 2005; Neumann, 2007]? Поводом, обострившим эту дискуссию, стал поворот в политике России, которая при президенте В.В. Путине более решительно стала защищать свои интересы. Российский президент воспринял крушение СССР как «величайшую геополитическую катастрофу XX в.». Потеряв статус сверх-

державы, Россия не обрела определенности в отношении своих места и роли в системе международных отношений. С одной стороны, наличие мощного ядерного потенциала и место постоянного члена Совета безопасности ООН формально указывали на ее статус великой державы, но, с другой стороны, по остальным, прежде всего по социально-экономическим показателям она скатилась на уровень периферийного государства. В связи с этим некоторые западные эксперты оценивали состояние российских элит не иначе, чем как «статусную панику» [Forsberg, Heller, Wolf, 2014; Hansen, Sergunin, 2014, p. 94; Smith, 2014].

Интерес к статусным теориям подогрели и дискуссии о природе конфликтов России с Грузией (2008) и Украиной (2014), а также вокруг мотивов вмешательства Москвы в сирийский конфликт (2015). Традиционные парадигмы политической теории (скажем, неореализм) продолжали воспринимать более жесткий внешнеполитический курс Кремля как часть его стратегии выживания в условиях международной анархии, воцарившейся после разрушения биполярной структуры системы международных отношений периода холодной войны [Mearsheimer, 2014].

В то же время другие исследователи, последователи теорий конструктивизма и постструктурализма, усматривают в поведении Москвы проявление ее «страха» перед возможностью окончательно утратить статус великой державы. Причем эта мотивация способна стать даже более важной, чем собственно вопросы безопасности или экономического процветания [Forsberg, Heller, Wolf, 2014; Malinova, 2014; Sergunin, 2014; Sergunin, 2016, p. 62; Smith 2014; Tsyganov, 2016, p. 251–255]. Еще дальше идут авторы, утверждающие, что статус-ориентированная внешняя политика России имеет глубокие исторические корни, поскольку на протяжении уже нескольких столетий Москва стремится доказать свой высокий статус в Европе (а начиная с XX в. – и во всем мире) и резко возражает против попыток принизить его и не считаться с мнением России по наиболее важным вопросам как европейской, так и мировой политики [Neumann, 2005; Sakwa, 2008].

С Китаем, который прежде не имел статуса великой державы, складывается несколько иная ситуация. Быстрый экономический рост после окончания холодной войны перестал соответствовать прежнему характеру политических и экономических отношений с Западом. Поначалу Китай стремился добиться статуса великой державы путем адаптации капиталистических норм, но так и не был принят на равных в западное сообщество. Тогда Пекин занял более

состязательную позицию, не вступая, однако, в прямое противостояние с наиболее могущественными мировыми «игроками» (включая США, Японию и Евросоюз). Он довольно успешно добивается изменения собственного оригинального имиджа в глазах как Запада, так и развивающихся стран в позитивную сторону, представляя себя как государство, которое не ищет гегемонии, но требует уважения, соответствующего новому статусу [Cavanaugh, 2016; Cheng, 2016; Larson, Shevchenko, 2010; Odgaard, 2012].

Индия и Бразилия также стремятся к статусу великих держав, опираясь на большие территории и численность населения, достигнутый экономический и военный потенциал, завоеванный международный авторитет. Как и в случае с Россией, их внешнеполитическое поведение часто носит символический и репутационно-статусный характер и направлено скорее на повышение уважения со стороны других государств, чем на извлечение специфических материальных выгод [Михайленко, 2016; Abdenur, 2015; Gupta, Chatterjee, 2015; Larson, Shevchenko, 2010, p. 70]. О «символическом» характере, например, бразильского международного курса свидетельствовало настойчивое стремление этой страны получить разрешение на проведение летних Олимпийских игр – 2016 на своей территории. По словам ее бывшего президента Лу́йса Ина́сиу Лу́ла да Сílва, выбор Бразилии в качестве хозяина этих игр вывел ее из круга стран второго разряда в страны первого разряда. Он также подчеркнул, что Бразилия наконец-то получила уважительное отношение со стороны остального мира, отношение, которое она «давно заслужила» [цит. по: Larson, Shevchenko, 2010, p. 70].

Южно-Африканская Республика не имеет амбиций великой державы, но на региональном (континентальном) уровне она стремится занять лидирующие позиции и даже претендует на роль представителя всего африканского континента перед лицом остальной части мира (скажем, в рамках ООН) [Mandrup, Smith, 2015; Smith, 2015].

Характерно, что Индия, Бразилия и ЮАР претендуют не только на существенное повышение своего международного статуса, но и на его формализацию, например путем получения постоянного места в реформированном Совете Безопасности ООН.

Несмотря на всю привлекательность, статусные теории пока оставляют без ответа ряд важных вопросов. Каковы надежные индикаторы международного статуса той или иной страны? Когда статус становится важнее материальных интересов? До какой степени внутренние институты и процессы могут влиять на рост или

снижение самооценки обществом своего положения на международной арене? Наконец, какие средства используют различные государства для изменения их международного статуса (чему и посвящено данное исследование)?

Однако, несмотря на эти спорные моменты или недостаточную проработанность ряда теоретико-методологических вопросов, на наш взгляд, именно статусные теории дают наилучшие возможности для изучения символических и репутационных стратегий стран БРИКС.

Символические и репутационно-статусные стратегии стран БРИКС

Сторонники статусных теорий [Larson, Shevchenko, 2010] выделяют три основных типа стратегий, нацеленных на повышение репутации и престижа той или иной страны или по меньшей мере их защиту.

Первый тип – это *стратегия мобильности*. Она, как правило, применяется государством, стремящимся повысить свой международный статус, в тех случаях, когда группа стран (организаций) – лидеров относительно открыта и не представляет собой «клуба для избранных». Чтобы проникнуть в эту группу, нужно соблюдать установленные лидерами «правила игры» и соответствовать определенным критериям (стандартам). Если государство-«кандидат» искренне хочет попасть в состав международной «элиты» и добросовестно выполняет выдвинутые требования, то у него есть шансы достичь желаемой цели.

Так, после распада СССР и обретения статуса независимого государства перед Россией встала задача вхождения в ведущие финансово-экономические и политические организации мира. Это было важно Москве не только с прагматической, но и со статусно-репутационной точки зрения. Кремлю было необходимо подтверждение статуса России как равной по рангу другим ведущим странам мира.

Тогдашнее российское руководство (президент Б.Н. Ельцин и его «команда») декларировало свою приверженность демократическим и рыночным ценностям и начало, хотя и не очень последовательно, процесс социально-экономических и политических реформ. Поначалу Москве в целом удавалось убедить западных партнеров в своем желании интегрироваться в мировую экономику

и следовать либерально-демократической модели развития. Она смогла относительно легко присоединиться к МВФ и группе Всемирного банка (1992), а также к Совету Европы (1996). Наиболее развитые государства мира, объединенные в неформальную Группу-7 (G7), даже пошли на то, чтобы пригласить Москву в этот элитарный форум, превратив его в «восьмерку» (1997). Это было недвусмысленным сигналом Кремлю: членство в «восьмерке» – своего рода «аванс», поощрение России на пути осуществления ею демократических реформ, хотя по своим экономическим параметрам и весу она в то время вряд ли могла быть локомотивом глобальной экономики. Сложнее обстояло дело со вступлением в ВТО. На это потребовалось почти 20 лет переговоров, и требования, предъявлявшиеся к России со стороны этой организации, оказались гораздо более строгими, чем требования к другим постсоветским и постсоциалистическим странам, включая Китай, который вступил в ВТО на 11 лет раньше России (2001).

В то же время двери таких организаций, как Евросоюз и НАТО, на вступление в которые Москва в первой половине 1990-х годов, в период своего «медового месяца» в отношениях с Западом, также рассчитывала, оказались плотно закрытыми.

Примечательно, что, попав в состав престижных групп, государства ведут себя по-разному. Большинство «новичков» стараются тщательно соблюдать принятые в этих формальных и неформальных объединениях правила, хотя их в целом лояльное поведение не исключает возможности конфликтов с другими членами подобных групп по частным вопросам. Так, КНР и Россия, присоединившись к ВТО, довольно быстро оказались втянутыми в многочисленные торговые споры с другими ее членами. Однако эти конфликты отнюдь не поставили под сомнение желание обеих стран продолжить работу в составе этой организации.

В то же время у России не сложились отношения с такой структурой Совета Европы, как его Парламентская ассамблея. Попытки Москвы представить себя в качестве страны, динамично развивающейся по пути реформ и демократизации, практически провалились. Из-за второй чеченской войны российскую делегацию лишали голоса в 2000 г. В 2014 и 2015 гг. российские парламентарии еще два раза лишались права голоса из-за присоединения Крыма к России и поддержки повстанцев в Донбассе. В ответ Федеральное собрание РФ заморозило работу своих представителей в ПАСЕ и неоднократно заявляло о возможности полного выхода из этой структуры.

Не менее конфликтные отношения возникли у Москвы и с Европейским судом по правам человека, который неоднократно выносил неблагоприятные для российской стороны решения. Особенно болезненным для Москвы – и в материальном, и в репутационном планах – было постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа (июль 2014 г.), в котором этот орган присудил самую большую в своей истории компенсацию истцу – 1,866 млрд евро. Кремль предпринял энергичные усилия для того, чтобы уклониться от исполнения наиболее неприятных решений суда, считая их политизированными и несправедливыми. В последние годы Конституционный суд РФ неоднократно принимал решения, разрешавшие не исполнять постановления ЕСПЧ, которые, по его мнению, противоречили Основному закону страны (включая дело ЮКОСа). Периодически возникают и разговоры о выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Не удалось Москве в полной мере отстоять и свою репутацию ответственного члена международного сообщества, борющегося с самыми тяжкими преступлениями – геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности, – входящими в компетенцию Международного уголовного суда. В ноябре 2016 г. Россия вышла из соглашения по МУС, которое в свое время разрабатывалось при ее активном участии и которое она так и не ратифицировала после его подписания в 2000 г. По мнению Москвы, эта инстанция не оправдала надежд мирового сообщества на объективное правосудие и оказалась слишком политизированной, осудив действия России в южноосетинском конфликте 2008 г., в Крыму и Донбассе. Вдобавок МУС еще и продемонстрировал свою неэффективность тем, что за 14 лет своей работы вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов [Корниенко, 2016]. Характерно, что, выйдя из соглашения по МУС, Россия оказалась в «компании» таких стран, как ЮАР и Гамбия, также выступивших с критикой суда и отказавшихся принимать дальнейшее участие в его деятельности.

Не смогла Россия удержаться и в таком престижном «клубе», как Группа-8 (G8), откуда она была исключена с началом украинского кризиса. Это событие стало особенно тяжелым ударом по ее международной репутации, ибо остальные члены этой элитной группы официально отказали Москве в праве считаться равной им по статусу.

В том случае, если престижные международные организации или неформальные объединения оказываются «закрытыми клубами

ми» и не принимают в свой состав нежелательных претендентов (например, ЕС и НАТО «закрыты» для России, Транстихоокеанское партнерство и «Большая семерка» – для Китая, Организация экономического сотрудничества и развития – для всех стран БРИКС), или если «провинившихся» исключают из таких групп (например, Россию из «восьмерки»), или если они сами уходят из них (как это сделали Россия и ЮАР, выйдя из соглашения о МУС), на смену стратегии мобильности приходит *стратегия конкуренции или соперничества* [Larson, Shevchenko, 2010, p. 72–73].

В свою очередь, этот тип репутационно-статусной стратегии включает в себя несколько подтипов. Наиболее распространенной реакцией государств, стремящихся к повышению своего международного статуса, на нежелание лидирующей группировки признать законность подобных притязаний и вообще считаться с интересами данной страны, является обращение к традиционным методам «силовой политики», включая борьбу за сферы влияния и гонку вооружений. Например, подобная реакция имела место в случае с политической России на постсоветском пространстве, Балканах и Ближнем Востоке, т.е. в регионах, которые Кремль считает своими традиционными сферами геополитического влияния и где Запад, по мнению Москвы, неоднократно заступал за проведенные ею «красные линии». Даже ряд западных экспертов признают, что недальновидная и зачастую провокационная политика США и их европейских союзников по расширению НАТО и ЕС на восток, провоцирование серии «цветных революций» на постсоветском пространстве, свержение или попытки свержения дружественных Москве режимов на Балканах, Ближнем Востоке и Северной Африке в конечном счете обернулась жестким ответом со стороны России и привела к обострению международной обстановки на региональном и глобальном уровнях [Charap, Shapiro, 2014; Mearsheimer, 2014; Sergunin, 2017].

Многолетняя поддержка Пакистана со стороны США и КНР в его конфликте с Индией не могла не привести к «силовому» ответу со стороны Дели, который систематически наращивает свою военную мощь, включая ее обычный и ядерный компоненты. Поддержка Вашингтоном Тайваня, отстаивание им принципа «свободы мореплавания» в Южно-Китайском море (в том числе вблизи островов – естественных и искусственных, – находящихся под контролем Пекина) провоцируют не только жесткие дипломатические демарши со стороны КНР, но и региональную гонку вооружений.

Отметим, что частью конкурентной символической стратегии стран БРИКС, как правило, является представление противной сто-

роны виновником дестабилизации обстановки, «поджигателем войны», «агрессором» и пр. Своя же позиция презентуется как «сдержанная», «миролюбивая», нацеленная на защиту своих «законных интересов». Правда, эффективность этой стратегии, как правило, невысока. За исключением индийской имиджевой политики, которая вызывает определенное сочувствие к этой стране со стороны западной общественности, попытки России и Китая представить себя в качестве «жертвы» «имперской» или «неоколониальной» политики США, Европы и Японии часто оказываются непродуктивными. Доминирующий на Западе общественно-политический дискурс, являющийся ориентиром для пропагандистских усилий Москвы и Пекина, по-прежнему складывается не в пользу этих двух лидеров БРИКС.

Еще один возможный подтип стратегии соперничества – это поведение «спойлера», или, используя русские аналоги этого термина, «источника проблем», «Мальчиша-плохиша» и пр. К этой стратегии страны БРИКС прибегают тогда, когда их возможности для открытого противостояния ограничены или когда асимметричный ответ на действия их оппонентов оказывается менее затратным. Причем стратегия «спойлера» может применяться на самых разных уровнях мировой политики – от регионального до глобального. Так, Россия достаточно успешно блокирует попытки украинских и грузинских политических элит вовлечь их страны в НАТО. Москве также удается срывать реализацию программы ЕС «Восточное партнерство», которая, по сути дела, перестала существовать как единое целое после присоединения Белоруссии и Армении к Евразийскому экономическому союзу и фактического саботажа предложенного Брюсселем плана социально-экономических и политических реформ Азербайджаном и Молдовой. Россия также использовала стратегию «спойлера» для срыва попыток США и НАТО утвердить свое военнополитическое присутствие в Средней Азии под предлогом борьбы с режимом талибов и Аль-Каедой в Афганистане.

Что касается глобального уровня, то Россия и КНР систематически используют Совет Безопасности ООН для блокирования неприемлемых для них инициатив западных стран – постоянных членов СБ (США, Великобритания и Франция) – по Ираку, Сирии, Украине и пр.

Если сложившаяся в мире статусная иерархия в целом или ее отдельные части воспринимаются международными акторами как более или менее легитимные и приемлемые, они могут применять *стратегию креативности*. В свою очередь, она может включать в себя два подтипа.

Первый подтип стратегии креативности нацелен на переоценку международными «игроками» прежнего негативного отношения к существовавшей ранее системе международных отношений и своего места в ней или к внешнеполитическим ресурсам, и ранее имевшимся в их распоряжении, но в силу тех или иных причин воспринимавшимся отрицательно. Так, присоединившись в 1997 г. к «большой семерке», Москва перестала оценивать эту группу как элитарный «клуб» держав, диктующих свою волю всему миру, и увидела в ней инструмент не только повышения своего международного статуса, но и переустройства мира на более справедливых началах. Такая же «переоценка ценностей» имела место и в отношении России и Китая к ВТО после их вступления в эту организацию. Став ее членами, Москва и Пекин больше не воспринимали этот институт как орудие их дискриминации в торгово-экономической сфере, наоборот, они стали активно использовать ВТО для защиты и продвижения своих интересов в данной сфере.

Процесс переоценки коснулся и идейного арсенала внешней политики стран БРИКС. Так, конфуцианство, считавшееся в маоистский период истории КНР пережитком средневековья и феодализма, в последние годы стало чуть ли не главной основой внешнеполитической философии и важнейшим инструментом стратегии «мягкой силы» Китая. Начиная с 2004 г. Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) Министерства образования КНР приступила к созданию сети международных культурно-образовательных центров по всему миру. На начало 2017 г. насчитывалось более 500 институтов Конфуция и 1000 классов по изучению китайского языка и культуры [Over recent years, б. г.]. В современной России идет не менее активная переоценка и «реанимация» ранее считавшихся устаревшими концепций «особого пути» России, евразийства, «соборности» и пр. При этом Россия презентуется как хранительница традиционных общечеловеческих ценностей и противопоставляется «загнившей» Европе с ее «ложными ценностями» и всеобщим упадком нравственности [Кубышкин, Сергунин, 2013; Laruelle 2008; Sergunin 2014]. Как уже отмечалось, практически во всех странах БРИКС возрождается интерес к концепции мирного сосуществования, лишенной марксистско-ленинской коннотации и нацеленной на создание имиджа миролюбивых и конструктивных государств.

Еще один подтип стратегии креативности – это поиск странами БРИКС таких сфер деятельности, где они могут доказать свое превосходство (экономическое, военно-политическое, моральное,

культурное и пр.) над доминирующими в мировой системе государствами. В отличие от стратегии соперничества этот вид креативности не нацелен на прямую конфронтацию с доминирующими державами и международными институтами или на радикальные изменения «правил игры». Скорее он призван продемонстрировать тот факт, что страны, добивающиеся повышения своего регионального или глобального статуса, могут сделать это в тех областях международной деятельности, которые не ставят под угрозу авторитет и интересы государств-лидеров. Подобные «креативщики» стараются показать остальному миру, что есть такие модели общественного развития, которые создают позитивную альтернативу существующим «образцам» и что существуют такие сферы международного сотрудничества, где интересы всех акторов могут быть учтены к взаимной выгоде.

Собственно говоря, сама группа БРИКС была создана в том числе и для этих целей, а укоренившиеся в ней принципы отношений между ее участниками и образованные в ее рамках финансово-экономические и политические институты служат альтернативой существующему, во многом несправедливому, мировому порядку. БРИКС самим своим существованием демонстрирует тот факт, что межгосударственные отношения могут строиться без разноплановой дискриминации и иерархичности. На наш взгляд, этот – пока неформальный – институт может рассматриваться как «зачаток» нового мирового порядка.

Отметим, что, как правило, этот подтип стратегии креативности сопровождается политическими инициативами на самом высоком уровне и осуществляется харизматическими и / или авторитетными лидерами. Например, за счет этих качеств президент В.В. Путин сумел добиться признания своего плана по уничтожению сирийского химического оружия в 2013 г., что предотвратило угрозу военной интервенции Запада в сирийский конфликт и существенно повысило авторитет Москвы на Ближнем и Среднем Востоке. Москва сумела перехватить у Вашингтона инициативу в борьбе с международным терроризмом в Сирии и смогла добиться начала переговоров между сирийским правительством и оппозицией, по сути став спонсором внутрисирийского урегулирования. Концепция «Нового шелкового пути» (2013) другого харизматического лидера БРИКС – Си Цзиньпина – была воспринята не только как китайская инициатива, но и как глобальный проект взаимовыгодной экономической интеграции Евразии в целом.

Заключение

В данном исследовании была предпринята попытка доказать тезис о том, что, наряду с преследованием сугубо материально-прагматических интересов (защита от финансово-экономических рисков эпохи глобализации, порождаемых доминированием группы высокоразвитых государств, координация совместных действий перед лицом геополитического «натиска» Запада и для решения ряда общих проблем и пр.), страны БРИКС активно используют это интеграционное объединение для укрепления своих позиций на мировой арене и повышения своего международного статуса.

В ход идут различные виды репутационно-статусной политики – от стратегии мобильности и конкуренции до различных видов креативности. Нельзя сказать, что усилия «пятерки» на этом поприще увенчались полным успехом, однако они все же дали определенный эффект. За исключением России, репутация которой оказалась сильно подпорченной из-за украинских событий, большинству участников БРИКС удалось создать имидж конструктивных, в целом миролюбивых государств, предпочитающих сотрудничество конфронтации и с уважением относящихся к их международным партнерам. Что касается России, то и для нее участие в БРИКС оказалось весьма полезным с репутационной точки зрения. Благодаря тому что большинство стран, входящих в эту группу, не поддержали западные санкции против Москвы, России удалось не только избежать полной международной изоляции, но и активно влиять на события как в ряде регионов, так и на глобальном уровне.

В целом группа БРИКС сумела заставить мировое сообщество всерьез воспринимать себя как «зачаток» альтернативного мироустройства, где действуют иные принципы и правила межгосударственного сотрудничества, исключающие диктат, дискриминацию и иерархию. Пока еще рано говорить о том, что БРИКС может служить образцом или моделью, достойными подражания, но, несомненно, определенный позитивный опыт в рамках этого объединения уже накоплен. Для сохранения этого положительного образа необходимо и дальше развивать сотрудничество в рамках «пятерки» и содействовать ее институционализации. Дальнейшее совершенствование ее символических и репутационно-статусных стратегий – важнейшее средство достижения успеха на этом пути.

Литература

- Корниенко Е. Гага, гудбай // Lenta.ru. – М., 2016. – 17 ноября. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2016/11/17/buyhague/> (Дата посещения: 12.02.2017.)
- Кубышкин А.И., Сергунин А.А. Идеология исключительности: современная российская внешнеполитическая мысль в сравнительно-исторической перспективе // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – № 4. – С. 156–174.
- Михайленко Е.Б. Альтернативный регионализм БРИКС // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. – Екатеринбург, 2016. – Т. 11, № 3. – С. 194–206.
- Abdenur A.E. Brazil as a rising power: Coexistence through universalism // The BRICS and Coexistence: An alternative vision of world order / Ed. by C. De Coning, T. Mandrup, L. Odgaard. – Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group, 2015. – P. 49–74.
- Cavanaugh M.L. Netflix assessment of China's rise and America's advantage // War on the rocks. – 2016. – 20 April. – Mode of access: <http://warontherocks.com/2016/04/a-netflix-assessment-of-chinas-rise-and-americas-advantage/> (Accessed: 12.02.2017.)
- Charap S., Shapiro J. A New European security order: The Ukraine crisis and the missing post-cold war bargain. – Paris: FRS, 2014. – 8 p.
- Cheng D. China: Ready to Assume a Leadership Role? – 2016. – 10 March. – Mode of access: <http://www.heritage.org/research/commentary/2016/3/china-ready-to-assume-a-leadership-role> (Accessed: 12.02.2017.)
- Forsberg T., Heller R., Wolf R. Introduction // Communist and post-communist studies. – Oxford, 2014. – N 47. – P. 261–268.
- Gupta S., Chatterjee S. Indian foreign policy and coexistence: continuity and change // The BRICS and coexistence: An alternative vision of world order / Ed. by C. De Coning, T. Mandrup, L. Odgaard. – Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group, 2015. – P. 100–124.
- Hansen F., Sergunin A. Russia, BRICS, and peaceful coexistence: Between idealism to instrumentalism // The BRICS and Coexistence: An alternative vision of world order / Ed. by C. De Coning, T. Mandrup, L. Odgaard. – Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group, 2015. – P. 75–99.
- Kanet R. Russian foreign policy in the 21 st Century. – L.; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010. – 296 p.
- Larson D., Shevchenko A. Status seekers. Chinese and Russian responses to U.S. primacy // International security. – L., 2010. – Vol. 34, N 4. – P. 63–95.
- Laruelle M. Russian eurasianism, an ideology of empire. – Baltimore: John Hopkins univ. press, 2008. – 276 p.
- Malinova O. Obsession with status and resentment: Historical backgrounds of the Russian discursive identity construction // Communist and post-communist studies. – Oxford, 2014. – N 47. – P. 291–303.
- Mandrup T., Smith K. South Africa's «diplomacy of Ubuntu»: An African approach to coexistence? // The BRICS and Coexistence: An alternative vision of world order / Ed. by C. De Coning, T. Mandrup, L. Odgaard. – Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group, 2015. – P. 149–170.
- Mearsheimer J. Why the Ukraine crisis is the West's fault // Foreign affairs. – N.Y., 2014. – September-October. – P. 1–12.

- Midlarsky M. Status inconsistency and the onset of international warfare. – Evanston: Northwestern univ., 1969. – 224 p.
- Neumann I. Russia as a great power // *Journal of international relations development*. – Basingstoke, 2007. – Vol. 11, N 2. – P. 128–151.
- Neumann I. Russia as a great power // *Russia as a great power. Dimensions of security under Putin* / Ed. by J. Hendskog, V. Konnander, B. Nygren, I. Oldberg, C. Pursiainen. – Abingdon: Routledge, 2005. – P. 13–28.
- Odgaard L. China and coexistence: Beijing's national security strategy for the 21 st century. – Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press: Johns Hopkins univ. press, 2012. – 242 p.
- Onuf N. Making sense, making worlds. Constructivism in social theory and international relations. – Abingdon: Routledge, 2013. – 256 p.
- Over recent years, the Confucius institutes' development... // *HanBan – Confucius institute*. – Mode of access: http://english.hanban.org/node_10971.htm (Accessed: 19.02.2017.)
- Russia: Re-emerging great power / Kanet R.E. (ed.). – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. – 224 p.
- Sakwa R. Russian politics and society. – L.; N.Y.: Routledge, 2008. – 388 p.
- Sergunin A. Explaining Russian foreign policy behavior: Theory and practice. – Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016. – 250 p.
- Sergunin A. Has Putin the pragmatist turned into Putin the ideologue? // *Vlaams marxistisch tijdschrift*. – Brussel, 2014. – Vol. 48, № 2. – P. 68–69.
- Sergunin A. Russian perceptions of the Ukrainian crisis: From confrontation to damage limitation? // *Neighbourhood perceptions of the Ukraine crisis from the Soviet Union into Eurasia?* / Ed. By G. Besier and K. Stoklosa. – Abingdon: Routledge, 2017. – P. 41–54.
- Smith H. Russia as a great power: Status inconsistency and the two Chechen wars // *Communist and post-communist studies*. – Oxford, 2014. – N 47. – P. 355–363.
- Smith K. South Africa, the BRICS and human rights: in bad company? // *New South African review*. – Johannesburg, 2015. – N 5. – P. 358–368.
- Tsygankov A. Russia's foreign policy: Change and continuity in national identity. – 4 th ed. – N.Y.: Rowman and Littlefield, 2016. – 306 p.
- Wallace M. Alliance polarization, cross-cutting and international war, 1815–1964: A measurement procedure and some preliminary evidence // *Journal of conflict resolution*. – Thousand Oaks, CA, 1973. – Vol. 17, N 4. – P. 575–604.

ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОМ КОНТЕКСТЕ

В.П. Хархун*

ХРОНОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ РЕЦЕПЦИИ КОММУНИЗМА (МУЗЕЙНЫЙ АСПЕКТ)¹

Аннотация. В статье анализируется эволюция интерпретаций советского прошлого в политике памяти, которая проводилась на протяжении 25 лет украинской независимости. Основное внимание уделяется роли музеев в государственных, региональных и частных проектах памяти. Автор размышляет над вопросами об основных мнемонических актерах / агентах, выделяет типы музейных нарративов о советском прошлом и анализирует взаимоотношения между ними, характеризует мнемонические модели, преобладающие в украинской рецепции коммунизма.

Ключевые слова: политика памяти; проект памяти; мнемонический актер; украинская рецепция коммунизма.

V.P. Kharkhun

Chronology and typology of the Ukrainian perception of communism (museum aspect)

Abstract. The article analyzes the memory politics of the Soviet past which was practiced during 25 years of the independence of Ukrain. The author focuses on the role of museums in creation of state, regional and private memory projects. The following questions are considered: Who are the main mnemonic actors / agents? What are the different types of museum narrations about the Soviet past, and how do they coexist? Which mnemonic models dominate in the Ukrainian perception of communism?

Keywords: memory politics; memory projects; mnemonic actor; the Ukrainian perception of communism.

* Хархун Валентина Петровна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой украинской литературы Нежинского государственного университета им. Н.В. Гоголя (Нежин, Украина), e-mail: kharkhun2004@mail.ru
Kharkhun Valentina, Nizhyn Gogol State University (Nizhyn, Ukraine), e-mail: kharkhun2004@mail.ru

¹ Статья написана в рамках проекта «Музеефикация советского прошлого в России и Украине: от исторической травмы до ностальгии», работа над которым проводилась в Институте Кеннана Центра Вудро Вильсона в 2016 г.

Первые попытки ревизии коммунизма имели место в последние годы перестройки и первые годы украинской независимости, в период национализации истории. Вскоре после провозглашения декларации о государственном суверенитете УССР появилось партийное постановление о создании «автономной» истории Украинской ССР. Спустя некоторое время учебный курс «История СССР» был заменен на курс «История Украины», основывающийся на реабилитированной народнической схеме, созданной М. Грушевским. Согласно логике этой схемы, оценки советского периода были преимущественно негативными. По утверждению Георгия Касьянова, некоторые считали советский период и советскую украинскую государственность разрывом преемственности в истории Украины, который компенсировался лишь наличием национально-освободительного движения [Касьянов, 2005, с. 41].

Трансформация исторических нарративов проходит в таком режиме памяти, который называют нецелостным и противоречивым (*fractured and contentious*) [Shevel, 2014, p. 152]. Оксана Шевель считает, что этот режим отличает Украину от других стран, создающих свои рецепции коммунизма. Доминирование такого режима памяти объясняется региональной вариативностью интерпретаций прошлого и тем, что элиты выступают «мнемоническими воинами» (*mnemonic warriors*), предлагающими собственные концепции прошлого, которые считают «истинными» и не подлежащими дискуссии. Исследовательница выделяет три группы акторов памяти в Украине: нереформированные коммунистические левые, националистические и национал-демократические правые и аморфные центристы – бывшие аппаратчики.

Первая группа, наиболее ярко представленная Коммунистической партией Украины, оценивает советский период безусловно позитивно, а время независимости Украины – негативно. Вторая – к ней можно отнести «Рух», а позже партию «Наша Украина» – подчеркивает отличие Украины от России. Националистические и национал-демократические правые видят историю как извечную освободительную борьбу украинского народа с различными оккупантами, которая в 1991 г. увенчалась независимостью. Таким образом, левые и правые предлагают диаметрально противоположные модели рецепции советского прошлого, именно поэтому они выступают как бескомпромиссные «мнемонические воины». Третьих – центристов – Оксана Шевель называет *mnemonic abnegators* (те, которые отказываются или отрицают) [*ibid.*, p. 155], потому что они обходят политику памяти, не заинтересованы в

ней или не видят преимущества в том, чтобы принимать участие в ее разработке. Ни одна из сторон на протяжении 25 лет украинской независимости не смогла установить мнемоническую гегемонию, происходила лишь замена доминирующих игроков в зависимости от того, кто занимал пост президента.

Оксана Шевель анализирует политику памяти в контексте политики как таковой, осмысливает ее как элемент «партийной» идеологии. Такой подход позволяет определить основные векторы борьбы за память, но он не предусматривает рассмотрение других мнемонических актеров или агентов. Они менее значимы в государственных масштабах, но без учета их роли «мнемоническая карта» выглядит неполной и деформированной.

Важно учитывать не только взгляд из центра, но и позицию региональных элит или региональных сообществ. Например, мэрия Львова проигнорировала решение Верховного совета о праздновании в 2010 г. годовщины стахановского движения. Позицию неприятия часто демонстрировала Донецкая элита во время президентства В. Ющенко, неоднократно отказываясь выполнять его «нациоцентрические» директивы. Показательно, что в 2012 г. во Львове открывается музей освободительной борьбы Украины, а в 2011 г. в г. Ирмино Луганской обл. – обновленный музей истории шахты «Центральная-Ирмино» и стахановского движения. Еще один пример разных подходов – региональная репрезентация мест памяти, в частности – памяти о Чернобыльской катастрофе. Локальные сообщества (пгт. Народичи, г. Славутич) инициировали создание мест памяти и музеев, фокусированных на этом событии. В отличие от государственной политики памяти, основанной на тотальной виктимности и героизме, в региональных музеях Чернобыля преобладает более нейтральный анализ событий, акцент на проблемных сюжетах, четко артикулированное экзистенциальное содержание индивидуальной трагедии.

В создании мнемонических проектов важна и персональная инициатива. Хорошим примером здесь может служить мемориализация Афганской войны. Большинство музеев, посвященных этой странице истории, были созданы по инициативе бывших солдат, отстаивающих таким образом свое место в коллективной памяти о недавнем прошлом.

Учитывая роль нескольких ключевых акторов / агентов можно определить специфику и амплитуду политики памяти. Государство, без сомнения, выступает определяющим игроком, который регулирует политические интересы, руководствуясь идео-

логией партии при власти. Оно владеет государственными институтами, контролирующими политику памяти, направляя ее в соответствующий «интерпретационный коридор». Региональные общества либо поддерживают общегосударственный нарратив, либо продуцируют свой, часто – альтернативный. Градус альтернативности и оппозиционности может увеличиться в случае частных инициатив в мемориальных проектах, стимулированных желанием рассказать о «своей» памяти.

Специфика взаимодействия трех мнемонических акторов, выделенных О. Шевель, а в случае региональных обществ – еще и агентов-персон, – четко прочитывается на уровне музейной политики. Задачи настоящей статьи – проанализировать особенности репрезентации советского в украинской политике памяти, выявить роль музеев в государственных, региональных и в частных проектах памяти и определить, насколько создание и функционирование музеев влияет на особенности украинской рецепции коммунизма.

От перестройки до начального этапа независимости

Значительные изменения в политике памяти происходят еще до провозглашения независимости, в период перестройки, или в постчернобыльское время. Направленные на преодоление экстремальной «национальной амнезии» [Грицак, 2013, с. 231], они связаны с несколькими тенденциями. Во-первых, с ревизией сталинского времени, обнародованием тоталитарных преступлений и называнием жертв репрессий. В национальный культурный канон возвращались «запрещенные» имена и явления, предавались гласности прежде замалчиваемые темы. Во-вторых, постепенно обнародовались факты, связанные с катастрофическими последствиями от Чернобыльской аварии и Афганской войны, и это подрывало доверие к советскому дискурсу героизма. В-третьих, появлялись новые акторы памяти – общественные объединения, которые отстаивали националистическую модель политики памяти: украинское отделение общества «Мемориал», Всеукраинское общество «Просвита» им. Т.Г. Шевченка, Народный рух Украины за перестройку.

В контексте таких изменений начали вырабатываться альтернативные подходы к музеефикации советской эпохи. Переломным в данном отношении можно считать 1990 г.: именно тогда появились музеи, определявшие «болевые точки», которые будут играть важную роль на протяжении последующих 25 лет. В 1990 г. были основаны музей Чер-

нобыльской трагедии (пгт. Народичи, Житомирская обл.), музей боевой славы воинов-интернационалистов (г. Евпатория), музей воинов-интернационалистов (г. Феодосия), Историко-мемориальный музей Евгения Коновальца (с. Зашкив, Львовская обл.). Этот перечень свидетельствует о том, что музеефикация советского периода охватила все части Украины, причем ее тематические доминанты имели четко выраженный региональный характер. И это неудивительно, ведь музеи основываются благодаря инициативе локальных обществ, предлагающих новые темы и новых героев для почитания.

В начале независимости, во время президентства Л. Кравчука (1991–1994), были предприняты первые попытки регулирования политики памяти о коммунистическом прошлом. Политическое руководство сосредоточилось на нациоцентрических моделях рецепции советского, что было связано со значительным влиянием правых сил, но также и с запросами общества. На первый взгляд, политика памяти этого периода была нацелена на преодоление связи с коммунистическим прошлым и его критику. Открываются архивы, публикуются запрещенные исторические исследования, в учебный процесс вводится курс истории Украины, активизируется работа общественных организаций. В 1993 г. появился первый Указ Президента Украины «О мероприятиях в связи с 60-й годовщиной голодомора в Украине» и был установлен памятный знак жертвам Голодомора 1932–1933 гг. на Михайловской площади в Киеве.

Однако несмотря на демонстративно критическое отношение к советскому прошлому, государственная политика времен Л. Кравчука была амбивалентной, компромиссной и эклектичной. Новые ценности соседствовали с советскими шаблонами. Отношение к конкретным периодам советской истории было разным. Сталинское время оценивалось однозначно негативно. С позднесоветским периодом дело обстояло сложнее, поскольку и Л. Кравчук, и его преемник Л. Кучма некогда занимали высокие партийные и административные должности; для них это была история, которую они отчасти сами создавали. В оценке этого периода признавались «недостатки» и «ошибки», но, в отличие от сталинского, значительной ревизии он не подвергался.

Во время президентства Леонида Кравчука музейные темы сталинских репрессий, Чернобыля и Афганской войны были узаконены на государственном уровне. В 1994 г. был создан историко-мемориальный заповедник «Быкивнянские могилы», который стал одним из основных мест коммеморации жертв сталинских репрессий, местом для посещения заграничных делегаций. В 1992 г. был открыт Национальный музей «Чернобыль» (Киев), который стал главным

центром разработки государственного нарратива о Чернобыле. Афганскую тематику на государственном уровне определяют тематически-реликвийная выставка «На чужих войнах: и трагедия, и доблесть Афгана» (г. Киев, 1992), функционирующая как подразделение музея Великой Отечественной войны, и музей воинов Винничины, погибших в Афганистане (Винница, 1993). Среди региональных негосударственных инициатив выделяются музеи, посвященные истории ОУН-УПА: музей под открытым небом «Лагерь ВО УПА “Вольнь-Юг”» (музейный комплекс на территории Шумского района, Тернопольской области, 1992 г.), музей истории УПА (г. Подгайцы, Тернопольская обл., 1993 г.), музей освободительной борьбы (с. Кавское, Львовская обл., 1993 г.).

Трансформация советских музеев является еще одной чертой этого времени. С момента провозглашения независимости на базе музея партизанской славы, основанного в 1963 г. в г. Яремче Ивано-Франковской области, появился Карпатский краевой музей освободительной борьбы. До 1991 г. в музее рассказывалось только о советском партизанском движении. Сейчас там показаны все этапы развития освободительной борьбы в регионе: опрышковское движение, история украинских сечевых стрельцов, создание ОУН и деятельность УПА, а также история дивизии СС «Галичина». В музее сохранилась также информация о деятельности советских партизан под руководством С. Ковпака и С. Руднева в Карпатах.

Следовательно, в первые годы украинской независимости в музейной практике, ориентированной на меморализацию советского прошлого, узаконивается доминирование виктимизации как определяющего государственного нарратива. На региональном уровне, прежде всего на Западной Украине, кроме виктимности, заявлен нарратив героизма, выраженный в музеефикации ОУН-УПА. Кроме этого, в этом регионе наиболее выразительна тенденция, связанная с трансформацией советских музеев, наполнением их новым содержанием.

Л. Кучма:

Попытка соединения национального и советского

Десятилетие президентства Леонида Кучмы исследователи называют периодом «сознательно практикуемой амбивалентности» [Грицак, 2013, с. 235], выразившейся в попытках соединить национальный и советский нарративы. Символически это можно определить как колебание между Грушевским и Щербицким: в 1998 г. в

Киеве открывается памятник М. Грушевскому, главе Центральной рады 1917–1918 гг., выдающемуся историку; в 2003 г. на государственном уровне празднуется 85-летие бывшего первого секретаря Компартии Украины В. Щербицкого.

Нациоцентрический вектор был нацелен на мемориализацию травматического опыта коммунистического прошлого с ярко выраженной антисоветской семантикой. В 1994 г., в начале своего правления, президент Л. Кучма подписал распоряжение «О мероприятиях по чествованию памяти жертв политических репрессий, похороненных в поселке Быкивня». В том же году был установлен памятный знак воинам-афганцам. В 1997 г. постановлением Кабинета министров создается рабочая группа по изучению и оценке деятельности ОУН-УПА, которая через несколько лет обнародовала итоги своей работы. В 1998 г. Президент подписал указ «Об установлении Дня памяти жертв Голодомора», по всей Украине были устанавливались памятники жертвам тоталитаризма и голодомора. А в 1999 г. состоялось открытие мемориального комплекса памяти жертв Чернобыля: «Круг памяти» и «Курган-могила». В 2003 г. в соответствии с распоряжением президента Л. Кучмы в нормативно-правовой базе появился символический образ героев Крут – трехсот молодых защитников украинской независимости, согласно официальной версии, самоотверженно сражавшихся с пятитысячной большевистской армией, наступавшей на Киев в январе 1918 г.

Синхронно с национальным нарративом звучал неосоветский, связанный с коммеморацией событий и персон, занимавших почетное место в советской версии истории Украины. В 1995 г. состоялось празднование дня рождения Богдана Хмельницкого, а в 1998 г. отмечается 350-летие начала освободительной борьбы под предводительством Богдана Хмельницкого. В 1999 г. в Украине на основании указа президента Л. Кучмы отмечали «60-летие объединения украинских земель в единое украинское государство», что в контексте западной историографии прочитывается как празднование на государственном уровне нападения советских и немецких войск на Польшу, вследствие чего к советской Украине были присоединены западные области. В 1999 г. был издан Указ Президента о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. В 2001 г. подписан Указ «О дне партизанской славы»; его празднование продолжилось в 2007–2010 гг. В 2002 г. Л. Кучма издал Указ о праздновании 60-й годовщины создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». Все эти нормативные документы свидетельствуют об активной поддержке советских стереотипов и мифов, которые созвучны с исторической политикой современной России.

В контексте амбивалентной политики памяти, проводимой Л. Кучмой, региональные музейные практики становятся более выразительными. Именно период его правления стал основополагающим в региональной меморализации освободительного движения ОУН-УПА и его лидеров. Этот факт указывает на несовпадения государственной политики и общественных настроений. Прежде всего это касается населения трех областей (Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской), которое вопреки интересам политической элиты иконизировало освободительное движение в многочисленных музеях, вытесняя оттуда советскую тематику.

В. Ющенко: Укрепление национального канона

Оценивая значение президента В. Ющенко в области политики памяти, Ярослав Грицак отмечал, что он «одержим прошлым и провоцировал исторические дискуссии по надобности и без надобности». Историк констатирует: «...если перед Оранжевой революцией историки жаловались на отсутствие серьезного обсуждения исторического прошлого в Украине, то после 2004 г. чувствуется сильная усталость от дискуссий на исторические темы» [Грицак, 2011]. Активным актором поля памяти становится основанный в 2006 г. по польскому образцу Институт национальной памяти. В соответствии с Указом Президента Украины «О некоторых мероприятиях по празднованию выдающихся событий в национальной военной истории» (2009) он должен разработать «Предложение об определении перечня Дней украинской воинской доблести и формировании реестра объектов и мест, связанных с выдающимися событиями национальной военной истории».

Политика памяти, проводимая В. Ющенко, имела ярко выраженный националистический и антисоветский характер. Преодолевая амбивалентность предыдущего периода, властвующая элита пыталась активно насаждать собственную нарративную модель, вытесняя при этом советскую. Можно выделить три основных элемента национальной модели в варианте В. Ющенко.

Первый – это образ героев Крут, который, несмотря на то что данное событие оценивается неоднозначно, стал интерпретироваться как главный символ борьбы против большевистской интервенции. Главным объектом праздничных мероприятий становится мемориальный комплекс «Памяти героев Крут» возле с. Памятное,

строительство которого началось еще в 1990 г. по инициативе общественности. Президент лично посещал ежегодные коммеморативные мероприятия [Станція Крути, 2009], подчеркивая этим важность события в новосоздаваемом историческом каноне. В 2007 г. коммеморация дополняется оценочной характеристикой: сражение молодых защитников Украины против большевистской армии названо «подвигом» («Подвиг героев Крут»).

Второй элемент – это почитание памяти жертв Голодомора. Одним из основных проектов В. Ющенко в области памяти было создание «Мемориала жертв Голодомора» в Киеве и установление традиции ежегодного почитания этой трагической страницы в истории Украины. Коммеморативные практики, связанные с голодомором, считают наиболее успешными проектами памяти, осуществленными В. Ющенко, которые содействовали привлечению внимания к этому событию и повысили уровень консолидации украинского общества вокруг своего исторического прошлого¹.

Этого не скажешь о третьем элементе национальной модели В. Ющенко – почитании героев ОУН-УПА. Как уже отмечалось, на протяжении периода президентства Л. Кучмы проводилась активная научная работа по изучению феномена украинского освободительного движения, но ее результаты никак не отразились в области государственного управления. Только во время президентства В. Ющенко эта тема стала объектом внимания на государственном уровне, именно в это время появилось большинство памятников Бандере. В 2007 г. Президент В. Ющенко подписал Указ «О праздновании 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии», он вспоминал воинов УПА во время празднования Дня победы и в других случаях, желая вписать их в украинский исторический канон. Значительных успехов, однако, это не имело. Как заявляют ученые, количество тех, кто относился негативно к УПА, упало на протяжении 2006–2007 гг. от невыразительного большинства (52%) до меньшинства (46%), но, кроме Западной Украины, УПА не имеет четко выраженной позитивной оценки [Грицак, 2013, с. 242]. В конце своего правления президент В. Ющенко посмертно наградил С. Бандеру и Р. Шухевича званием Героев Украины, что вызвало неоднозначный резонанс в украинском обществе и за границей.

¹ Ситуация с политическими играми вокруг темы Голодомора во время президентства В. Ющенко, однако, предусматривает много проблемных сюжетов [см. подробнее: Касьянов, 2016 а].

Оценивая культурную политику В. Ющенко, нужно отметить, что в 2005–2010 гг. складывались благоприятные условия для создания музеев. В частности, во время его президентства экспозиционные комнаты в помещении киевского «Мемориала» получают статус Музея советской оккупации (2007). На протяжении 2008–2009 гг. создается упоминаемый ранее комплекс «Мемориал жертв Голодомора», в 2009 г. открывается музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове, филиал областного музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры, Мемориальный комплекс «Демьянов Лаз» в Ивано-Франковске. Примечательно, что все музеи, кроме первого, получают статус национальных, чем подчеркивается их определяющая роль в конструировании современной политики памяти¹.

Если подытожить политику памяти времен В. Ющенко, то следует отметить, что ее целенаправленный национальный вектор не способствовал консолидации украинского общества, скорее наоборот – вызвал еще большую регионализацию, раздробленность представлений граждан об историческом прошлом, их желание отстоять свою версию. Это ярко выражено в коммеморативных акциях. Например, в Луганске открыли музей жертв «оранжевой революции» [Гребенюк, 2007], памятники жертвам УПА появились в Симферополе (2007) и Луганске (2008), в с. Улановом (Сумская область) был установлен памятник односельчанам, которые «погибли от рук бандитов ОУН-УПА на Западной Украине» (2008).

В. Янукович: Ревизия национальной модели

Политика памяти, проводимая В. Януковичем, была диаметрально противоположна политике его предшественника². Основные элементы национальной модели В. Ющенко либо открыто критиковались, либо подвергались профанации. Описывая специфику

¹ Признавая роль В. Ющенко в создании благоприятных условий для открытия музеев, нужно также отметить определяющую роль частной инициативы, общественных организаций, региональных элит в создании и функционировании вышеупомянутых музеев. К примеру, Роман Круцик сыграл огромную роль в создании Мемориального комплекса «Демьянов Лаз» и Музея советской оккупации.

² В. Янукович назначил нового директора Института национальной памяти, что свидетельствует о смене политики памяти. Новым директором стал историк, член ЦК Компартии Украины Валерий Солдатенко.

празднования памяти героев Крут, Светлана Набок обращает внимание на характерные изменения официальной риторики. В 2011 г. В. Янукович видел в событиях под Крутами «подвиг украинских юношей, которые погибли, защищая свое государство». В следующем, 2012 г. он акцентировал «большую ответственность наставников и командиров за решения, которые они принимают», т.е. содержание события было возведено до уровня тактической ошибки. В 2013 г. содержание события изменилось из «напоминания об ответственности командиров» в «пример патриотизма и любви к родной земле» [Набок, 2013, с. 266].

В. Янукович изменил оценку голодомора в направлении, больше отвечавшем российским интересам. Выступая в Европарламенте, он заявил, что не считает голодомор геноцидом украинского народа. Хотя накануне сентябрьского визита Януковича в США на официальном веб-сайте президента восстановили рубрику о голодоморе (ликвидированную сразу после смены власти), это не изменило официальной оценки этого события как страшной трагедии, общей для народов СССР [Портнов, 2010].

Наиболее радикальной ревизии подверглась политика коммеморации ОУН-УПА и их лидеров. Донецкий суд признал незаконными указы Ющенко о присвоении званий Героев Украины Бандере и Шухевичу, аргументируя это тем, что оба награжденных посмертно деятеля не были гражданами Украины. Накануне 9 мая в центре Киева открылась выставка «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА», посвященная этнической зачистке на Волыни 1943 г. Организовывал это мероприятие депутат Верховного Совета от Партии регионов Вадим Колесниченко, который представил выставку как инициативу «русскоязычных украинцев» [там же].

Апелляция к советскому стала одной из отличительных особенностей политики Януковича. Юрий Луканов точно подметил черты советского стиля в его публичном поведении: «...президент, выступая по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете, не вспомнил ни Киевскую Русь, ни казацкое государство, ни Украинскую Народную Республику. Отметил только единственный корень независимости – в близкой ему по духу УССР. По телевизору каждый день показывают Януковича, который встречается с подчиненными и картинно дает непревзойденные по своей глубине указания. Некий модернизированный Леонид Брежнев, который мудро указывал народу, что “экономика должна быть экономной”» [Луканов, 2010].

В музейном деле времен президентства Януковича заметно несколько тенденций. Во-первых, открываются несколько музеев, посвященных освободительной борьбе, как в Киеве, так и в регионах. Это музей шестидесятников в Киеве, филиал Музея истории города Киева (2012), музей освободительной борьбы Украины (Львов, 2012), Дрогобичский музей «Тюрьма на Стрийской» (2012–2013). Во-вторых, обновляются музеи, которые рассказывают о советской славе, например Музей истории шахты «Центральная-Ирмино» и стахановского движения в городе Ирмино Луганской обл. (создан в 1962 г., обновлен в 2011 г.). В-третьих, усиливается частная инициатива в музеефикации советского прошлого. Народные музеи начали появляться во время президентства В. Ющенко. К примеру, музей «Советская школа» (с. Колочава, Закарпатская обл., 2006), «Музей тоталитарного периода или самодельный музей средств управления и экономической литературы тоталитарного периода» (Тернополь, 2009).

В 2010-е годы количество частных музеев заметно увеличивается, что созвучно с восточноевропейскими практиками музеефикации коммунизма. После «изобличающих» 1990-х годов с их критическо-осуждающей оценкой политической и социально-культурной составляющей коммунизма вектор интереса в 2010-х поворачивает к осмыслению советской повседневности. Среди самых ярких образцов этого поворота можно назвать следующие украинские музеи: парк Советского периода (с. Фрумушика-Нова, Одесская обл., 2011), военно-патриотический музей «Шампань» (с. Шампань, Черкасская обл., 2011), музей истории Украины советской эпохи на частной основе (с. Будище, Черкасская обл., 2011), «Машина времени (Днипро, 2013).

Революция достоинства: Вытеснение несоветского

Революция достоинства символизировала протест не только против коррумпированной пророссийской власти, но и против советского наследия, которое все еще доминировало на топографическом уровне, в государственном управлении, в мышлении и поведении украинцев. «Ленинопад» как интегральная событийная часть Майдана ознаменовала brutальное, но вынужденное выступление против «бронзового» советского прошлого, демонстрируя готовность украинцев сознательно и навсегда отказаться от символов коммунизма.

В начале 1990 г. в Украине насчитывалось 5015 памятников Ленину. Несмотря на указы президентов Леонида Кравчука в 1991 г. и Виктора Ющенко в 2007 г. о демонтаже памятников и смену топонимических названий, связанных с коммунистическим режимом, памятники Ленину в 2010 г. стояли в 2692 городах и селах.

Чтобы показать меру радикальных изменений, произошедших во время Майдана, сошлюсь на статью Петра Кралюка «Украинский мазохизм, или Наш Ленин», опубликованную на сайте Радио Свобода 22 апреля 2013 г., в день рождения Ленина, за несколько месяцев до Революции достоинства. Автор осмысливает феномен украинского мазохизма, который проявляется в чувствительности украинцев к своим палачам, прежде всего к Ленину, памятники которому были по всей Украине. Он эмоционально восклицает: «А вот в Украине повсеместно встречаем памятники человеку, который принес видимо наибольшее зло ее народу. Имею в виду Ленина. Существование этих памятников, как и многочисленных улиц Ленина, населенных пунктов под названием Ленинское воспринимаются у нас как нечто вполне нормальное. Более того – те, кто пытается уничтожить эти памятники, подвергаются преследованию со стороны государственных структур. С этим мы не раз встречались за время независимости Украины. И, видимо, будем встречаться» [Кралюк, 2013].

«Ленинопад» – массовый снос памятников Ленину – начался 8 декабря 2013 г., когда был свергнут памятник возле Бессарабского рынка в Киеве. Знаковыми событиями в процессе «ленинопада» считаются демонтаж памятника большевистскому вождю в центре Днипра (Днепропетровска) 22 февраля 2014 г. и Харькове 28 сентября 2014 г. География и масштабы «ленинопада» впечатляют: по подсчетам историков, во время Майдана и после него в Украине разными способами демонтировано 857 памятников Ленину и 130 – большевистским лидерам [Кінець ленінізму, 2015]. По другой информации [Памятники Ленину... б.г.], эти цифры значительно выше. По данным на 12 января 2016 г., демонтировано 910 памятников Ленину.

Эмпирический анализ позволяет утверждать, что «ленинопад» происходил там, где доминирует украиноцентричная позиция. Памятники Ленину остались в основном в Донецком регионе, который сегодня не контролируется украинской властью. Этот пример убеждает в том, что существует крепкая и неразрывная связь современной имперской политики Кремля с советскими колонизаторскими практиками.

Период постмайдана и президентство П. Порошенко отмечаются активизацией политики памяти с преобладанием нациосо-зидающих доминант и вытеснением неосоветских. Главной тенденцией новейшей культуры памяти выступает умеренная версия украинского национального нарратива. Детерминантами такого направления стали общественные инициативы и трагические социополитические события в Крыму и на востоке страны.

Майдан обострил проблему рецепции советского прошлого и мобилизовал всех мнемонических акторов, особенно государство. Одним из наиболее активных государственных мнемонических акторов сейчас выступает переформатированный Институт национальной памяти [Касьянов, 2016 b], который регулирует кардинальные изменения в современном хронотопе.

Среди наиболее важных изменений надо отметить реформы календаря национальных праздников, которые коснулись Дня победы и Дня защитника Отечества. Неоднозначность в восприятии войны, болезненное преодоление стереотипов, особенность «украинской» судьбы в контексте войны обусловили решение о гибридном варианте празднований в 2015 г.: 8 мая вместе с Европой Украина почтила память погибших во Второй мировой войне, что пошатнуло базовый миф о войне как о победном походе, исключительности советского народа как главного победителя. 9 мая, в привычный еще с советских времен праздничный день календаря, почтили подвиг солдат в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Главное отличие от предыдущих празднований состояло в том, что на протяжении двух дней говорили не о советской победе, а об украинском вкладе в эту победу солдат, находившихся в разных лагерях разных стран, воевавших против нацистской Германии. Впервые слово «советский» было отодвинуто на второй план словом «украинский»: это, видимо, самая большая победа над советской версией войны и наиболее результативный шаг в конструировании современной украинской идентичности. Здесь речь идет о концепции, а не о синусоиде социальных настроений. Но уже то, что Украина впервые смогла выработать такую концепцию и целенаправленно внедрить ее в коммеморативные практики 9 мая, сигнализирует об изменениях в культурной политике.

Если майские празднования отличались стратегией примирения советского прошлого с современной ревизией и попытками найти «серединный» и «умеренный» вариант коммеморативных практик, то День защитника Отечества претерпел радикальные изменения. Впервые президент Украины Петро Порошенко пред-

ложил упразднить празднование «советского» Дня защитника Отечества 23 февраля в своей речи ко Дню независимости Украины в 2014 г. 14 октября Президент подписал указ о праздновании Дня защитника Отечества в этот день и этим одновременно упразднил другой указ о праздновании его 23 февраля. В 2015 г. Верховный совет сделал 14 октября выходным днем, подчеркнув этим исключительный статус этого праздника. Такие изменения в календаре свидетельствуют о разрыве с российской милитаристской парадигмой и указывают на преемственность и неразрывность украинской военной истории, прежде всего казачьей.

В начале 2017 г. Институт национальной памяти предоставил для обсуждения проект нового календаря государственных праздников. В этом проекте изменено количество выходных дней (9 вместо 11), предлагается перенести выходной праздничный день с 8 марта (Международного женского дня) на 9 марта – день рождения Шевченко, украинского поэта; вместо 1–2 мая учредить День семьи во вторую пятницу сентября; вместо 9 мая сделать выходным 8-е – День памяти и примирения. Кроме нововведений, связанных с выходными праздничными днями, новый украинский календарь может пополниться днями памяти: 26 апреля – День памяти жертв аварии на ЧАЭС, 18 мая – День памяти жертв геноцида крымских татар, третье воскресенье мая – День памяти жертв политических репрессий, 23 августа – День памяти коммунистического и нацистского режимов, 29 сентября – День памяти жертв холокоста, четвертая суббота ноября – День памяти жертв голодомора. Тематически близкими к дням памяти также выглядят День героев Крут (29 января), День героев Небесной сотни (20 февраля). Нетрудно заметить, что предложенный проект нацелен на вытеснение советских праздников и введение новых принципов коммеморации, в которых виктимность значительно преобладает над героичностью.

Изменения в календаре тесно связаны с изменениями в топонимике, которые направлены на создание нового ценностного пространства. Благодаря стараниям сотрудников Института национальной памяти в апреле 2015 г. украинский парламент принял закон о декоммунизации, который предусматривает запрет использования советских символов, изменение топонимики и фиксирует четкое отношение государства к советскому наследию, его попытки навсегда распрощаться с коммунистическим прошлым. Подводить итоги декоммунизации еще слишком рано [Shevel, 2016], но несколько наблюдений кажутся очевидными.

Во-первых, реализация закона показывает значительную инертность украинского общества к необходимости изменять топонимику, что можно объяснить тем, что эта мера запоздала, а также тем, что общество больше заботят экономические и социальные проблемы. Во-вторых, стало понятно, насколько тяжело отличить идеологически опасное содержание советского от его «исторической ценности», художественного значения его артефактов.

Ярким примером этого стала дискуссия вокруг демонтажа барельефа на фасаде Украинского дома – образца монументальной пластики, в котором воплощен традиционный советский миф в стилистике соцреализма: героизированная история в исполнении простых людей [Чому спилують... 2016]. На барельефе здания, которое построено в позднесоветское время и служило музеем Ленина, изображены пролетарии, серп и молот, пятиконечная звезда, знаменитая цитата из Ленина «Учиться, учиться и еще раз учиться», надпись «Аврора» и другие символические знаки, связанные с советской эпохой. 18 августа 2016 г., перед празднованием 25-летней годовщины независимости Украины, Директор Украинского дома, центра делового и культурного сотрудничества, который находится в самом центре Киева, принял решение о демонтаже барельефа, руководствуясь законом о декоммунизации: он полагал, что после Революции Достоинства советским символам не место в центре столицы. Против такого решения выступили архитекторы и активисты, указывая, что барельеф не нес идеологической угрозы и не должен быть демонтирован.

В-третьих, проблема героев стала более выразительной, особенно в связи с полемикой вокруг ОУН-УПА. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, развенчивая миф об использовании героики освободительного движения в топонимике, свидетельствует, что сейчас одним из наиболее употребляемых топонимов являются названия, связанные с героями Майдана, Небесной сотней. Несмотря на рост позитивных оценок ОУН-УПА в соцопросах [Уперше прихильників... 2015], вызывают тревогу чрезмерное восславление и героизация. Не случайно авторы одной из статей вынесли в ее заглавие провокативный вопрос: «Бандера – “новый Ленин?”» [Драпак, Печеник, Улинець, 2016]. Проблему ОУН-УПА в контексте топонимической войны убедительно иллюстрирует переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Бандеры.

Институт национальной памяти проводит также мероприятия, связанные с созданием мемориалов и музеев, пример – открытие

Национального пантеона. В январе 2015 г. было принято Постановление Верховного Совета «Об увековечении памяти Героев Украины, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины», которое предусматривает «создание в центральной части столицы Украины, городе-герое Киеве Украинского национального пантеона (мемориального комплекса)». 26 августа 2015 г. Президент издал указ «О мероприятиях по созданию мемориала украинских героев», которым поручил правительству принять меры по созданию в столице Украинского мемориала. Институт также инициирует создание Музея Майдана, посвященного мемориализации событий Революции достоинства и героев Небесной сотни. Музей уже имеет выставочный потенциал и своего директора. В начале 2017 г. стало известно, что Киевский городской совет выделил место для нового музея.

Инициативы Института национальной памяти имеют место в контексте активизации музейной политики. Почти одновременно с принятием закона о декоммунизации министр культуры объявил о создании Музея коммунизма и даже предложил разместить экспозицию на территории Музея в Пирогово (Национальный музей народной архитектуры и быта Украины) [Повалені пам'ятники... 2015], она запланирована как продолжение экспозиции «Советское село». 1 июля 2015 г. решением Киевской городской администрации объявлено о создании нового Музея советской оккупации.

На протяжении 2015 г. были переименованы два стратегически важных для формирования коллективной памяти музея. Название «Национальный музей “Мемориал памяти жертв Голодоморов”» изменено на «Национальный музей “Мемориал жертв Голодомора”» (приказ подписан 31 июля 2015 г.), что свидетельствует о целенаправленном подчеркивании эксклюзивной роли голодомора 1932–1933 гг. в национальной модели истории XX в. и о новой попытке узаконить статус голодомора как геноцида на украинском и мировом уровнях.

«Национальный музей истории Великой Отечественной войны» переименован в «Музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс» (приказ подписан 16 июля 2015 г.). Такое переименование свидетельствует о намерении отмежеваться от «общего» советского и постсоветского видения истории. Кроме этого, изменено название одного из подразделений музея: тематическая реликвийная экспозиция «На чужих войнах: и трагедия, и доблесть Афгана» потеряла вторую часть названия, которая была связана с нарративом героизма.

Важно также отметить выставочную активность музеев в презентации советского прошлого. В конце февраля 2016 г. почти одновременно открываются выставки на советскую тематику: выставка в Национальном музее истории Украины «Искусство на службе советской пропаганды» (27 февраля) и выставки в Днепропетровском историческом музее «Литературное Приднепровье» (куратор Ирина Мазуренко) и «Серп и молот.: прощание с советом» (24 февраля).

В осмыслении современных тенденций в конструировании памяти о коммунизме интересным кажется вопрос об участии в этом процессе регионов. 9 декабря 2015 г. в Запорожском национальном университете открылась комната-музей советского быта. В помещении площадью в 15 м² студенты исторического факультета собрали более 400 экспонатов. Один из инициаторов создания музея, доцент кафедры новейшей истории Украины ЗНУ Татьяна Грушева утверждает: «Наш музей сегодня – это стилизация советской эпохи и быта обычной советской квартиры, вещи собрали студенты и преподаватели ЗНУ. Собирали немного больше года. У нас здесь и украшения, и письма, печатная машинка 30-х годов, даже советская косметика. В музей могут попасть все желающие, кроме этого, мы здесь будем проводить практические занятия для наших студентов» [Белан, 2015].

Открытие этого музея вызвало неожиданный для его организаторов резонанс в СМИ, в том числе – и негативный: были публикации, расценивавшие музей как средство пропаганды. К дискуссии присоединился Владислав Мороко, директор департамента культуры, туризма, национальности и религии Запорожской ОДА, профессиональный историк. В интервью portalу «Укрінформ» он поддержал появление музея советского быта и анонсировал появление экспозиции о советской номенклатуре в Запорожском краеведческом музее, заявив: «Мы хотим показать реальные вещи, номенклатурную иерархию. Потому что каждый райком имел свои столы, свои стулья, свои требования и права. Например, секретарь райкома мог брать билеты на государственные деньги только в плацкартном вагоне, а секретарь обкома – уже в купейном. Вообще, мы хотим показать быт не только советского человека, но и номенклатуры. Люди должны знать, что советское время не было идеальным. И попытка кое-кого рассказать о социалистическом Эдеме в СССР – ложь. На самом деле, не все было так хорошо и справедливо. <...> Поэтому мы хотим показать на примере этих элементарных вещей, какой позорный быт и жизнь были в советское время, как все ходили практически одинаково одеты. Чтобы провести корпоративный

анализ и сравнить быт советских людей периода “развитого социализма” и быт “загнивающего капитализма”, нужны вот такие выставки» [Мороко, Клименко, 2015].

Интерес к советской повседневности объединяет две социальные группы в Фейсбуке – «Виртуальный музей быта в СССР» и «Музей СССР – и смех, и грех». Их появление свидетельствует, во-первых, о повышении роли интернет-ресурсов в формировании политики памяти, во-вторых, о создании диалогового пространства, призванного выявить социальные настроения, в-третьих, о мобилизации общества для создания проектов памяти.

Инициатор создания группы «Музей СССР – и смех, и грех» – Ярослав Музыченко, бывший сотрудник Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» и нынешний сотрудник Национального музея истории Украины, имеет опыт работы в двух ведущих музеях, один из которых можно назвать ключевым в продвижении идеи виктимизации. В посте от 6 февраля 2016 г. Ярослава Музыченко пишет: «Нужен музей СССР. Не исключительно террора и тоталитаризма – а самого обычного быта. Обычная посуда, упаковки продуктов, внешний вид магазинов, школ, учебников... Первомайские демонстрации, политинформации, содержание прессы для детей. Очереди за стиральным порошком и авоськи за форточками – вместо не существующих холодильников. Сухари на черный день. Внешний вид магазинов для партаппаратчиков, апартаменты номенклатуры. История с “выветриванием” людских сбережений в СССР. И много другого. Как может человек понять из какой неволи мы вышли, если не увидит такой экспозиции, созданной творчески, с юмором, пусть даже виртуальной?»

Появление музея советского быта в год провозглашения декommунизации, создание социальных групп, которые выражают интерес к поливариантному изображению советского прошлого, в то время, когда на уровне государства объявляется разрыв с коммунистическим прошлым и в очередной раз усиливается жертвенность как основной рецептивный принцип, сильно проблематизирует вопрос о сути и стратегии музеефикации коммунизма в Украине. Музей советского быта, основные тезисы социальных групп свидетельствуют о том, что существует желание создать не однородный, а полиморфный образ советского прошлого, который будет представлять различные точки зрения. Многомерная экспозиция будет призывать к альтернативным прочтениям и к слаженным выводам по поводу советского прошлого.

Заключение

В современной музеефикации коммунизма в Украине прослеживаются две тенденции. Государственные инициативы связаны с музеефикацией и осмыслением травматического опыта советского прошлого, интерпретацией его как оккупации. Региональные и частные инициативы часто направлены на создание более нейтрального образа СССР.

Оценивая политику памяти за 25 лет независимости, можно сказать, что выработалась основная тенденция в репрезентации советского прошлого и различные подходы в формировании политики памяти о советском наследии. Основой национального нарратива является принцип виктимизации, т.е. представление украинцев как жертв советского тоталитаризма. Отсюда внимание к сталинским репрессиям, Голодомору, Афганской войне и Чернобылю. За последние годы значительно увеличилась роль нарратива героизма, что связано с восславлением освободительной борьбы, в контексте военной пропагандистской политики в частности. Что касается политики памяти на государственном уровне, то она нередко строится по контрасту: на протяжении 25 лет в официальной политике поочередно преобладали несоветские и национальные модели, но ни одна из них не стала доминирующей.

Политика памяти во время президентства Л. Кравчука в определенном смысле была нацелена на преодоление коммунистического наследия, прежде всего сталинского периода. Во время президентства Л. Кучмы сохранилась линия на виктимизацию как основной принцип оценки сталинского периода, но во всем остальном наблюдалось намерение примириться с советским прошлым. Таким образом, «оранжевой революции» в оценках советского прошлого преобладал принцип селективности: преступным считался только сталинский (тоталитарный) период. Политика памяти при президенте В. Ющенко была направлена на радикальный разрыв с советским наследием, в этом процессе значительную роль играло появление новых мнемонических акторов и создание новых символических мест памяти. Во время президентства В. Януковича произошла адаптация советских схем мышления и управления к капиталистическим условиям. Революция достоинства засвидетельствовала коллапс сосуществования двух нарративных форм, использовавшихся до этого момента, – советской и национальной – и стимулировала граждан и государственные органы на создание новой политики памяти. Два года президентства П. Порошенко

свидетельствуют о том, что ведется целенаправленная работа по созданию новой политики памяти о коммунистическом прошлом, направленной на декоммунизацию разных сфер жизни.

Оценивая государственную политику в области музейного дела, следует отметить, что только В. Ющенко во время своего президентства содействовал музеефикации трагического советского прошлого: предоставив статус «национальных» нескольким музеям, он четко продемонстрировал приоритетные направления политики памяти. Государственные музеи двигаются в фарватере государственной политики памяти, сосредоточиваясь на идее виктимности, поэтому в них преобладают темы сталинских репрессий, голодомора, Чернобыля и Афганской войны.

Музеефикация темы сталинских репрессий происходила с определенной периодичностью. Первым появился Национальный историко-мемориальный заповедник «Быкивнянские могилы. Международный мемориал жертв тоталитаризма 1937–1941 гг.» (в 1994 г.), позже, в 1996 г., – Тернопольский историко-мемориальный музей политзаключенных. Недавно открылся Дрогобичский музей «Тюрьма на Стрыйской» (2012–2013), в процессе создания находится Львовский музей «Территория террора». Темы голодомора, Чернобыля сосредоточены в центральных киевских музеях, выявляя специфику государственной интерпретации этих исторических событий. Статус темы Афганской войны – менее определенный: недостаток активности государства компенсируется здесь ростом частной инициативы в борьбе за место в проектах памяти. Примечательно, что эта борьба не имеет выраженной региональной характеристики: музеи Афганской войны можно найти во всех регионах Украины.

Нарратив сопротивления и героизма имеет характерные региональные особенности. Несмотря на неопределенную государственную политику в отношении памяти об ОУН-УПА, в Галичине насчитывается более 25 различных музеев, посвященных меморализации освободительного движения и его лидеров. Показательно то, что они появились независимо от политики из «центра», большинство из них открылись во время президентства Л. Кучмы. Безусловно, эти музеи по различным причинам не являются активно посещаемыми, а это означает, что они не могут значительно влиять на политику памяти. Однако количество этих музеев и типы нарративов (героизация, сакрализация, восславление, иконизация) явно указывают на попытки отвоевать место в коллективной памяти о XX столетии.

На протяжении 25 лет, особенно со второй половины 2000-х, не менее значимую роль в формировании проектов памяти постепенно и постоянно начинают отвоевывать музеи, созданные по инициативе локальных обществ или частных лиц. Это прежде всего проекты коллекционеров, бизнес-туристические проекты и университетские комнаты-музеи. Их объединяет желание сформировать образ советской повседневности, т.е. создать нейтральный образ коммунизма, часто интерпретируемый через призму личного опыта. Индивидуальные музейные проекты, выявляя интересы определенной генерации и социальных категорий, создают конкуренцию государственным нарративам, значительно расширяя интерпретационную парадигму мнемонических проектов.

Литература

- Белан Г. Музей радянського побуту відкрили у Запорізькому національному університеті. – 2015. – 9 грудня. – Режим доступу: <http://www.unn.com.ua/uk/news/1528474-muzey-radyanskogo-pobutu-vidkrili-u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Драпак М., Печеник М., Улинець Н. Бандера – «новий Ленін»? // Дивись. info. – Київ, 2016. – 15 жовтня. – Режим доступу: <http://dyvys.info/2016/10/15/bandera-na-pyedestali-skilky-naspravdi/> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Гребенюк Я. У Луганську відкрили пересувний «Музей жертв Помаранчевої революції» у десятих «примірниках» // Радіо Свобода. – Київ, 2007. – 20 серпня. – Режим доступу: <http://www.radiosvoboda.mobi/a/968356.html> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Грицак Я. Історія в особах: до формування історичної пам'яті в Україні 1991–2001 рр. // Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю. Шаповала. – Київ: ІППЕНД, 2013. – С. 231–250.
- Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад. – Київ: Критика, 2011. – 176 с.
- Касьянов Г.В. Историческая политика и «мемориальные» законы в Украине: начало XXI в. // Историческая Экспертиза. – СПб., 2016 а. – № 2. – С. 28–57.
- Касьянов Г. К десятилетию Украинского института национальной памяти, (2006–2016) // Historians. – Киев, 2016 б. – 14 января. – Режим доступа: <http://historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1755-georgij-kas-yanov-k-desyatiletiiyu-ukrainskogo-institutu-natsional-noj-pamyati-2006-2016> (Дата посещения: 09.12.2016.)
- Касьянов Г. Націоналізація історії: методологічні та термінологічні проблеми (пострадянський простір, 1990-ті роки) // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 36–46.

- Кінець ленінізму // Тиждень. – Київ, 2015. – 26 листопада. – Режим доступу: <http://tyzhden.ua/Infographics/152483> (Дата посещения: 09.12.2016.)
- Кралюк П. Український мазохізм, або наш Ленін // Радіо Свобода. – Київ, 2013. – 22 Квітень. – Режим доступу: <http://www.radiosvoboda.org/content/article/24964237.html> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Луканов Ю. Янукович почав нагадувати Брежньєва // Gazeta.ua. – Київ, 2010. – 17 серпня. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_anukovich-rochav-nagaduvati-brezhnyeva/350959?mobile=true (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Мороко В., Клименко Л. Ми приберемо з Запоріжжя всю радянщину. – 2015. – 23 грудня. – Режим доступу: <http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1935040-vladislav-moroko-direktor-departamentu-kulturi-turizmu-natsionalnostey-ta-religiy-zarozizkoji-oda.html> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Набок С. Держава і політика пам'яті: досвід чотирьох Президентів України // Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю. Шаповала. – Київ: ІПЕНД, 2013. – С. 251–266.
- Памятники Ленину, снесенные на Украине с декабря 2013 года (список, фотографии). – Режим доступа: <http://leninstatues.ru/leninopad> (Дата посещения: 09.12.2016.)
- Повалені пам'ятники «вождів» можна розмістити у Пирогово – міністр культури. – 2015. – 19 травня. – Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/povaleni-pamyatniki-vozhdiv-mozhna-rozmistiti-u-pirogovo-ministr-kulturi-173106_.html (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Портнов А. Исторична політика президента Януковича. – Київ, 2010. – 10 жовтня. – Режим доступу: <http://polit.ua/articles/2010/11/11/history.html> (Дата посещения: 09.12.2016.)
- Станція Крути. День пам'яті. – Київ, 2009. – 30 січня. – Режим доступу: <http://svoboda.fm/politics/ukraine/195529.html> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Уперше прихильників визнання УПА в Україні більше, ніж противників, – опитування. – Київ, 2015. – 12 жовтня. – Режим доступу: <http://www.depo.ua/ukr/politics/upershe-prihilkivnikiv-viznannya-upa-v-ukrayini-bilshe-nizh-12102015123100> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Чому спилують барельєфи на Українському домі? / С. Стуканов, В. Осьмак, Н. Білик, Ю. Стельмашук. – 2016. – 20 серпня. – Режим доступу: <https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/chomu-spylyuyut-barelyefy-na-ukrayinskomu-domi> (Дата відвідування: 09.12.2016.)
- Shevel O. Decommunization in post-Euromaidan Ukraine: Law and practice // PONARS Eurasia policy memo. – Washington, D.C., 2016. – January. – Mode of access: <http://www.ponarseurasia.org/memo/decommunization-post-euromaidan-ukraine-law-and-practice> (Accessed: 09.12.2016.)
- Shevel O. Memories of the past and vision of the future. Remembering the Soviet era and its end in Ukraine // Twenty years after communism. The politics of memory and commemoration / Ed. by M. Bernhard, J. Kubik. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2014. – P. 146–170.

Д.В. Березняков, С.В. Козлов*

**ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ
ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ:
КАК «УКРАИНСКОЕ»
ПОБЕЖДАЛО «СОВЕТСКОЕ»**

Аннотация. В статье рассматривается политика идентичности постсоветской Украины. Авторы анализируют соотношение «советского» и «украинского» как символических ресурсов, используемых в процессе конструирования постсоветской украинской идентичности.

Ключевые слова: Украина; политика идентичности; «советское»; легитимация.

D.V. Bereznyakov, S.V. Kozlov

Identity politics in post-Soviet Ukraine: How «Ukrainian» prevailed over «Soviet»

The article examines identity politics in post-Soviet Ukraine. The authors analyze «the Soviet» and «the Ukrainian» elements of the mix of symbolic resources used in the course of constructing post-Soviet Ukrainian identity.

Keywords: Ukraine; identity politics; «Soviet»; legitimation.

* **Березняков Дмитрий Владимирович**, кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доцент кафедры массовых коммуникаций факультета журналистики Новосибирского государственного университета, e-mail: bereznyakov@ngs.ru; **Козлов Сергей Васильевич**, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: feld@ngs.ru

Bereznyakov Dmitrii, Siberian Institute of Management – a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Novosibirsk, Russia); Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia); e-mail: bereznyakov@ngs.ru; **Kozlov Sergei**, Siberian Institute of Management – a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Novosibirsk, Russia); e-mail: feld@ngs.ru

Политика идентичности в условиях «государственного строительства наоборот»

В конце 1991 г. в Беловежской пуще лидеры трех славянских республик объявили о прекращении действия Союзного договора. Советский Союз *de jure* прекратил свое существование. В результате «одной ликвидации для всех с различными последствиями для каждого» [см.: Фурман, 2010, с. 53] позднесоветские элиты теперь уже бывших союзных республик неожиданно для себя оказались полноправными «хозяевами» тех экономических, материальных и силовых ресурсов, которые прежде были под их управлением.

Последующие процессы трансформации постсоветского пространства в связи с этим можно рассматривать в двух плоскостях – институциональной и символической. В первом случае можно говорить о том, что болгарский политолог Венелин Ганев удачно обозначил емкой метафорой «*государственное строительство наоборот*» [см.: Ganev, 2005]. Переосмыслив военно-налоговую модель генезиса современных европейских государств Чарльза Тилли [см.: Тилли, 2009], он предложил рассматривать период конца 1980-х – 1990-х годов как реализацию доминирующего проекта постсоветских элит, суть которого состояла в экстракции ресурсов из государства (*extraction from the state*), что в конечном счете привело к дезорганизации позднесоветских партийно-государственных институтов и их замене неопатримониальными и патронажными пирамидами [см. также: Фисун, 2006; Hale, 2015].

Второй принципиально важной плоскостью постсоветских трансформаций была выработка символических моделей интерпретации и легитимации происходящих процессов. Необходимость в новых моделях была связана с тем обстоятельством, что институциональная дезорганизация сопровождалась эрозией как базовых концептов коммунистической идеологии, так и советского метанарратива, задававшего темпоральные связи между прошлым, настоящим и будущим макрополитического сообщества [подробнее см.: Gill, 2013]. Это потребовало создания новой конструкции идентичности, коллективного «мы» вновь учрежденных постсоветских политий, скрепленного общими символами и мифологемами, вписанными в проект коллективного будущего.

Символические ресурсы, используемые для конструирования этой идентичности, можно условно разделить на три группы: 1) советское; 2) до(анти)советское; 3) актуальное несоветское прошлое.

Роспуск Советского Союза не означал одномоментного отказа от *советского* наследия. Культурный опыт, повседневные практики и общая коллективная память, сформированная за 70 лет существования Советского Союза, сохранились. Поэтому политические и интеллектуальные элиты вынуждены были определенным образом перерабатывать и встраивать «советское» в формирующиеся национальные нарративы. Иными словами, изобретать новые постсоветские нации приходилось, отталкиваясь (в обоих смыслах) от советского опыта.

Отметим, что на постсоветском пространстве отношение к советскому наследию варьируется от радикального отторжения, как в прибалтийских государствах, до максимальной комплементарности ко всему советскому, как в Белоруссии.

Поскольку все новообразовавшиеся государства были продуктами весьма специфического советского опыта национально-государственного строительства [подробнее см.: Мартин, 2011], то вполне естественным представлялся поиск акторами символической политики национальных корней в *досоветском* опыте исторического развития. При этом для некоторых государств (например, Прибалтика и Украина) оказались актуальными и антисоветские герои, символы и события, репрезентировавшие опыт сопротивления советскому государственному строительству.

Наконец, еще одним значимым комплексом символических ресурсов стали устойчивые нормативные представления об *актуальных позитивных образцах, к которым необходимо стремиться и опыт которых заимствовать*. Подчеркнем, что для разных макрорегионов постсоветского пространства эти образцы были разными. Если для тех же Прибалтики и Украины в этой роли выступала современная Европа, то для центрально-азиатских государств таковыми являлась в первую очередь Турция, которая служит примером успешного светского политического и экономического проекта, реализуемого в мусульманской стране.

Спустя четверть века можно с уверенностью говорить, что различные комбинации этих трех групп ресурсов сформировали разные модели политики идентичности на постсоветском пространстве¹.

¹ В данном случае политика идентичности понимается в широком смысле как совокупность практик, реализуемых различными политическими акторами (в первую очередь государством) и направленных на формирование и поддержание различных форм макрополитической идентичности (национальной, гражданской и др.) [подробнее см.: Политическая идентичность... 2011, с. 162–168].

При этом стоит подчеркнуть, что элиты, запустившие процессы формирования постсоветских государств, были продуктом советской эпохи и фактически принадлежали к единственному полностью советскому поколению (они родились уже при советской власти, не воевали и социализировались в послевоенной урбанизированной культуре)¹. Любой другой опыт для них – это либо историческое (досоветское) прошлое, либо актуальные внешние примеры. Именно этим элитам и пришлось, руководствуясь весьма прагматичными и утилитарными мотивами присвоения советских институциональных и материальных ресурсов, реинтерпретировать и разрушать советское символическое наследие.

Инициированная реформаторской фракцией номенклатуры перестройка запустила на пространстве Советского Союза процесс делегитимации нормативных моделей самоописания советской системы, что не только вылилось в разрушение многих советских мифологем, но и подвергло эрозии и сам советский дискурс, правила порождения легитимных высказываний, хотя этот дискурс, безусловно, не был статичным явлением, а пережил целый ряд серьезных трансформаций [см.: Фельдман, 2015; Юрчак, 2014].

Спецификой возникшей ситуации смены легитимирующих нарративов было то, что группы, обладавшие административно-управленческими и хозяйственными ресурсами, оказались в тени нарождающейся публичной политики, выступая своего рода «немыми акторами», а «властителями дум» и «творцами дискурса» новой посткоммунистической реальности оказались представители позднесоветской интеллигенции. В развернувшейся внутривнутрипартийной борьбе горбачевская фракция нуждалась в их поддержке как обладателей нового типа символического капитала, связанного со способностью навязывать новые легитимные схемы социально-политических классификаций. Это, в частности, проявилось во всплеске тиражей «толстых» журналов (который, отметим, был «лебединой песней» поколения «шестидесятников»).

Ключевым моментом делегитимации советского видения реальности стало заполнение «белых пятен» истории в годы перестройки – лавинообразный поток информации о событиях и фигурах, о которых прежде принято было умалчивать. Советская «дик-

¹ На момент распада Советского Союза лидерам компартий союзных республик было от 42 до 59 лет (средний возраст – 52 года). Они преимущественно родились в деревне и делали карьеру как менеджеры советских промышленных производств, сотрудники спецслужб или партаппарата.

татура развития» стала центральной темой публичных дискуссий, в рамках которой на пространстве бывшего Советского Союза начал выкристаллизовываться новый антисоветский дискурс, пока еще существовавший в рамках советской системы. Таким образом, «открытие белых пятен» и критика сталинизма в период перестройки положили начало стигматизации¹ советского в постсоветский период.

Внутренняя логика критики советской идеологической системы вынуждала к поиску иных репертуаров смыслов и мифологем, позволявших переформатировать символическое поле и систему смыслов. Динамика общественных процессов, запущенных в период горбачевской перестройки, в результате привела к формированию устойчивого прозападного неолиберального нарратива, который оказался доминирующим в интеллектуальной среде большинства постсоветских государств. Неолиберальный дискурс, который начал формироваться в позднеперестроечный период, был связан с консьюмеристским и технократически ориентированным видением достижений Запада специалистами и профессионалами, которые составляли основу советского «среднего класса». Можно согласиться с Алексеем Миллером и Фёдором Лукьяновым в том, что «демократическое движение в РСФСР, которое в итоге и сыграло решающую роль в ликвидации Советского Союза, пыталось встроиться в общий антисоветский и антиимперский, однозначно прозападный нарратив, типичный для антикоммунистических и националистических движений в Восточной Европе и национальных союзных республиках (Прибалтика, Грузия, Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан)» [Миллер, Лукьянов, 2016, с. 19]. В рамках этого нарратива советское наделялось в основном негативными значениями, связанными с от-

¹ Под *стигматизацией* мы понимаем риторические стратегии конструирования социальных фактов, событий, персон, проблем, которые не только наделяются отчетливыми негативными характеристиками (с точки зрения воображаемого коллективного «мы»), но и рассматриваются как потенциальная угроза для «нас». Стигматизированные конструкты могут мыслиться в разных временных проекциях: связываться с негативными аспектами прошлого, восприниматься в качестве актуальных носителей «зла» или рассматриваться как отсроченные в будущее угрозы. Соответственно, данная стратегия предполагает задачу ликвидации стигматизированных угроз и / или их субстанционализированных носителей (например, понимание революции или реформы как необходимого акта преодоления исторически приобретенного отклонения от магистрального пути развития человечества). Как правило, такие стратегии используются с целью легитимировать вполне конкретные политические действия (перформативная функция) в актуальном политическом процессе.

рицанием частной собственности, большими жертвами, коллективными травмами, репрессивно-тоталитарным характером советского государства и уходом с общецивилизационного (по сути капиталистического) пути развития.

Как это ни парадоксально, но именно позднесоветская интеллигенция с ее морально нагруженным дискурсом критики советского опыта оказалась непреднамеренным союзником формирующихся неопатримониальных клик, обеспечивая идеологическую легитимацию «государственного строительства наоборот», развернувшегося в 1990-е годы.

При этом важно учитывать поколенческий фактор: если в период перестройки ключевыми фигурами, конструировавшими альтернативное официальному видение социальной реальности, были интеллектуалы-«шестидесятники», фактически перенесшие повестку хрущевской «оттепели» в новую ситуацию, то в 1990-е на смену им пришли гораздо более прагматично- и технократически-ориентированные представители поколения «семидесятнудых»¹.

Таким образом, общей характеристикой символического пространства в период перехода от советского к постсоветскому было стремление оттолкнуться от «советского» для легитимации нового статуса политико-административных и интеллектуальных элит вновь образованных независимых государств. Начался процесс, который американский политолог Томас Шерлок обозначил как «разрушение устоявшегося прошлого и создание неопределенного будущего» [см.: Шерлок, 2014]. Рассматриваемый нами ниже украинский случай является одним из вариантов этого процесса.

«Украинское» в позднесоветском контексте

Отметим, что политику идентичности постсоветской Украины нельзя рассматривать как цельный и законченный проект с заранее продуманной внутренней логикой. Она формировалась ситуативно и во многом определялась соотношением ресурсов и статусов групп акторов, вовлеченных в формирование символической политики. Вместе с тем серьезной ошибкой было бы пола-

¹Этим понятием российский политолог Дмитрий Травин обозначает поколение, вступившее во взрослую жизнь в «длинные семидесятые» (1968–1985 гг.) и обладавшее устойчивыми социально-психологическими характеристиками [см.: Травин, 2011].

гать, что формирование постсоветской украинской политики идентичности началось *после* формального обретения Украиной независимости и прекращения существования Советского Союза.

Основы для понимания постсоветского украинского «мы» были заложены еще в период перестройки национал-демократами – представителями коалиции низкостатусных интеллектуалов и активистов нарождающегося националистического движения. Именно национал-демократы представляли собой украинский вариант ответной реакции на политику перестройки интеллектуальных групп, локализованных на республиканском уровне. Как и аналогичные движения на большей части постсоветского пространства национал-демократы стремились оттолкнуться от «советского» (репрессивного, сталинского, тоталитарного и т.д.). Как мы отмечали выше, альтернативу можно было найти в досоветском и несоевском. Для идеологов национал-демократов, задававших рамки восприятия всего этого рыхлого движения, в роли «досоветского» выступили идеи украинских народников, боровшихся с Российской империей за национально-культурное возрождение на рубеже XIX–XX вв., а также их идейных наследников, представленных эмигрантской субкультурой на Западе. В свою очередь в роли «актуального несоевского» выступил такой «значимый другой» как Европа / Запад. В условиях резкого снижения уровня жизни новый нарратив одновременно и легитимировал стремление к обретению большей самостоятельности от союзного Центра, и задавал позитивное видение «светлого капиталистического будущего».

Идеологическая борьба, развернувшаяся в последние годы существования СССР, определила последующую траекторию формирования украинской идентичности. По сути, уже в этот период сформировались опорные представления о том, что являет собой украинская нация в широкой темпоральной перспективе, увязывающие историческое прошлое, актуальное настоящее и образ желаемого позитивного будущего.

Важным и в какой-то мере судьбоносным обстоятельством стало то, что в авангарде национал-демократического движения оказались западно-украинские интеллектуалы, являвшиеся носителями альтернативной – антисоевской – коллективной памяти. В качестве базовых сюжетов, формирующих новый национальный нарратив, ими использовались темы преступлений сталинизма и национальных трагедий (Быковня, голод 1932–1933 гг. и проч.). Как отмечают Георгий Касьянов и Алексей Миллер, «именно отношение к советскому

(коммунистическому) наследию стало отправной точкой для переосмотра всей остальной истории» [Касьянов, Миллер, 2011, с. 38].

В борьбе за символическую гегемонию национал-демократам противостояли функционеры республиканских советских идеологических аппаратов, являвшиеся носителями столичной административной культуры, включенные в официальные статусные иерархии и вынужденные ретранслировать уходящий советский метанарратив. Эта группа в итоге проиграла в конкуренции национал-демократам, сумевшим обеспечить массовую мобилизацию с опорой на националистическую идеологию.

Фактором, определившим быструю радикализацию общественного движения и превращение его в националистическое, была соревновательная логика обретения символических капиталов в культурном поле [см.: Дерлугьян, 2010, с. 293]. «Националистический радикализм наиболее свойственен провинциальным интеллигентам низкого статуса – им нечего терять, их карьерные возможности ограничены самим их национальным провинциализмом, а потому остается лишь обратиться к достоинству» [там же, с. 135]. В этой ситуации «досоветское» как символический ресурс приобрело особую актуальность: стремясь заручиться общественной поддержкой, интеллектуалы генерировали смыслы, апеллирующие к программе национального возрождения (т.е. возвращения к досоветскому), что в условиях быстро прогрессирующего экономического кризиса вызвало громадный общественный резонанс. Эмоциональные публицистические выступления активистов формировали дискурс «исторических обид», нанесенных коммунистическим режимом.

В начале 1990-х на Западной Украине были переизбраны местные органы власти. В них в большинстве оказались национал-демократы, которые инициировали легализацию украинской символики, переименование улиц в честь национальных героев, установку памятников и восстановление могил воинов Украинской повстанческой армии [см.: Гриневич, 2005, с. 223].

Таким образом, в условиях роста общественной активности украинская партийно-советская номенклатура утратила контроль над процессами символического производства. Хотя советская пропагандистская машина и продолжала работать, однако старые схемы и образы перестали выполнять свои функции. Поэтому в поисках средств для легитимации своего положения номенклатура и обслуживающие ее интеллектуальные группы постепенно начали использовать средства из арсенала национал-демократов. Первоначально у

последних заимствовались те аспекты этнокультурного национализма, которые никогда формально не отрицались и в Украинской ССР: язык, культура и социальная история [см.: Кульк, 2010, с. 110].

Стремясь как-то противостоять яростным атакам национал-демократов, 21 июля 1990 г. Политбюро ЦК КПУ приняло решение «О реализации республиканской программы развития исторических исследований, улучшения изучения и пропаганды Украинской ССР». С этого момента история Украины становится самостоятельной и как предмет исследований, и как предмет изучения в школах и вузах [см.: Касьянов, 2007, с. 80].

Развернувшийся процесс национализации истории был связан с борьбой интеллектуалов за статус и место в профессиональной иерархии. Суверенизация автоматически превращала провинциальные научные и исследовательские учреждения в центральные. «Перспектива независимости от Москвы обещала находившимся на вторых ролях национальным академиям, университетам и музеям обращение в центральные учреждения собственных независимых государств и прямой выход на мировую арену» [Дерлугьян, 2010, с. 210–211]. Это побуждало представителей украинской гуманитарной интеллигенции, обладающих официально утвержденным символическим капиталом, стремиться к автономизации символического пространства от влияния Москвы как союзного центра. Научная, культурная и идеологической номенклатура поспешила занять командные посты в соответствующих структурах «нового» государства, обеспечив себе монополию на распределение формальных званий, наград и должностей в финансируемых государством учреждениях.

Именно усилиями этой группы, стремительно создававшей предмет исследований «под себя», начиная с 1990 г., была создана «официальная версия украинской истории». Скорость изменений была вызвана стремлением быстро заполнить образовавшийся в результате крушения Советского государства идейный вакуум при помощи масштабного заимствования концепций и интерпретационных схем из того, что уже имелось под рукой, – старой народнической историографии XIX в. и работ, созданных представителями украинской диаспоры. Активное заимствование из этих источников и сформировало национальный канон, представлявший прошлое Украины как историю этнических украинцев. История Украины как учебный предмет должна была обеспечивать формирование «гражданского самосознания» и лояльности к украинскому государству [см.: Касьянов, 2008, с. 136].

В результате к моменту распада Советского Союза украинские обществоведы сконструировали базовый набор мифов и идеологем, готовых к использованию как на уровне официального дискурса, так и во властно-педагогических практиках индоктринации постсоветской украинской молодежи. Как подчеркивает Георгий Касьянов, «эта схема предполагала этническую эксклюзивность – история Украины превращалась в историю украинцев, а другие культуры, народы и нации играли роль враждебного, нейтрального или сопутствующего фона... В целом сформировался и нехитрый словарный запас, формирующий риторику национального канона, – со стандартным набором архаизмов, антропоморфизмов и наступательной и в то же время виктимной риторики» [Касьянов, 2007, с. 90].

Таким образом, в последние годы существования советской власти в поле символического производства сложилась весьма специфическая ситуация: партийно-административная элита заняла выжидательную позицию и превратилась в своего рода «молчаливого актора», временно ушедшего в тень. Национал-демократы с галицийскими интеллектуалами в авангарде активно эмансипировались, стремительно наращивая символический капитал. Советские идеологические кадры первоначально оперировали фактически умирающим дискурсом, но с течением времени начали заимствовать символические схемы у формируемого национал-демократами национального нарратива.

Стигматизация советского опыта

Характеризуя нарождающийся национальный нарратив, необходимо обратить внимание на то, как стигматизировалось «советское» и что выбиралось в качестве символов, противостоящих ему. Ключевым моментом была сама среда, в которой формировались интеллектуалы, разрабатывавшие новую национал-демократическую идеологию. В большинстве своем они были выходцами с Западной Украины – региона, в коллективной памяти жителей которого сохранился и культивировался опыт групповой травмы, связанной с активным сопротивлением советским государственно-репрессивным практикам (бандеровское движение). «...Движение, охватившее западные области Украины в годы немецкой оккупации и достигшее своего пика в период возвращения сталинского режима, создало за годы войны целую систему национальных мифов со своими героями и

символами, пантеонами и праздниками, в основе которой лежала идея жертвенной борьбы украинского народа “против двух империализмов – сталинского и гитлеровского за независимую украинскую державу”» [Гриневиц, 2005, с. 221]. Эти мифы, сложившиеся в период борьбы галичан против нацистской Германии и Советского Союза и успешно дожившие до позднесоветских времен, носили отчетливо антисоветский характер.

Отрицание советского обусловило выбор знаковых событий для конструирования национальной истории. Ими стали сюжеты коллективной *крестьянской* памяти, пережившей травматический опыт вторжения Советского государства в базовые структуры традиционного социума. Поэтому использование ключевых сюжетов украинской символической политики – голодомора и бандеровского движения – это отсроченная во времени реакция коллективной крестьянской памяти, записанная и выраженная *во втором (и далее) поколении*, которое уже живет в советских городах и получает образование в советских школах и вузах (в том числе и) на русском языке.

Иными словами, в рамках формирующегося официального национального нарратива «украинское» выступает в качестве травмируемого сталинской модернизацией объекта. Аутентичная украинская культура в данном случае – это культура крестьянского большинства, которое противопоставляется советской урбанизированной культуре, локализуемой на воображаемом Юго-Востоке. В связи с этим вполне естественно формирование образа этих индустриальных регионов с доминированием городского русскоязычного населения как инородного образования, ставшего результатом вторжения России в разные ее ипостасях – от Российской империи до Советского Союза.

В этой перспективе грань между советизацией, русификацией и индустриализацией оказывалась весьма зыбкой и проницаемой. Все эти процессы трактовались националистическими интеллектуалами как негативные, поскольку они, с одной стороны, наносили ущерб национальной аутентичности, а с другой – разрывали связь с постулируемым европейским прошлым Украины. Воплощением «испорченной» Украины стали Юго-Восток и Донбасс как его квинтэссенция.

Как отмечает украинский исследователь Андрей Портнов, уже в «конце 1980-х – начале 1990-х годов в украиноязычных интеллектуальных кругах преобладало представление о необходимости “дерусификации” Украины, разъяснения фальши советской пропаганды,

что могло открыть глаза и очистить умы “испорченных” внешним влиянием восточных украинцев» [Портнов, 2016 а, с. 108]. Когда к середине 1990-х годов стало очевидным, что «цивилизаторская миссия» западно-украинских «дерусификаторов» пробуксовывает и «советское» сохраняет свое влияние на Юго-Востоке, в интеллектуальном мейнстриме утверждается «схематичный образ “двух Украин”, разделенных языком (русский vs украинский) и историей (европейская, т.е. польско-австрийская, vs российско-советская). Две Украины... представляли как географически очерченные и внутренне однородные целости» [Портнов, 2016 б]. Жителям Юго-Востока в рамках этих представлений приписывалась советская идентичность. Львовский историк Ярослав Грицак, характеризуя многообразие идентичностей на Украине, в частности отмечал: «XX век добавил к этому репертуару еще одну идентичность – “советскую”... которая, кстати, оказалась очень живучей, в частности в Восточной и Южной Украине» [Грицак, 2011, с. 42]. Носители этой идентичности в воображении Ярослава Грицака предстают (хоть и риторически) как отдельный народ: «Есть такая местность. Называется Донбасс. <...> Есть такой народ. Называется он совки. Когда приходят новогодние праздники, они накупают шампанского и водки, делают салат оливье, смотрят “Голубой огонек” и делают много еще чего за праздничным столом или вне его. Чего они не делают – они не колядуют» [Грицак, 2013]. Процитированное эссе Ярослава Грицака в концентрированном виде выражает негативную стереотипизацию Юго-Востока вообще и Донбасса в частности, столь характерную для украинского интеллектуального мейнстрима.

Отметим, что при конструировании Донбасса как «другого», по отношению к которому определяется подлинная Украина, используется целый набор устойчивых мифологем западного дискурса, которые, в свою очередь, могут соотноситься с разными способами понимания «Незапада». Это могут быть и указания на восточную подданническую культуру, властечетризм в противоположность правовому обществу, набор постколониальных метафор и даже указания на архаичный и домодерный характер этих индустриализированных регионов. В этом отношении весьма показательна позиция украинского исследователя Геннадия Коржова, который указывает, что региональная идентичность Донбасса имеет «изоляционистский и домодерный характер» и «продолжает тормозить развитие гражданского общества со свойственными ему разветвленными горизонтальными связями и развитым социальным капиталом» [Коржов, 2006, с. 45–46]. Ему вторит еще один украинский

исследователь Сергей Пахоменко, который указывает на «русский язык и авторитарно-криминальный тип городской ментальности» как отличительные признаки этого региона [Пахоменко, 2015].

Важной особенностью доминирующих украинских интеллектуальных дискурсов является весьма специфическая интерпретация двух «значимых других» вновь изобретаемой нации – негативного и позитивного. Если «российское» и «советское» безусловно отрицается, то «европейское» присваивается весьма специфическим образом. Позитивность «Европы» оказывается весьма относительной, поскольку украинские интеллектуалы фиксируют инаковость, а иногда и чуждость европейской культуры. Отбросив локализованный в прошлом советский модернизационный проект, они выказывают неготовность включиться в иной аналогичный – европейский – проект. Польская исследовательница Оля (Александра) Гнатюк, проанализировав основные подходы, свойственные украинским интеллектуалам относительно положения Украины между Западом и Востоком (она выделяет их пять), отмечает: «Выразителям всех концепций присуще ощущение чуждости европейской культуры, которое проявляется с разной интенсивностью». Отношение к европейской культуре варьируется от простого признания непохожести до критики, обусловленной чувством отверженности. По мнению О. Гнатюк, подобное восприятие украинскими интеллектуалами Запада связано с оценкой перспектив модернизации собственной культуры. Именно страх перед модернизацией вызывает желание доказать особую историческую роль Украины и необходимость консервации тех образцов, которые являются уникальными для украинской культуры [Гнатюк, 2005, с. 347]. Как отмечает Андрей Портнов, те украинские интеллектуалы, которые некогда воспевали свойственную Австро-Венгерской империи поликультурность и имели репутацию «постмодернистов», ныне выступают глашатаями национальной культурной гомогенности [см.: Портнов, 2016 а, с. 117–118], отторгающей реальную поликультурность современной Украины.

Политика идентичности: От Кравчука до Порошенко

Принятие «Акта провозглашения независимости Украины» [Постанова Верховної Ради, 1991] 24 августа 1991 г. окончательно избавило украинскую номенклатуру от административной и идеологической власти союзного центра. Создание нового государства

и экстракция ресурсов требовали новой официальной идеологии, ритуалов и символики, которые бы легитимировались общим сконструированным «прошлым».

Основными инструментами политики идентичности в этот период стали:

– официальная «нациеформирующая» идеология, которая представлена в текстах публичных выступлений украинских политиков, начиная с президентства Л. Кравчука¹;

– создание государственной символики, пантеона национальных героев, новых государственных праздников и дней памяти, с помощью которых укрепляется и транслируется память о прошлом и формируется система новых легитимных классификаций [см.: Бурдые, 2007, с. 14–48] и коллективных ритуалов;

– система образования, транслирующая формирующиеся идеологические нарративы через учебники по социогуманитарным дисциплинам;

– институты массмедиа и массовой культуры, которые на уровне обыденных представлений задают рамки того, что Майкл Биллиг назвал «банальным национализмом». Речь идет о наделинии национального статусом повседневного, присутствующего как самоочевидные классификации в дискурсе новостей и развлекательного контента [см.: Биллиг, 2007].

Отметим, что задача осуществления политики идентичности осложнялась тем, что приватизировавшей страну номенклатуре досталась страна с культурно различными группам населения и, соответственно, разной коллективной памятью. Коллективная память индустриального Востока и урбанизированного Центра была сформирована под влиянием советской исторической мифологии. Отметим в связи с этим, что чем более население подвергалось воздействию советских модернизационных практик, тем сильнее оказывалось влияние искусственно сформированной коллективной памяти. А советский модернизационный проект, связанный с формированием индустриальной инфраструктуры и промышленного типа занятости, был географически локализован преимущественно на востоке Украины. Для Западной Украины было характерно сохранение социальной памяти участвовавших в сопротивлении советской власти. Сохранение и воспроизводство

¹ Впрочем, эта идеология в первые годы независимости не представляла из себя целостного нарратива, где все сюжеты нацистроительства объединены единым идеологическим кодом).

в семейной и локальной памяти жителей сельской местности и небольших городов Западной Украины опыта сопротивления Советскому государству привело к тому, что индоктринирующее воздействие советской культуры оказалось если не элиминировано, то в значительной степени ослаблено, в силу того что советские мифы, тиражируемые массмедиа и массовым образованием, не соответствовали представлениям этой группы о себе.

Стратегия украинских элит при первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуке была подчинена укрощению набравшего силу национал-демократического движения через механизмы внутриэлитной кооптации и более активного заимствования их идеологического словаря и риторики [см.: Касьянов, 2008].

Радикальные изменения в символической политике украинского руководства начинаются уже осенью 1991 г. Они проявились в отчетливом стремлении установить символическую связь с «досоветским» – первыми «национальными» государственными образованиями периода крушения Империи Романовых: Центральной Радой, Украинской Народной Республикой, Западно-Украинской Народной Республикой и Гетманской державой, а также их идейными предшественниками – ключевыми персонажами народнического периода национально-освободительного движения. Так, осенью 1991 г. на высшем государственном уровне были отмечены юбилеи видных деятелей украинского национального движения рубежа XIX–XX вв. М.С. Грушевского и М.П. Драгоманова, которых прежняя официальная пропаганда представляла как «классовых врагов». А вскоре после провозглашения независимости символика Украинской Народной Республики (герб, гимн и флаг), ранее бывшие символами национал-демократической оппозиции, стали официальными символами нового украинского государства.

Окончательно закрепить преемственность постсоветской украинской государственности с досоветской должна была церемония принятия первым президентом Украины Л. Кравчуком сохраненных с 1920-х годов символов государственности от представителя «правительства Украинской Народной Республики в изгнании» М. Павлюка, являвшегося одновременно и главой Организации украинских националистов.

Все эти символические акты привели к тому, что харизматический потенциал националистического активизма постепенно угас, трансформировавшись в бюрократическую рутину. Отметим при этом, что повседневные практики населения Украины были оторваны от трансформации идеологического дискурса. Большин-

ство украинцев жили в мире смысловых конструкций, оставшихся от советского периода [см.: Грицак, 2011; Рябчук, 2000]. Это делало необходимым использование советской системы символов и ритуалов и в официальной риторике. Именно поэтому первый украинский президент продолжал регулярно поздравлять украинцев с советскими праздниками.

Подобный прагматичный подход сохранился и при преемнике Л. Кравчука – Л. Кучме. «Делая уступки обоим – и националистам, и коммунистам, – Кучма поддерживал институционализацию памяти голодомора, однако выступал против реабилитации УПА. Его отношение к советскому прошлому оставалось амбивалентным: празднуя независимость Украины и осуждая преступления сталинизма, такие как голодомор, Кучма в то же время дал благословение на официальное празднование юбилея Первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого» [Журженко, 2015]. Владислав Гриневич отмечает, что «игра на двух полях исторической памяти стала привычным делом для высшей украинской власти, которая в равной мере отдавала должное как националистическим, так и советским датам и юбилеям» [Гриневич, 2005, с. 226].

В 1990-е годы были предприняты и другие меры для конструирования национальной символики: создана система государственных наград, основанных на обращении к истории, введена национальная валюта, визуализировавшая национальный пантеон, поставлены памятники выдающимся деятелям этого пантеона, созданы общенациональные коммеморативные практики [см.: Касьянов, Миллер, 2011, с. 68]. Впрочем, как отмечает украинская исследовательница Татьяна Журженко, «советская украинская идентичность не была демонтирована. Пантеон советских украинских героев не стал объектом радикальной ревизии; скорее, он медленно расширялся, включив таких государственных строителей прошлого, как первый президент Украинской Народной Республики Михаил Грушевский и гетман Иван Мазепа» [Журженко, 2015].

Если на уровне официальной идеологии и государственной символики действия украинских властей при первых двух президентах были осторожными – и Кравчук, и Кучма старалась не раздражать коммунистов и националистов, – то такой проводник политики идентичности, как система образования, претерпел значительные изменения. Программы обществоведческих дисциплин были радикально пересмотрены. В основу их был положен описанный выше национальный канон, который должен был сформир-

ровать у социализирующихся поколений привязанность к вновь сконструированному прошлому своей родины.

Российская исследовательница Маргарита Фабрикант, проанализировав 48 школьных и университетских учебников, опубликованных в различных регионах постсоветской Украины, констатирует отсутствие сколько-нибудь существенных разногласий среди украинских историков: «В украинском... публичном пространстве открытая дискуссия привела к гомогенизации, почти унификации представлений по ключевым вопросам недавней национальной истории» [Фабрикант, 2014, с. 122].

В свою очередь эта гомогенность была обусловлена тем обстоятельством, что «политические и общественные группы, отстаивавшие “советскую” версию украинской истории (коммунисты, ветераны Советской армии, часть региональной государственной бюрократии), с начала 1990-х утратили влияние на “политику истории” и образовательную политику, что не мешало им весьма активно противостоять “национализации истории” в публичном дискурсе, но не в реальной политике» [Касьянов, Миллер, 2011, с. 40].

В силу безальтернативного характера «школьной» версии украинской истории новое поколение граждан Украины, вступавшее во взрослую жизнь в 1990-е – «поколение независимости», – оказалось особенно восприимчивой к официальному варианту украинской истории. Школьное и вузовское образование сформировало у них новую коллективную память. Исторические воззрения молодых людей, не имевших как советского опыта, так и долгой семейной истории (что характерно для традиционной культуры), формировались под влиянием школьной истории и поп-истории. Доминирование в символическом пространстве официального национального нарратива привело к тому, что, как справедливо отмечает В. Гриневич, «сторонники советских мифов фактически проиграли сражение за историческую память нового поколения» [Гриневич, 2005, с. 227]. Как отмечает российский исследователь Олег Кильдюшов, даже на востоке Украины «постсоветская идентичность, ориентированная в основном на прошлое и разделяемая большинством жителей региона старших возрастов, не смогла конкурировать за умы молодежи с ориентированной на будущее националистической программатикой (строительство нации), предложенной сначала Львовом, а затем и официальным Киевом (особенно начиная с президентства В. Ющенко)» [Кильдюшов, 2014, с. 93].

Если говорить о роли украинской индустрии культуры и ее продуктах, то, несмотря на значительную зависимость от россий-

ского развлекательного и новостного контента, «украинское» утвердилось в качестве своего, отдельного от «русского», даже несмотря на то что это происходило в русскоязычном варианте. Хотя украинские интеллектуалы и испытывали определенные фобии по отношению к гипертрофированной роли русского языка в производстве и потреблении медиаконтента, но подобные идеологически мотивированные алармистские подходы не учитывают того обстоятельства, что и контент русского происхождения, и сам русский язык как инструмент коммуникации используются преимущественно на обыденном уровне и поставить под угрозу легитимное видение окружающей политической действительности не в состоянии.

Георгий Касьянов обращает внимание на рутинный характер изменений в символической политике: «Не следует забывать о сотнях и тысячах представителей интеллигенции, которые каждый на своем месте изо дня в день занимались именно тем, что называется строительством нации, – оно происходило больше в школьных классах, в редакциях газет и издательствах, в вузах и кабинетах ученых, чем на политических трибунах и в коридорах власти» [Касьянов, 2008, с. 135].

В последние годы президентства Л. Кучмы, и особенно в период президентства В. Ющенко, баталии на символическом поле ужесточились. Это было связано с тем обстоятельством, что на политическую сцену взошли не в пример более ресурсообеспеченные группы, представлявшие олигархический капитал Юго-Востока Украины. Эти олигархические кланы, политическим репрезентантом которых была Партия регионов, реактуализировали использование «советского» как ресурса, обеспечивающего мобилизацию населения Юго-Востока. Если ранее главными защитниками «советского» были коммунисты, то теперь, как ни парадоксально, ими стали вновь украинские олигархи, апеллировавшие к «советскому» с целью обеспечения электоральной поддержки. В свою очередь это вызвало ответную реакцию их политических противников, которые начали более масштабно и интенсивно эксплуатировать стигматизирующую риторику по отношению к «советскому» и его носителям.

Политический конфликт, который имел институциональное и символическое измерения, нашел временное разрешение в «оранжевой революции», которая привела к власти команду Виктора Ющенко. Последний начал использовать политику истории гораздо активнее, чем его предшественники. Это было следствием совпадения

нескольких факторов. Свою роль сыграли особенности личности третьего украинского президента. Как отмечает Татьяна Журженко, «Ющенко видел Украину постколониальной страной, которая борется за освобождение от российских политических и культурных влияний» [Журженко, 2015]. Кроме того, сказалось и присутствие в окружении Ющенко идеологически активной части украинской диаспоры и радикально настроенных представителей национал-демократической интеллигенции [Касьянов, Миллер, 2001, с. 41]. И наконец, апелляция к вопросам культуры использовалась как инструмент противодействия опиравшимся на юго-восточные регионы политическим противникам.

Осуществление политики идентичности приобрело при Ющенко более системный характер. Среди мер, предпринятых им для консолидации украинской нации (которую он считал пребывающей в состоянии морального упадка и политического разъединения), были создание Института национальной памяти, основание Музея советской оккупации, а также вменение в обязанности Службе безопасности Украины таких обязанностей, как контроль архивов, проведение исторических исследований и популяризация нового официального подхода к советскому прошлому. Центральное место в политике идентичности В. Ющенко заняла идеологическая кампания по превращению голода 1932–1933 гг. в ключевой символ национальной истории, который был призван объединить и мобилизовать украинскую нацию [см.: Журженко; Касьянов, 2009; Касьянов, Миллер, 2011]. В рамках этой кампании осуществлялись такие мероприятия, как создание национальной Книги памяти, проведение массовых коммеморативных акций, а также кампания по признанию Голодомора «геноцидом украинского народа» (как на национальном, так и на международном уровне) и пр. Своеобразной кульминацией политики радикального пересмотра существовавшего в предшествующий период консенсуса между «советским» и «украинским» было предоставление посмертной награды «Герой Украины» Степану Бандере буквально за месяц до окончания президентского срока Ющенко.

Приход к власти Партии регионов, которая выступала оппонентом в символическом противостоянии с «националистами», не привел к сколько-нибудь ощутимым изменениям в символической политике Украины. Хотя по инициативе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое возглавлял Дмитрий Табачник, и были разработаны новые учебники истории, из которых, как предполагалось, школьники должны были получить «непротиворечивую

версию истории», избавленную от постсоветских «фальсификаций». Российский культуролог Марина Полякова, проанализировав учебники истории Украины конца 2000-х – начала 2010-х годов, отмечает: «Определенная часть украинцев всерьез опасалась, что “учебники Табачника” представят пророссийский взгляд на историю XX в., отвергнув находки украинской историографии периода независимости. Этого, конечно, не случилось. Украина по-прежнему предстает жертвой политических игр, при всем своем потенциале, человеческом и материальном, она лишь марионетка в руках одиозного Сталина (в годы войны – и Гитлера, и эти два диктатора – близнецы-братья). Украина стала объектом воздействия почти inferнального зла, источник которого – Кремль» [Полякова, 2013].

Таким образом, в период президентства В. Януковича сколько-нибудь серьезных изменений в общей логике и практиках реализации политики идентичности не произошло: не был пересмотрен даже «национализированный» подход к истории, не говоря уже о медиаконтенте и ключевых фигурах в медиапроизводстве и массовой культуре.

Свержение В. Януковича и президентство П. Порошенко привели к еще более радикальному разрыву с «советским». Вмешательство России во внутриукраинские события (включение Крыма в состав Российской Федерации и помощь самопровозглашенным республикам Донбасса) усилило ее восприятие в качестве негативного «значимого другого». В символическом образе России оказались взаимоувязаны три аспекта, на отрицании которых конструировалась новая украинская идентичность. Россия стала однозначно ассоциироваться с имперским, советским и негативным актуальным. Это очень хорошо просматривается в политической риторике президента П. Порошенко, для которого «российское» которое выступает как «сила, которая желает реанимировать советскую империю зла, реабилитировать Сталина, переписать историю» [Порошенко, 2015 а].

Врагами Украины, ее суверенитета и территориальной целостности становятся акторы, однозначно ассоциирующиеся с «советским», – желающая восстановить Советский Союз Россия и мятежные республики Донбасса. В связи с этим вполне логичным представляется инициированная правительством П. Порошенко декоммунизация (которую можно назвать и «десоветизацией»), призванная окончательно вытеснить «советское» из коллективной памяти и символического пространства.

Закономерным итогом десоветизации стал подготовленный Украинским институтом национальной памяти законопроект «О государственных праздниках в Украине», призванный окончательно очистить украинский праздничный календарь от советского наследия. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил: «На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства, – День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого» [Владимир Вятрович... 2017].

* * *

Ахиллесовой пятой постсоветской политики идентичности является крайне амбивалентное отношение к «советскому»: с одной стороны, оно отторгается как коллективная травма и наделяется набором стигматизирующих характеристик («тоталитаризм», «репрессии», «геноцид» и пр.), с другой стороны, – советский опыт превозносится как уникальный, создавший сверхдержаву, которая выиграла Великую войну, запустила человека в космос и несколько десятилетий на равных противостояла гегемонии США. В этом случае также существует свой травматический опыт – это переживание «лихих девяностых», маркируемых как период разрушения, а не созидания.

Подобная амбивалентность характерна и для других постсоветских государств. Она является результатом советского проекта радикального модерна, который имел два измерения [см.: Куренной, 2013, с. 12–13]: институционально-репрессивное, связанное с разнообразными практиками «строительства социализма», и культурно-антропологическое, по сути конструктивное, определяемое необходимостью оцивилизовывания¹ стремительно формирующихся советских поколений и новой городской среды. Фиксация «советского» как условно «сталинского» и «репрессивного» пред-

¹ Уточним, что цивилизация нами рассматривается в логике Норберта Элиаса, т.е. не как некая вневременная *субстанция*, обладающая своими константными характеристиками («менталитет», «русская душа», «германский дух»), а как *процесс* пацификации насилия и формирования культуры (само)контроля над аффективным поведением в урбанизированном пространстве.

полагает отношение к нему как к *статичному* историческому феномену, лишенному внутренней структурной и поколенческой изменчивости.

Безусловно, с позиции большинства традиционных социумов – крестьянства – модернизационные процессы – это всегда насилие, т.е. коллективная травма, которая переживается не только как трагедия на семейном уровне, но и как некая глобальная катастрофа, уничтожающая старый привычный мир. Однако описывают эту катастрофу не столько сами крестьяне, сколько их дети, переселившиеся в созданные новой властью города. В большинстве случаев у крестьян нет письменных инструментов фиксации коллективной памяти и доступа к формированию легитимного дискурса, они по большому счету «безмолвны». Поэтому опыт травмы переводится в формат коллективной памяти их детьми и внуками, которых «оцивилизовала» та власть, которая репрессировала их отцов и дедов. Применительно к нашей теме знаковые события официальной версии украинской истории – это *воспроизводство крестьянского взгляда на уничтожение его как социального класса в условиях сталинской «диктатуры развития»*. Советская модернизация в этой перспективе предстает как коллективная травма, акт насилия со стороны внешней инстанции (советского государства) над его жертвой – большинством населения (де факто украинским крестьянством). В связи с этим не удивительна стигматизация индустриального Востока.

Вместе с тем, как справедливо отмечает Ирина Глушенко, «специфика советской версии модернизации состояла в беспрецедентно быстрых темпах осуществления перемен при столь же беспрецедентных масштабах этих трансформаций» [Глушенко, 2013, с. 261]. На знаменитую эпоху оттепели пришелся всплеск демократизации и формирования структур протогражданского общества, связанный с взрослением послевоенных поколений и эмансипацией городской среды. Важнейшей характеристикой этого периода стало формирование *надэтнической русскоязычной городской культуры*¹, которая в трансформированной виде продолжает воспроизводиться до сих пор и является одним из основных ресурсов, скрепляющих постсоветское пространство.

¹ Определение принадлежит В.С. Малахову [см.: Малахов, 2007, с. 162], процесс создания этой культуры описан Г.М. Дерлугьяном [Дерлугьян, 2010, с. 99–108].

Отмеченная выше амбивалентность отношения к советскому опыту делает конструируемую национальную идентичность внутренне противоречивой и обуславливает необходимость государства как доминантного актора политики идентичности, который, как мы помним благодаря Пьеру Бурдьё, обладает монополией не только на легитимное физическое, но и на символическое насилие. В ситуации структурной слабости или коллапса этого института конструируемые модели коллективной макрополитической идентичности имеют тенденцию превращаться в постоянно переписываемый победителями нарратив, поскольку очередная вновь пришедшая коалиция элит будет «изобретать традиции» под себя, даже если эти традиции будут постулировать «исконный демократизм» и «европейскость» конкретного «воображаемого сообщества». Насколько перспективная такая стратегия в украинском случае, вероятно, покажет ближайшее политическое будущее.

Литература

- Биллинг М. Повседневное упоминание о Родине // Логос. – 2007. – № 1. – С. 34–71.
- Бурдьё П. Социология социального пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Владимир Вятрович: Советский период – не только колбаса по 2 рубля, но и миллионы убитых // Апостроф. – 2017. – 27 января. – Режим доступа: <http://apostrophe.ua/article/society/2017-01-27/vladimir-vyatrovich-sovetskiy-period-ne-tolko-kolbasa-po-2-rublya-no-i-millionyi-ubityih/9707> (Дата відвідування: 29.01.2017.)
- Глущенко И. Осторожно, время замедляется // Время, вперед! Культурная политика в СССР / Под ред. И.В. Глущенко, В.А. Куренного. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – С. 260–265.
- Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – Київ: Критика, 2005. – 528 с.
- Гриневич В. Расколота память: Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2–3. – С. 218–227.
- Грицак Я. Різdvяне // Gazeta.ua. – Київ, 2013. – 27 грудня. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/grycak-jaroslav/_rizdviane/534035 (Дата відвідування: 06.01.2017.)
- Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад: есеї. – Київ: Критика, 2011. – 350 с.
- Дерлугьян Г. Адепт Бурдьё на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. – М.: Изд. центр «Территория будущего», 2010. – 560 с.
- Журженко Т. Розділена нація? Переосмислення ролі політики ідентичності в українській кризі // Historians.in.ua. – Київ, 2015. – Режим доступу: <http://www.>

- historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1529-tetiana-zhurzhenko-rozdilena-natsiia-pereosmyslennia-rol-i-polityky-identychnosti-v-ukrainskii-kryzi (Дата відвідування: 28.07.2015.)
- Касьянов Г. Голодомор и строительство нации // Pro et Contra. – М., 2009. – Май-август. – С. 24–42.
- Касьянов Г. Украина-1990: «бои за историю» // Новое литературное обозрение. – М., 2007. – № 1. – С. 76–93.
- Касьянов Г. Украина 1991–2007: очерки новейшей истории. – Киев: Наш час, 2008. – 480 с.
- Касьянов Г.В., Миллер А.И. Россия – Украина: как пишется история: Диалоги – лекции – статьи. – М.: РГГУ, 2011. – 306 с.
- Кильдюшов О.В. Идеино-политические и жизненно-стилевые ориентации футбольных фанатов Юго-Востока Украины // Проблемы национальной стратегии. – М., 2014. – № 6 (27). – С. 89–99.
- Коржов Г. Региональная идентичность Донбасса: генезис и тенденции развития в условиях общественной трансформации // Социология: теория, методы, маркетинг. – Киев, 2006. – № 4. – С. 38 – 51.
- Кулык В. Национализм в Украине. 1986–1996 годы // Национализм в позднее- и посткоммунистической Европе: в 3 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – Т. 2: Национализм в национальных государствах, 2010. – С. 101–126.
- Куренной В.А. Советский эксперимент строительства институтов // Время, вперед! Культурная политика в СССР / Под ред. И.В. Глушенко, В.А. Куренного. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – С. 12–34.
- Малахов В. Этничность в Большом городе // Малахов В. Понаехали тут... Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – С. 161–175.
- Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 855 с.
- Матвеев И.А. Гибридная неолиберализация: Государство, легитимность и неолиберализм в путинской России // Полития. – М., 2015. – № 4 (79). – С. 25–47.
- Миллер А., Лукьянов Ф. Отстраненность вместо конфронтации: постевропейская Россия в поисках самодостаточности // Совет по внешней и оборонной политике. – М., 2016. – Режим доступа: http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/11/miller_lukyanov_rus.pdf (Дата посещения: 06.01.2017.)
- Пахоменко С. Ідентичність у конфлікті на Донбасі // Historians.in.ua. – Київ, 2015. – 2 липня. – Режим доступу: <http://www.historians.in.ua/index.php/en/ dyskusiya/1556-serhii-pakhomenko-identychnist-u-konflikti-na-donbasi?tmpl=component&print=1&layout=default&page=> (Дата відвідування: 28.07.2015.)
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. – 208 с.
- Полякова М. Учебники истории Украины конца 2000-х – начала 2010-х гг. Опыт анализа // Урок истории. XX век. – 2013. – 5 июня. – Режим доступа: <http://urokiistorii.ru/learning/manual/51764> (Дата посещения: 16.01.2017.)

- Порошенко П. Виступ Президента України на вечорі-реквіемі у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу та 71-ми роковинами депортації // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 а. – 18 травня. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-vechori-rekviyemi-u-zvyazku-z-35342> (Дата відвідування: 10.12.2016.)
- Порошенко П. Звернення Президента з нагоди відкриття у Вашингтоні меморіалу жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 років // Офіційне інтернет-представництво «Президент України Петро Порошенко». – Київ, 2015 б. – 17 листопада. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/news/zvemennya-prezidenta-z-nagodi-vidkrittya-u-vashingtoni-memo-36265> (Дата відвідування: 10.12.2016.)
- Портнов А. «Донбасс» как Другой. Украинские интеллектуальные дискурсы до и во время войны // Неприкосновенный запас. – М., 2016 а. – № 6 (110). – С. 103–108.
- Портнов А. Как начиналась война на востоке Украины, или Почему Харьков и Днепропетровск не стали Донецком и Луганском? // Historians.in.ua. – Киев, 2016 б. – Режим доступа: <http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1769-andrej-portnov-kak-nachinalas-vojna-na-vostoке-ukrainy-ili-pochemu-khar-kov-i-dnepropetrovsk-ne-stali-donetskom-i-luganskom> (Дата посещения: 06.01.2017.)
- Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – Київ, 1991. – № 38. – С. 502.
- Рябчук М. Від Малоросії до України: Парадокси запізнiлого націєтворення. – Київ: Критика, 2000. – 303 с.
- Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 гг. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2009. – 360 с.
- Травин Д.Я. Семидесятные – анализ поколения: Препринт М-25/11. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. – 36 с.
- Фабрикант М. По ту сторону национального государства: неявное влияние националистических социальных движений на общественное мнение в Беларуси и Украине // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – М., 2014. – № 1–2 (117). – С. 115–123.
- Фельдман Д.М. Терминология власти. Советские политические термины в историко-культурном контексте. – М.: Форум: Неолит, 2015. – 480 с.
- Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации: Монография. – Харьков: Константа, 2006. – 352 с.
- Фурман Д.Е. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. – М.: Издательство «Весь мир», 2010. – 168 с.
- Шерлок Т. Исторические нарративы и политика в Советском Союзе и постсоветской России. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 325 с.
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 664 с.
- Ganev V.I. Post-communism as an episode of state building: A reversed Tillyan perspective // Communist and post-Communist studies. – Oxford, 2005. – Vol. 38, N 4. – P. 425–445.
- Gill G.J. Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – 246 p.
- Hale H.E. Patronal politics. Eurasian regime dynamics in comparative perspective. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2015. – 558 p.

А.В. Баранов*

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ, ЭТНИЧЕСКИХ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В ПОСТСОВЕТСКОМ КРЫМУ

Аннотация. Определены факторы динамики соотношения гражданской, региональной, этнических идентичностей в постсоветском Крыму (1992–2016). Среди них: приграничное расположение региона в контактной зоне цивилизаций, историческая «тропа зависимости», незавершенность социокультурной интеграции постсоветских государств, взаимоусиление этнических, конфессиональных и географических размежеваний. Региональное сообщество Крыма является много-составным, с устойчивой сегментацией на русское, украинское и крымско-татарское идентификационные сообщества. Степень их интеграции различна: наиболее консолидированы крымско-татарское и русское сообщества, наименее – украинское. Сложилась региональная идентичность крымчан. Ее основой и смысловым «ядром» укрепления российской гражданской идентичности в полиэтничном сообществе выступает русская этническая идентичность. Этнические, лингвистические и конфессиональные размежевания отчасти компенсируют друг друга. Внутрорегиональные конфликты идентичности наиболее вероятны в проекции «славяне – крымские татары».

Ключевые слова: гражданская идентичность; этническая идентичность; региональная идентичность; соотношение; Крым.

A.V. Baranov

The dynamics of the relation between the civil, ethnic and regional identity in the post-Soviet Crimea

Abstract. The author determines the factors of the dynamics the balance of civil, regional, ethnic identities of the population of the post-soviet Crimea (1992–2016). In particular, he considers the location of the border region in the contact zone of civiliza-

* **Баранов Андрей Владимирович**, доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, e-mail: baranovandrew@mail.ru

Baranov Andrei, Kuban State University (Krasnodar, Russia), e-mail: baranovandrew@mail.ru

tions, the historical «path dependence», incomplete sociocultural integration of the post-Soviet states, mutual reinforcement of ethnic, religious and geographical cleavages. Regional community of the Crimeans is plural, it includes the Russian, Ukrainian and Crimean Tatar segments. The degree of their cohesion varies: the most consolidated are the Crimean Tatar community and Russian communities, the least – the Ukrainian one. The regional identity of the Crimean population has taken a definite shape. Its semantic «core» and a resource for strengthening Russian civil identity in multiethnic community is the Russian ethnic identity. Ethnic, linguistic and religious cleavages partly balance each other. Intraregional identity conflicts are most likely to occur along the line «the Slavs – the Crimean Tatars».

Keywords: civil identity; ethnic identity; regional identity; the ratio; Crimea.

В условиях информационного общества и глобализационных процессов идентичность региональных сообществ становится все более неоднородной и динамичной. Крым представляет собой много-составное сообщество, развивающееся в ситуации фронта между западной, православной и исламской цивилизациями. В полиэтничных и поликонфессиональных регионах постсоветского ареала, к которым относится Крым, баланс национальных, региональной, этнических идентичностей неустойчив.

Выбор Крыма как объекта исследования вызван тем, что это региональное сообщество проявляет устойчивую специфику самоидентификации. Кроме этого, воссоединение Крыма с Россией в значительной мере стало итогом соотношения конкурирующих проектов идентификации регионального сообщества, его основных этнических и конфессиональных сегментов. Кардинальное изменение политического статуса Крыма, в свою очередь, «повысило в цене» размежевания идентичности, сделало их во многом аргументом при выборе индивидами и группами своих политических позиций. Основные этнические сообщества Крыма – русские, украинцы и крымские татары, – а также преобладающие конфессиональные сообщества – православные и мусульмане – на протяжении 1990-х – 2010-х годов контрастно реагировали на сходные воздействия политики идентичности, что делает актуальным анализ процесса конструирования идентичностей в Крыму.

Цель статьи – раскрыть политические факторы и проявления динамики баланса гражданской, региональной, этнических идентичностей в постсоветском Крыму.

Среди теоретических исследований региональной идентичности методологически значимы работы С. Роккана и Д. Урвина [Rokkan, Urwin, 1982, p. 1–17], А. Пааси [Paasi, 2003, p. 475–485], М. Китинга [Китинг, 2003, с. 67–116]. Этническая идентичность и

процессы ее политизации концептуализированы Ф. Бартом [Барт, 2006], Дж. Ротшильдом [Rothschild, 1982], Б. Андерсоном [Андерсон, 2001]. Конструирование идентичности и символическая политика системно интерпретированы О.Ю. Малиновой [Малинова, 2013, с. 84–95, 207–230]. Методологически важным представляется введение концепта «сложносоставная идентичность» [Морозова, 2012, с. 102–106].

Особенности развития региональной идентичности крымчан в 1992–2013 гг. изучали К.В. Коростелина [Коростелина, 2003], С.Н. Киселёв [Киселёв, 2004, с. 210–216], А.В. Мальгин [Мальгин, 2005, с. 203–270], Г. Сассе [Sasse, 2007], Э.С. Муратова и Н.В. Куц [Муратова, 2009; Куц, Муратова, 2014], Е.В. Князева [Князева, 2013, с. 267–284], Д.В. Сосновский [Сосновский, 2014]. Тенденции конструирования гражданской, этнических и религиозных идентичностей в контексте воссоединения Крыма с Россией интерпретируют зарубежные эксперты А. Черрон [Charron, 2016, p. 225–256], П.П. Гай-Нижник и др. [Гай-Нижник, Батрименко, Чупрій, 2015, с. 333–336], В.П. Горбулин и др. [Донбас і Крим... 2015]. Наиболее системным исследованием российских специалистов мы считаем монографию Н.В. Киселевой, А.В. Мальгина, В.П. Петрова и А.А. Форманчука [Этнополитические процессы в Крыму, 2015]. Конкуренция идентичностей в Крыму охарактеризована также в статьях Т.А. Сенюшкиной [Сенюшкина, 2014, с. 185–198], Д.В. Маковской [Маковская, 2014, с. 215–230], Л.Н. Гарас [Гарас, 2014, с. 199–214], А.В. Баранова [Баранов, 2015, с. 92–105; Baranov, 2016, p. 285–296]. Роль публикаций СМИ, блогов и интернет-форумов в конструировании крымской идентичности оценивается в статьях О.В. Рябова (на российских материалах) и Д.В. Новикова (на примере Украины) [Рябов, 2015, с. 108–125; Новиков, 2015, с. 181–200].

В качестве основных дискуссионных аспектов можно выделить воздействия внутрирегиональных СМИ на конструирование идентичностей в Крыму, рост влияния конфессиональной идентичности и ее взаимодействие с этничностью, степень распространения российской гражданской идентичности в крымском сообществе.

Хронологические рамки работы включают период с 2004 по 2016 г. Такой выбор определяется направленностью политико-идентификационных процессов в Крыму после «оранжевой революции» на Украине.

Эмпирическую основу статьи составили материалы переписей населения 2001 и 2014 гг., опубликованные результаты анкетных опросов, материалы периодической печати и интернет-ресурсов

Крыма, сборники документов. Мы учитываем то обстоятельство, что Всеукраинская перепись населения 2001 г. сопровождалась серьезными искажениями учета этнической и лингвистической самоидентификации крымчан, завышением удельного веса украинцев. Российская перепись населения Крыма (октябрь 2014 г.) также имеет погрешности. Так, резко вырос удельный вес лиц, не указавших свою национальность, что объясняется политическими причинами. Учтены различия методик проведения анкетных опросов. Полагаем, что эмпирическая основа работы дает возможность раскрыть соотношение идентичностей в крымском сообществе.

Статья выполнена на основе методологии социального конструктивизма применительно к анализу политизации гражданской, региональной, этнической и конфессиональной идентичностей. Применена концепция социокультурных размежеваний для выявления причинно-следственных закономерностей конструирования идентичностей.

Идентичность понимается в данном контексте как самосознание, в основе которого – самоопределение индивидов и групп, создающее субъективное чувство принадлежности к «своей» общности [Ачкасов, Бабаев, 2000, с. 40–46; Миненков, 2012, с. 18–19]. Самоидентификация невозможна без сравнения участников взаимодействия, их позиционирования в отношении общественной системы и отдельных ее институтов, практик, политико-властных решений. Идентичность сочетает два комплекса представлений: позитивный и негативный. Идентичность может быть «жесткой» или «размытой». Группы и индивиды проявляют многие виды идентичности, которые взаимосвязаны и «накладываются» друг на друга (гражданская – общегосударственная, этническая, региональная и религиозная). Этническая и конфессиональная идентичности могут стать фактором риска для интеграции общества либо могут мирно сочетаться с гражданской идентичностью (украинской или российской). *Позитивная идентичность* складывается из следующих компонентов: самоидентификации со своей группой и уважения к ней; чувства уважения и готовности контактировать с иными этническими группами; чувства принадлежности и уважения к полиэтничному государству. Напротив, *негативная идентичность* проявляется в этноцентризме – совокупности установок априорного превосходства своей культуры над иными, предвзятости и негативном восприятии качеств других групп.

Значение идентичности определяют важные потребности индивидов: в принадлежности к сообществу, в позитивной само-

оценке и в безопасности. Идентичность выражает приверженность членов сообщества «своей» этнической культуре, религии, языку, ценностям, ориентациям и установкам поведения. Акторы политики конструируют идентичности на основе таких признаков, как язык, образ жизни, обычаи и традиции, представления о едином происхождении и историческом прошлом, территория, особенности психологии и др. [Миненков, 2012, с. 19–24]. Удельный вес каждого из признаков в системе идентификации подвижен, изменив как от одного сообщества к другому, так и от одной политической ситуации к иной.

Крым всегда был полиэтничным и многоконфессиональным. Ни одна из его этнических групп не является автохтонной и не может претендовать на особый по отношению к другим статус «по праву первенства». В Крыму сложились устойчивые этнические сообщества: русские, украинцы и крымские татары, противопоставляющие свои политические самоидентификации. Важен и пространственный аспект: ни одно из 25 муниципальных образований Республики Крым (сельских районов и городов) не является этнически и конфессионально однородным [Численность и состав населения Украины... б. г.; Итоги переписи населения... 2015].

Темпы религиозного «возрождения» в Крыму значительно выше, чем в среднем по Украине и РФ. Если в 1990 г. Крым занимал среди регионов Украины 27-е (последнее) место по числу религиозных организаций, то в 2013 г. – уже 8-е. По сведениям Министерства культуры Украины, на 1 января 2014 г. было зарегистрировано 2083 религиозных организаций, относящих себя к 42 конфессиям. Из них 42,7% наименований – организации Украинской православной церкви (УПЦ). В Крыму УПЦ Московского патриархата доминирует по влиянию. На втором месте – мусульманские организации – 29,0%, в том числе 575 из них действовали без регистрации. Третье место занимали протестантские организации – 20% наименований. Немногими объединениями представлены иудаизм, Армянская апостольская церковь, караимы и др. [Звіт про мережу... 2014]. Для сравнения, по сообщению министра культуры Республики Крым А. Новосельской 25 июня 2015 г., в РК зарегистрированы органами юстиции 1409 религиозных организаций, относящие себя к 52 конфессиям [Треть религиозных организаций... 2015]. Среди исламских организаций доминирует Духовный центр мусульман Крыма (ДУМК), объединяющий 346 зарегистрированных религиозных организаций. Кроме них, около 650 исламских организаций не прошли государственную

регистрацию [Этнополитические процессы... 2015, с. 245], среди них – запрещенные в Российской Федерации экстремистские организации, такие как «Хизб ут-Тахрир аль-Исламия» и др.

Важный фактор политизации идентичностей – взаимоусиление этнической и конфессиональной идентичностей. Опрос, проведенный Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова в феврале-марте 2011 г. (пропорциональная выборка 2020 человек старше 18 лет, погрешность не превышала 2,3%), доказал, что 78,9% респондентов считали себя православными, 8,8% – мусульманами, по 5,2% назвали себя «просто христианами» или не отнесли себя ни к одному вероисповеданию [Ставлення жителів Криму... 2011, с. 28]. 97,8% татар считали себя мусульманами, а 85,1% украинцев и 84,9% русских – православными, судя по аналогичному опросу Центра им. Разумкова в 2008 г. [Кримський соціум... 2012, с. 4]. 97,8% татар считали себя мусульманами, а 85,1% украинцев и 84,9% русских – православными [Иванов, 2012]. Этническая и конфессиональная идентичности совмещались в высокой степени.

По Всеукраинской переписи 2001 г., русские составляли 60,2% населения АРК и Севастополя, украинцы – 23,9%, крымские татары – 10,2% [Численность и состав населения Украины... б.г.]. Отметим весомые изменения баланса этнических идентичностей при переписи населения в Крыму (октябрь 2014 г.). Данные обеих переписей сопоставимы, поскольку миграция на полуостров и вовне его малозначительна. В обеих переписях этническая и языковая принадлежность определялись по самоидентификации индивидов. Вместе с тем перепись 2001 г. сопровождалась жалобами русских на завышение удельного веса украинцев в Крыму [Брунова-Калисецкая, Духнич, 2011, с. 126–134]. На полуострове в 2014 г. проживали 2284,8 тыс. человек, из них 96,2% назвали свою этническую принадлежность. Русские составляли 67,9% совокупного населения Республики Крым (РК) и г. Севастополя, указавших национальность, украинцы – 15,7%, крымские татары – 10,6%. Еще 2,05% жителей назвали себя татарами, что на порядок превышает уровень 2001 г. (0,57%). Федеральная служба статистики приняла решение добавить к категории крымских татар всех лиц, владеющих крымско-татарским языком как родным. Не указали свою этничность 87,2 тыс. жителей Крыма (3,8%), что в восемь раз больше, чем при переписи 2001 г. Этот уровень близок к удельному весу жителей Крыма, не ставших гражданами РФ, – 2,5% [Итоги переписи населения... 2015, с. 121–134]. Можно

предположить, что данную идентификацию избрали те крымчане, которые недовольны воссоединением с Россией.

Население Республики Крым (РК) составило в октябре 2014 г. 1 889,4 тыс. человек, в том числе русских – 65,0%, украинцев – 16,0%, крымских татар – 12,6%, белорусов – 1,0% (в РК проживает 175 этнических групп). Население г. Севастополя составило 395,0 тыс. человек, в том числе русских – 81,0%, украинцев – 14,2%, белорусов – 1,0%, крымских татар – 0,7% [Итоги переписи населения... 2015, с. 121–134]. Предположим, что в условиях межгосударственного конфликта многие украинцы сделали выбор в пользу признания себя русскими.

В Крыму сложилась сложносоставная идентичность русских. Ее разделяют не только русские по происхождению, но и многие украинцы, белорусы, евреи, греки, поволжские татары и др. Для них русские исторические символы и язык общения более привлекательны, чем украинские. По переписи 2001 г., повседневно использовали в быту русский язык 97–98% жителей АРК и Севастополя [Численность и состав населения Украины... б.г.]. Это значительно больше, чем удельный вес русских в населении региона. При переписи в октябре 2014 г. назвали русский язык родным 84% жителей Крымского полуострова – больше, чем в 2001 г. (79,1%). Считают русский язык родным 79,7% украинцев Крыма и 5,6% крымских татар [Итоги переписи населения... 2015, с. 142–151].

Следует отметить, что такое состояние идентичности закрепились не благодаря, а вопреки языковой и исторической политике, проводившейся государственной властью Украины в Крыму и Севастополе в 1992–2013 гг. Несмотря на многочисленные изменения партийных ориентаций в данный период, органы власти Украины постоянно стремились обеспечить преобладание украинского языка как единственного государственного. Фокус-группы и интервью с представителями этнических групп Крыма доказали, что языковая политика воспринималась как форма властных отношений. Функции родного языка в каждой из групп различаются. Русские и крымские татары расценивали свой язык как ресурс политического влияния и равноправия, были ориентированы на внешние для Украины центры культуры. Для украинцев же родной язык – средство поддержания национальной идентичности, интеграции в государство. Представителями всех групп русский язык в Крыму оценивается как язык межэтнического общения, бизнеса, участия в глобализации. Повседневное

применение украинского языка в Крыму слабо. Крымско-татарский язык положительно оценивался только в качестве средства общения его носителей. Меры введения крымско-татарского языка в сфере регионального управления, бизнеса и СМИ вызывали у русских и украинцев негативные ассоциации с «историческим реваншизмом», исламизацией и сепаратизмом [Брунова-Калисецкая, Духнич, 2011, с. 152–154; Старченко, 2014, с. 100–113]. Напротив, Конституция Республики Крым 2014 г. закрепила принцип равноправия народов. Русский, украинский и крымско-татарский языки стали равноправными государственными, в том числе – в системе образования.

В Крыму история стала «полем битвы» между этнизированными концепциями прошлого. Для истории Крыма дискуссионными и этнически маркированными остаются проблемы взаимоотношений народов, Гражданской войны, коллаборационизма 1941–1944 гг., депортации 1944 г., украинского правления 1992–2013 гг. Сформировались изолированные и противоречившие друг другу русская [Алтабаева, Коваленко 2014], украинская [Пометун, Гупан, 2013] и крымско-татарская [Ислам в истории... 2013] версии истории Крыма. В условиях воссоединения Крыма с Россией необходимы региональные учебные издания, которые интегрировали бы поликультурное сообщество Крыма, укрепляли российскую национальную идентичность.

Согласно сведениям Министерства связи РФ, к июлю 2015 г. охват Крыма вещанием российских федеральных телеканалов составлял более 84% населения. В Республике Крым и г. Севастополе выпускается 628 зарегистрированных печатных СМИ. Наиболее популярными газетами региона являются: «Крымская газета», «Первая Крымская», «Крымское время», «Крымская правда», «Вести. Крымский выпуск», «Крымский телеграф», региональные приложения «Российской газеты» и «Комсомольской правды» [Волин, 2015]. Основными СМИ, проводящими государственный курс информационной политики, выступают: телерадиокомпания «Крым», Крымское информационное агентство, «Крымская газета», телерадиокомпания «Миллет».

Политический плюрализм выражается в активности оппозиционных пророссийских интернет-ресурсов и СМИ, недовольных сохранением у власти части бывших украинских чиновников, бюрократизмом, слабостью социально ориентированных реформ. К данному сегменту информационных ресурсов относят-

ся сайты «Непокоренный Крым»¹, «Новоросс. info»², Севастопольский новостной канал «ForPost»³.

Приграничное расположение Крыма и информационная война со стороны стран НАТО, Украины и Турции способствуют повышенной активности зарубежных сайтов и телеканалов, ведущих антироссийскую пропаганду. После лишения в 2015 г. регистрации крымско-татарского телерадиоканала АТР, финансируемого организатором блокады Крыма Л. Ислямовым, он вещает из Украины. Оттуда продолжают пропаганду заблокированные в Крыму за призывы к нарушению территориальной целостности РФ сайты: «Крым. Реалии»⁴, Меджлиса крымско-татарского народа⁵, Флот2017⁶, Черноморской телерадиокомпании⁷, «События Крыма»⁸ и др. [Новиков, 2015, с. 181–197]. Но опрос «Открытое мнение – Крым – 2016» (2016 г., репрезентативная выборка 1101 человек) позволяет утверждать, что влияние политической направленности СМИ на выбор идентичности крымчан невысоко [Проект... 2016, с. 24–26].

Таким образом, на полуострове сложились три основных этнических сообщества, символические границы которых во многом совпадают с маркерами религии и языка. Эти сообщества имеют отчетливо различное восприятие проблем политики и по-разному оценивают российскую идентичность. Направленность и способы коммуникации этнических сообществ с властью и между собой определяются в большей мере повседневными практиками непосредственного общения, вовлеченностью в сети обмена информацией, а не воздействием государственной политики.

Выясним степень интегрированности / сегментированности крымской региональной идентичности. Центр этносоциальных исследований в 2008–2010 гг. провел лонгитюдный опрос жителей г. Симферополя и пригородов, выборка в 400 человек была представительной для всего населения полуострова. Погрешность выборки –

¹ Непокоренный Крым. – Режим доступа: <http://www.freetavrida.org/>

² Новоросс.Info. – Режим доступа: <http://www.novoross.info/>

³ Севастополь, новости – Севастопольский новостной портал. – Режим доступа: <http://sevastopol.su/>

⁴ Крым.Реалии. – Режим доступа: <http://ru.krymr.com/>

⁵ Меджлис крымско-татарского народа. Официальный сайт. – Режим доступа: <http://qtnm.org>

⁶ Флот2017. – Режим доступа: <http://flot2017.com/>

⁷ Черноморская телерадиокомпания. – Режим доступа: <http://blacksea.tv/>

⁸ «События Крыма» – информационный портал. – Режим доступа: <http://www.sobytiya.info/>

4,8%. На русском языке разговаривали дома 86,1% крымчан всех этнических групп, на работе – 91,1, с друзьями – 85,0%. Отдавали предпочтение СМИ на русском языке 83,1%, желали обучать русскому языку членов семьи – 80,0% [Филатов, 2011]. Этнокультурный фактор ориентаций был характерен в Крыму для 44% украинцев, 65–66 – крымских татар и 77–78% русских. При ответе на вопрос: «С какой социальной группой вы себя хотели бы идентифицировать?» – разделявших российские идентификации было 50,5% («крымчане», «русские», «советский народ», «россияне»). К носителям украинской идентичности можно было отнести 24,7% респондентов («граждане Украины», «украинцы»). Для русских и украинцев идентичность – прежде всего государственная (32% и 28% ответов), а для крымских татар – этническая (около 80%). На вопрос: «Каким Вы хотели бы видеть статус Крыма?» – ответили: республикой в составе России – 37%; независимой республикой в союзе с Россией, Беларусией и Украиной – 10,5%; автономной республикой в составе Украины – 32,1%; областью Украины 8,3%; крымско-татарской автономией в составе Украины – 4,8%; самостоятельным крымско-татарским государством – 4,3%; вилайетом Турции – 0,5%. Более 60% русских крымчан поддерживали воссоединение с Российской Федерацией [Филатов, 2011].

Эти данные подтверждаются материалами опроса, проведенного Центром региональных исследований и стратегий (г. Одесса) в 2011 г. на Юге Украины (подвыборка в Автономной Республике Крым и г. Севастополе – 836 человек, погрешность до 3%). Крымчане в меньшей мере, чем все респонденты Юга (38 против 46%), считали себя в первую очередь гражданами Украины; 26% отдавали первенство локальной идентичности; 21% – региональной; 8% считали себя гражданами СССР. Русская этничность (по самооценке) наиболее распространена в городах Крыма, а украинская – в сельской местности. Вероятно, региональная (крымская), локальная и русская этническая идентичности в восприятии респондентов сливались в единую «не-украинскую» самооценку [Князева, 2013, с. 273–284].

Опрос, проведенный Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова (2011), доказал асимметрию межэтнических дистанций в Крыму по шкале социальной дистанции Богардуса [Ставлення жителів Криму... 2011, с. 29]. Самый низкий уровень дистанции был относительно крымских русских – 1,91 балл. По нарастающей – в отношении крымских украинцев (2,11), жителей Юга и Востока Украины – 2,89, граждан РФ – 3,11, жителей Центра Украины – 3,12 балла. Наиболее высок уровень

дистанции в отношении крымских татар – 3,97 балла, жителей Запада Украины – 4,54, турок – 5,60 и цыган – 6,02 балла. Уровень дистанции между русскими и крымскими татарами (4,22 балла) мало отличался от такового между украинцами и крымскими татарами (4,1 балла) [Ставлення жителів Криму... 2011, с. 29]. Этнические дистанции между русскими и украинцами в Крыму на порядок меньше, чем между русскими и крымскими татарами.

Важное значение имеют социологические опросы крымско-татарского сообщества. Отмечается устойчивый конфликт идентичностей. По опросу, проведенному Украинским независимым центром политических исследований в 2007 г., 24,7% татарской молодежи 17–36 лет были уверены в том, что их наилучшее будущее – независимое государство крымских татар. Через 20 лет считали такой статус реальным 50% [Гищенко, Халилов, Капустін, 2008, с. 76]. Опрос крымских татар, проведенный социологами Таврического национального университета (выборка 600 человек, ноябрь–декабрь 2008 г.), выявил поддержку сотрудничества конфессий, если оно не нарушает религиозные нормы и чувства (74%). Но 1/3 опрошенных не осуждали «нетрадиционные» течения в исламе, что конфликтогенно [Муратова, 2009, с. 30–32, 39–45].

Актуальные сведения о межэтнических восприятиях дал массовый опрос, проведенный ООО «Бизнес-сотрудничество-Юг» 14–31 марта 2015 г. Пропорциональная выборка составила 1600 человек во всех муниципальных образованиях Республики Крым (статистическая погрешность не более 3,5%), не включая г. Севастополь. Этнический состав респондентов (русские – 66,1%, украинцы – 17,1%, крымские татары – 11,1%, армяне – 1,4%, греки – 0,7%, болгары и немцы – по 0,4%, другие – 2,8%) близок по пропорциям к составу всего населения [Этнополитические процессы в Крыму, 2015, с. 292–297, 305–331]. Оценка состояния межэтнических отношений наиболее позитивна среди болгар, армян, греков и русских, а относительно негативна – среди крымских татар и украинцев.

При ответе на вопрос: «Между какими этническими группами Крыма, на ваш взгляд, межнациональная напряженность наиболее выражена?» – преобладает позитивное мнение: «нет таких групп» (37,6% во всей выборке). Но на втором месте – мнение о том, что наиболее выражена напряженность между русскими и крымскими татарами (30,3% ответов); на третьем – мнение о напряженности между русскими и украинцами (17,6%) [там же, с. 323]. Важны суждения респондентов об ущемлении их прав по сравнению с представителями других народов. Наиболее склонны

признавать факты дискриминации по этническому признаку армяне (18,2% ответов) и крымские татары (12,9%) по сравнению с 3,2% русских, 9,1 – греков и 9,5% украинцев [Этнополитические процессы в Крыму, 2015, с. 323]. Ситуации ущемления прав, по мнению респондентов, возникают чаще всего в области трудовых отношений, при бытовом общении, обращениях в органы региональной и местной власти, получении медицинской помощи. Представления этнических групп о конфликтных линиях в регионе выражены отчетливо и мало изменились за 2014 – начало 2015 г.

Новейшие из доступных данных о соотношении идентичностей в Крыму дал массовый опрос «Открытое мнение – Крым – 2016» (проведен социологическим центром «Открытое мнение», апрель – июнь 2016 г., пропорциональная выборка 1101 человек). Установлено, что русское сообщество имеет больший процент уроженцев Крыма в сравнении с украинцами (58% против 40%) [Проект... 2016, с. 7]. Респонденты считают себя прежде всего «гражданами России» (43,1%) и «жителями Крыма» (35,3%), «жителями планеты» (9,4%), «жителями города, района» (8,4%). Гражданами Украины признали себя 1,1% опрошенных. Для сравнения, считают себя в первую очередь гражданами России 52% русских респондентов, 28% украинцев и 8% крымских татар. Воспринимают себя прежде всего как жителей Крыма 30% русских, 42% украинцев и 65% татар. Различия этнических групп в восприятии украинской и локальной идентичностей не столь велики и существенны [Проект... 2016, с. 11–15]. Удельный вес респондентов, считающих себя в первую очередь гражданами России, в городах Крыма 47%, а в сельской местности – 38%. Региональной идентичности привержены в большей мере сельские жители (46%), а не горожане (28%). Степень оптимизма оценок политической ситуации в Крыму слабо различается по линии «русские – украинцы», но резко контрастна по оси «славяне – крымские татары». Удовлетворены положением дел в Крыму 44% татар и 70% респондентов всей выборки [там же, с. 15, 25–27]. Отношение трех идентификационных групп к воссоединению с Россией также различается. Воссоединение поддерживают 96% русских, 84% украинцев и 46% крымских татар (среди последних 36% дали неопределенные оценки) [там же, с. 40–41].

Итак, соотношение идентичностей в каждой из основных этнических групп Крыма своеобразно, а регионализм воспринимается противоречиво: он может быть и резервом конструирования рос-

сийской идентичности (среди русских и украинцев), и конфликтным противопоставлением последней (среди крымских татар).

Таким образом, долгосрочные факторы баланса гражданской, региональной и этнических идентичностей в Крыму следующие: приграничное расположение региона в контактной зоне цивилизаций, историческая «тропа зависимости», незавершенность социокультурной интеграции постсоветских государств, взаимоусиление этнических, конфессиональных и географических размежеваний.

Региональное сообщество Крыма является многосоставным, с сегментацией на русское, украинское и крымско-татарское общества. Но этнические, лингвистические и религиозные размежевания отчасти компенсируют друг друга, что сдерживает рост конфликта. Русская этническая идентичность крымчан своеобразна, но интегрирована в общерусскую идентичность. Наиболее слабы проявления украинской идентичности. Сложилась сложносоставная идентичность крымчан. Ее разделяют не только русские, но и многие украинцы, белорусы, армяне, греки, представители других народов. В Крыму русское самосознание является основой региональной идентичности, смысловым «ядром» конструирования российской гражданской идентичности. Внутрирегиональные конфликты идентичности наиболее вероятны по линии «славяне – крымские татары».

Необходима научно обоснованная стратегия реинтеграции Крыма и России на основе укрепления гражданской идентичности, равноправного диалога этнических и конфессиональных сообществ. Ресурс ее прочности – интеграция этнических и конфессиональных групп Крыма в российское общество, создание механизмов демократического согласования и представительства интересов.

Литература

- Алтабаева Е.Б., Коваленко В.В. Потомству в пример: Севастополь от основания до начала XX века. – 3-е изд. – Севастополь: Телескоп, 2014. – 288 с.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2001. – 288 с.
- Ачкасов В.А., Бабаев С.А. «Мобилизованная этничность»: Этническое измерение политической культуры современной России. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. филос. общ-ва, 2000. – 145 с.

- Баранов А.В. Трансформация сложносоставного конфликта в Крыму в условиях воссоединения региона с Россией: внутривнутриполитические и внешнеполитические факторы // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2015. – Т. 11, № 4. – С. 92–105.
- Барт Ф. Этнические группы и социальные границы. – М.: Новое издательство, 2006. – 198 с.
- Брунова-Калисецкая И., Духнич О. Психологические образы языково-культурных угроз в восприятии городских жителей Крыма // Крымский политический диалог 2010. – М.: Институт ПАТРИР, 2011. – С. 114–156.
- Волин А.К. Развитие СМИ в Крыму // Минкомсвязь России. – М., 2015. – Режим доступа: <http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/546/> (Дата посещения: 25.08.2016.)
- Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года. – Режим доступа: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/> (Дата посещения: 30.08.2013.)
- Гай-Нижник П.П., Батрименко О.В., Чупрій Л.В. Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України // Гілея. – Київ, 2015. – Вип. 103. – С. 333–339.
- Гарас Л.Н. Религиозный фактор в социально-политических процессах: крымское измерение // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2014. – Т. 10, № 2. – С. 199–214.
- Пометун Е.И., Гупан Н.Н. История Украины: 11 класс. – Киев: Освіта, 2011. – 336 с.
- Донбас і Крим: ціна повернення / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Лященко. – Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2015. – 474 с.
- Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2014 р.: Наказ Міністерства культури України від 19.03.2014 р. № 167. – Київ, 2014. – Режим доступа: <http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/354806> (Дата відвідування: 20.08.2014.)
- Иванов А. Полуостров раздора. Этнорелигиозный конфликт в Крыму: кто раздувает пламя? // Столетие. – М., 2012. – 31 декабря. – Режим доступа: http://www.stoletie.ru/geopolitika/_poluostrov_razdora_851.htm (Дата посещения: 31.12.2012.)
- Ислам в истории и культуре Крыма: учеб. пособие для учителей общеобразовательных школ / Н. Акчурина-Муфтиева, Н. Абдульвапов, З. Хайрединова и др.; под ред. А. Исмаилова, Э. Муратовой. – Симферополь: Таврида, 2013. – 388 с.
- Итоги переписи населения в Республике Крым / предс. редкол. А.Е. Суриков; Федеральная служба государственной статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2015. – 279 с. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/KRUM_2015.pdf (Дата посещения: 30.12.2016.)
- Киселёв С.Н. Крымская русская идентичность как этнополитическая реальность // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия: География. – Симферополь, 2004. – Т. 17 (56), № 4. – С. 210–216.
- Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. – М., 2003. – № 6. – С. 67–116.
- Князева Е.В. Самоидентификации населения Южноукраинского региона: «неукротимость примордиального» // Социальные идентичности в динамике институционального и самоорганизационного. – Одесса: ВМВ, 2013. – С. 267–284.

- Коростелина К.В. Социальная идентичность и конфликт. – Симферополь: ДОЛЯ, 2003. – Вып. 2.: Исследование социальной идентичности: на пути к примирению в Крыму. – 360 с.
- Кримський соціум: лінії поділу та перспективи консолідації (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 2–72.
- Куц Н.В., Муратова Э.С. Прошлое, настоящее и будущее крымских татар в дискурсе мусульманского сообщества Крыма. – Киев: К.І.С., 2014. – 64 с.
- Маковская Д.В. Этническое неравенство как фактор этнополитической конфликтности: крымский опыт // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2014. – Т. 10, № 2. – С. 215–230.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – 421 с.
- Мальгин А.В. Украина: соборность и регионализм. – Симферополь: СОНАТ, 2005. – 280 с.
- Миненков Г.Я. Идентичность как предмет политического анализа // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семенов. – С. 18–25.
- Морозова Е.В. Сложносоставная идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семенов. – С. 102–106.
- Муратова Э.С. Крымские мусульмане: взгляд изнутри (результаты социологического исследования). – Симферополь: Эльиньо, 2009. – 52 с.
- Новиков Д.В. Информационное противодействие интеграции Республики Крым в состав Российской Федерации и пропаганда восприятия Крыма как «оккупированной» территории Украины // Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики. – Симферополь: Крым, филиал Краснодар. ун-та МВД России, 2015. – С. 180–200.
- Проект «Открытое мнение – Крым – 2016»: Краткий аналитический отчет по итогам исследования. – М., 2016. – 45 с. – Режим доступа: http://www.openopinion.ru/content_res/articles/OO_Crimea_brief.pdf (Дата посещения: 16.03.2017.)
- Рябов О.В. Мать и мачеха: мифология «России – матушки» в легитимации присоединения Крыма к РФ // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – Вып. 3. – С. 108–125.
- Сенюшкина Т.А. Информационная поддержка принятия управленческих решений в условиях этнополитической конфликтности в Крыму // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2014. – Т. 10, № 2. – С. 185–198.
- Сосновский Д.В. Процессы формирования региональной идентичности в Крыму в контексте поляризации украинского общества (1991–2014): Дис. ...канд. полит. наук. – М., 2014. – 171 с.
- Ставлення жителів Криму до імовірних загроз та допитань, які мають значний конфліктний потенціал // Національна безпека і оборона. – Київ, 2011. – № 4–5 (122–123). – С. 27–39.

- Старченко Р.А. Особенности речевого поведения и региональная идентичность населения Крыма // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. – М., 2014. – № 1. – С. 100–113.
- Тищенко Ю., Халилов Р., Капустін М. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. – Київ: Український незалежний центр політичних досліджень, 2008. – 84 с.
- Третя религиозных организаций Крыма действуют без регистрации. – 2015. – 25 июня. – Режим доступа: <http://news.allcrimea.net/news/2015/6/25/tret-religioznyh-organizatsii-kruma-deistvujut-bez-registratsii-39446> (Дата посещения: 27.06.2015.)
- Филатов А.С. Русский Крым: внешние угрозы и внутренние вызовы. – 2011. – 18 ноября. – Режим доступа: <http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=24007> (Дата посещения: 23.12.2011.)
- Этнополитические процессы в Крыму: исторический опыт, современные проблемы и перспективы их решения / Киселёва Н.В., Мальгин А.В., Петров В.П., Форманчук А.А. – Симферополь: Салта, 2015. – 352 с.
- Baranov A.V. The origins of the Crimean crisis: Political communication and Ethnopolitical conflict in Crimea until February 2014 // Political communication in times of crisis / Ó.G. Luengo (Dir.). – Berlin: Logos Verlag, 2016. – P. 285–296.
- Charron A. Whose is Crimea? Contested sovereignty and regional identity // Region: Regional studies of Russia, Eastern Europe & Central Asia. – Hankuk, 2016. – Vol. 5, Is. 2. – P. 225–256.
- Paasi A. Region and place: Regional identity in question // Progress in human geography. – L., 2003. – Vol. 27, N 4. – P. 475–485.
- Rokkan S., Urwin D. The politics of territorial identity: Studies in European regionalism. – L.: Sage, 1982. – 438 p.
- Rothschild J. Ethnopolitics: A conceptual framework. – N.Y.: Columbia univ. press, 1982. – 290 p.
- Sasse G. The Crimea question: Identity, transition, and conflict. – Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian Research Inst., 2007. – xv, 400 p.

ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

**С.П. Поцелуев, М.С. Константинов, П.Н. Лукичѳв,
Л.Б. Внукова, И.В. Николаев, А.В. Тупаев***

ПРАВораДИКАЛЬНЫЕ АТТИТЮДЫ ДОНСКИХ СТУДЕНТОВ: ИГРЫ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИИ /

Аннотация. В статье представлена авторская методология исследования праворадикальных идеологем, сочетающая в себе, в рамках когнитивного подхо-

* **Поцелуев Сергей Петрович**, доктор политических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета, e-mail: spotselu@mail.ru; **Константинов Михаил Сергеевич**, кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета, e-mail: konstantinov@sfedu.ru; **Лукичев Павел Николаевич**, доктор социологических наук, профессор кафедры конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: lukichev@inbox.ru; **Внукова Любовь Борисовна**, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра Российской академии наук, e-mail: vnukoval@yandex.ru; **Николаев Илья Викторович**, специалист по учебно-методической работе Центра междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования Института истории и международных отношений Южного федерального университета, e-mail: nikolaev_polit@mail.ru; **Тупаев Андрей Васильевич**, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета, e-mail: bio-412@yandex.ru

Potseluev Sergei, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: spotselu@mail.ru; **Konstantinov Mikhail**, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: konstantinov@sfedu.ru; **Lukichev Pavel**, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: lukichev@inbox.ru; **Vnukova Lubov**, Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: vnukoval@yandex.ru; **Nikolaev Ilya**, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: nikolaev_polit@mail.ru; **Tupaev Andrei**, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: bio-412@yandex.ru

да, элементы концептно-морфологической теории М. Фридена, понятия «смутной идеологема» М. Бахтина, а также «новый концепт» идеологии Т. ван Дейка.

Ключевые слова: идеологема; когнитивный подход; правый радикализм; студенческая молодежь.

**S.P. Potseluev, M.S. Konstantinov, P.N. Lukichev,
L.B. Vnukova, I.V. Nikolaev, A.V. Tupaev**

Radical right wing attitudes of Don students: Games on the ideological periphery /

Abstract. The article presents the original methodology for research of the radical right wing ideologies elaborated by the authors. It combines some elements of M. Frieden's concept morphological theory, the Bakhtin's concept of «vague ideologies» as well as a «new concept» of ideology by T. van Dijk and brings them to the framework of cognitive approach.

Keywords: ideologeme; cognitive approach; right-wing radicalism; student youth.

Тема молодежного экстремизма стала в последние годы одной из ключевых в российской политике. Причем речь идет прежде всего о росте правоэкстремистских настроений среди молодых людей, что выражается в распространении расистских, националистических, религиозно-фундаменталистских, ксенофобских идей. В данной статье представлены итоги трехлетнего проекта, посвященного анализу праворадикальных установок донского студенчества и выполненного при поддержке РГНФ¹ исследователями из Южного федерального университета и Южного научного центра РАН.

Праворадикальные идеологема как предмет исследования: Методологический аспект

В целях разработки теоретико-методологического конструкта для анализа праворадикальных идеологем в сознании студенческой молодежи авторы проекта избрали *дискурсивно-когнитивистский подход к идеологии, развиваемый, в частности, Т. ван Дейком. Этот подход предполагает взгляд на идеологию как на подвижную систему идеологических ориентаций (аттитюдов), реализующихся прежде всего в повседневном дискурсе, а не в специальных теориях и доктринах. Человек является «носителем аттитюдов» в той мере, в какой он*

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-03-00302 а «Праворадикальные идеологема в сознании студенческой молодежи Ростовской области».

может ориентироваться в социальном пространстве, занимать позицию в узловых вопросах общественной жизни. Соответственно, аттитюды структурируются посредством базисных категорий *проблемы и ее решения*. Аналогичную структуру, по ван Дейку, обнаруживают и политические идеологии, поскольку они «способны представлять (реально либо воображаемо) проблемы и конфликты интересов как внутри социальных групп, так и между ними» [van Dijk, 1998, p. 67].

В реальном дискурсивном процессе идеологии организуют аттитюды, связывая их в прагматическое смысловое единство. Когда мы анализируем ответы наших респондентов на вопросы анкеты, относящиеся к актуальной социальной проблеме (кризису, конфликту), мы тем самым имеем дело не с праворадикальной идеологией как таковой, а лишь с идеологическими аттитюдами (установками) респондентов, конкретную идеологическую организацию которых (идеологическую прописку, так сказать) еще надо установить посредством специального анализа. В нашем случае это зачастую приобретало вид анализа взаимосвязей, в частности сопряжений между разными аттитюдами.

В качестве структурных единиц аттитюдов как некоего кластера оценивающих убеждений, разделяемых социальной группой или всем обществом, мы рассматриваем *идеологемы*. Понятие «идеологема» использовал М.М. Бахтин для обозначения вербализованной единицы смысла той или иной идеологии, репрезентирующей эту идеологию [см., напр.: Бахтин, 2000, с. 375]. Идеологема проецируется либо на язык, либо на мышление. В первом случае речь идет о лингво-идеологеме (она представлена в языковых структурах, необязательно вербальных), а во втором – о концепт-идеологеме¹ или просто концепте. Мы согласны с Е.Г. Малышевой в том, что понимание идеологемы не следует ограничивать рамками речи и вообще языка, но стоит понимать «как единицу когнитивного уровня – особого типа многоуровневый концепт, в структуре которого (в ядре или на периферии) актуализируются идеологически маркированные концептуальные признаки, заключающие в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологизированное представление носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, политических и идеологических институтах» [Малышева, 2009 а, с. 35].

¹Выражение *концепт-идеологема* употребляет, к примеру, омский лингвист Е.Г. Малышева [см.: Малышева, 2009 b, с. 76].

Идеологические концепты рассматриваются нами не как продукт искусственно организованной логической системы, а как эффект спонтанного мыслительного творчества на основе «грамматики» соответствующей теории. Такой подход позволяет учесть не только ясные идеологемы, но также идеологемы смутные (зыбкие, сумбурные) [Бахтин, 2000, с. 375, 480].

Когнитивистский подход к идеологиям описывает их не по социальным функциям, а по конфигурациям концептов. Классическим образцом реализации такого подхода можно считать «идеологическую морфологию», предложенную британским политическим философом М. Фриденем. Для него большинство концептов (как в теории, так и в повседневном идеологическом дискурсе) состоят из *неустранимых* и *квазислучайных* признаков [Freedен, 2006, р. 61–62]. Признак концепта является неустранимым в том смысле, что без него невозможно корректно декодировать данный концепт для всех участников коммуникации. Однако какого-то устойчивого и автономного смыслового ядра у большинства концептов нет, поскольку их содержание существенно зависит от их дискурсивного окружения. Элементы этого окружения, смежные для неустранимых элементов концепта, являются его квазислучайными признаками: они случайны, потому что, в отличие от неустранимых элементов, могут варьироваться в зависимости от культурно-исторических обстоятельств; с другой стороны, эти признаки необходимы, потому что политический концепт не может быть сведен по содержанию к формализму своих неустранимых признаков.

При анализе политического концепта М. Фриден делает важное различие между его *логической* и *культурной* смежностью [ibid., р. 68]. Логически смежными признаками концепта называются те смысловые структуры, которые неизбежно задействуются при всякой попытке разъяснить, что такое данный концепт. Но какие из логически возможных смежных признаков концепта фактически выбираются в качестве таковых – это решают культурные факторы, и Фриден различает два типа таких факторов. Первый тип определяет, какие из *логически допустимых* смежных признаков концепта следует оставить, а какие – исключить. Второй тип культурной смежности характеризует элементы, которые не вытекают логически из неустранимых признаков концепта, но *привносятся культурой* в качестве необходимых и / или легитимных. Логически смежные компоненты концепта могут по набору своих смысловых альтернатив перевешивать культурные компоненты (т.е. обнаруживают «избыток значений»), однако культурные факторы носят оп-

ределяющий характер, поэтому логические ряды обычно подстраиваются в концепте под культурные порядки. При этом политические концепты обнаруживают весьма текучие границы, так что некоторые из их признаков оказываются «свободно плавающими», выступая вместе с тем частью своего смыслового окружения, компонентами других концептов. С этим связан феномен «сущностной оспариваемости концептов» (У. Гэлли), который должен учитываться при любом их анализе, поскольку он, по словам М. Фридена, есть следствие не столько спорности выраженных в концептах ценностей [Ледяев, 2001, с. 10], сколько морфологии самих концептов [Freedен, 2006, p. 69].

Различие логических и культурных факторов смежной области концептов относится и к характеристике смежных концептов внутри идеологий. Однако идеологии суть не просто комплексы концептов, но конфигурации деконтекстированных значений политических концептов, т.е. значений, выведенных из состояния их сущностной оспариваемости и привязанных к определенному слову. Лингвоидеологема есть эффект такого «цементирования» отношений между словом и концептом.

Подобно структуре политического концепта структура политической идеологии также представляет собой взаимосвязь *ядерных* (неустрашимых), *смежных* и *периферийных* элементов, в роли которых теперь уже выступают концепты [ibid., p. 77].

В структуре идеологии, как и в структуре концепта, присутствуют неустрашимые элементы (концепты), однако сам по себе этот факт не принципиален, поскольку он еще не описывает сути концептуального ядра идеологий. Для определения же сути идеологии более важным, чем *наличие* в ней какого-то концепта, является его *местоположение* внутри идеологической структуры. Идеологии, по мысли М. Фридена, различаются между собой не столько разными концептами, сколько *разным упорядочением* сходных концептов. Ядром их является эмпирически определяемый кластер концептов, сформированный социальными конвенциями. Это есть динамичная (в синхронном и диахронном аспектах) структура, обеспечивающая гибкость границ как внутри самой идеологии (между ее ядерными, смежными и периферийными концептами), так и между разными идеологиями. Динамизм идеологической структуры делает относительным различие между ее центром и периферией.

Ядро идеологии оказывается исторически и географически меняющимся созвездием концептов, выражающим какую-то *основную*

идею [Арендт, 1996, с. 609–610], «рефрен» идеологии. Это – суждение, лежащее в основе концептуального каркаса данной идеологии и относящееся к основной социальной проблеме, вокруг которой вращается данная идеологическая тематика (социальное неравенство, национальное угнетение, экологические угрозы и т.д.). А.А. Галкин обозначает главную идею праворадикальной идеологии термином «правоконсервативный революционаризм» [Галкин, 1995, с. 10], что по смыслу совпадает с аналогичными терминами, предложенными Р. Грифффином: «бескомпромиссный, аутентичный революционный национализм», «революционная миссия правого экстремизма» и т.п.¹

Поскольку идеологии не могут быть идентифицированы посредством какого-то одного главного организующего концепта, но только их динамичной констелляцией, постольку надо учитывать неизбежность образования *идеологических гибридов*: консервативного либерализма, либерального социализма и проч. Типичным примером идеологической гибридизации является и «группускулярная правая постфашистской эпохи» [Грифффин, 2007, с. 239], сочетающая в себе демократическую форму с антилиберальным содержанием. Более того, с течением времени ядро идеологий может терять или приобретать какие-то концепты, так что в этом случае можно говорить об *идеологических мутациях*. Мы исходим из того, что правый радикализм есть прежде всего *продукт мутации консервативной идеологии*.

Подобно двум видам смежности концепта (или ядра) идеологий, можно различать два вида идеологической периферии: маргинальную (смысловую) и периметровую (пространственно-временную). К первой относятся концепты, которые менее значимы для выражения специфики данной идеологии, чем ее ядерные концепты. Второй вид периферийности существует на уровне взаимодействия с историческим временем и пространством, выступая внешней границей (периметром) концепта. В случае периметровых концептов зачастую речь идет о применении уже известных концептов к каким-то специфическим культурно-историческим условиям. Периферийность идеологической структуры относительна: с одной стороны,

¹На схожесть концепций Р. Грифффина и А.А. Галкина обращает внимание, в частности, А. Умланд. А.А. Галкин, по его мнению, «совершил для России то, что сделал Грифффин в рамках своих исследований фашизма для Запада несколькими годами раньше. Не будучи на тот момент знакомым с грифффинской формулировкой о “палингенетическом ультранационализме”, Галкин объединил свои предыдущие оценки фашизма в сжатой дефиниции “правоконсервативный революционаризм”. Подход Галкина схож с проектом Грифффина как по своей интенции, так и по существу» [см.: Умланд, 2003, с. 4].

маргинальные для данной идеологии концепты могут быть ядерными в конкурирующей идеологии; с другой стороны, периметровые концепты оказываются микроидеологическим средством передачи культурных ограничений, оказывающих существенное влияние на макроидеологические структуры.

С учетом гибридности, текучести и динамичности современных праворадикальных идеологий соответствующие аттитуды крайне трудно зафиксировать социологическими средствами. В российском обществе – в силу действия фактора исторической памяти – идеи и ценности фашизма являются социально порицаемыми, поэтому отечественный правый радикализм предпочитает либо мимикрировать под уже готовые и более «респектабельные» (к примеру, консервативные) идеологические конструкции, либо пытаться создавать оригинальные и «самобытные» идеологические системы (некоторые версии национализма, евразийства и т.п.). В социологических опросах отечественные респонденты предпочитают давать социально одобряемые ответы на «подозрительные» вопросы из праворадикальной сферы. В современной социологии различные аспекты этого эффекта нашли отражение в понятиях (теориях) «спирали молчания» [Нозль-Нойман, 1996] и «фальсификации предпочтений» [Kuran, 1997]. Соответственно, авторы данного исследовательского проекта исходили из того, что общественное мнение не сводится к механической сумме отдельных мнений, но, помимо прочего, выполняет функцию социального контроля, обеспечивающего необходимый уровень ценностного консенсуса в обществе. Далее, при проведении социологического опроса авторы проекта учитывали, что фальсификация предпочтений как специфическая форма социальной лжи, не сводимая к понятиям самоцензуры и лицемерия, предполагает не просто уклонение от высказывания своего мнения, но сознательное публичное его конструирование, «изобретение».

Концептуальная размытость и эклектичность правого радикализма, делающая его идеологией, трудно идентифицируемой для исследователя, не в последнюю очередь объясняется генетической связью фашизма и национал-социализма с консерватизмом, а именно, с присущими ему антитеоретическими принципами и «реактивными» идейными установками¹. Из этих установок вытекает ряд черт кон-

¹ В этом смысле М. Фриден сравнивает консервативную идеологию с «зеркалом на шарнирах» [swivel mirror]. Консерваторы каждый раз определяются, кто для них в данный момент является главным врагом, и стремятся дать ему достойный идеологический отпор [см.: Freedен, 2006, p. 341].

цептуальной морфологии консерватизма, которые одновременно и сближают его с правым радикализмом, и отличают от него.

Консервативный и праворадикальный дискурс сближаются – правда, при разной идейной мотивации – в критике либерального рационализма и индивидуализма. Консерваторы не приемлют либерализм за то, что он, утверждая суверенитет личности, бросает вызов существующей власти во имя абстрактной логики и ценности. Правые радикалы отвергают либеральный рационализм как мировоззрение мелкого обывателя, движимого эгоистическим расчетом и неспособного подняться до жертвенности национального мифа. В отличие от тоталитаризма ультраправых, в классическом консерватизме речь идет о фундаментальном ограничении политики до сферы возможного, которое не угрожает социальному порядку¹. Консерватор признает только те изменения, которые не нарушают общественную стабильность и проявляют уважение к прошлому [Оукшот, 2002, с. 65–90].

Идея нечеловеческого порядка, снижающая роль человеческой личности, существенно отличает консерватизм от праворадикального революционного активизма с его культом героев. Этот революционаризм в сочетании с национальным мифом выражает суть идейной мутации, которой подвергся консерватизм на пути к фашизму. А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир убедительно показывают феноменологию этой мутации на примере «обновленческих тенденций» в немецком консерватизме после Ноябрьской революции 1918 г. – течений младоконсерваторов, «прусского (немецкого) социализма» и «консервативной революции» [Галкин, Рахшмир, 1987].

При всех своих различиях правый радикализм и консерватизм имеют долгую и многообразную историю идейно-политического взаимодействия. В Европе прошлого века это выразилось в консервативно-паворадикальных идеологических гибридах, возникших в условиях клерикально-фашистских режимов. В современной политике схожие феномены представлены, начиная с эпохи тэтчеризма и рейганизма, «новыми правыми», в идеологии

¹ Этот вывод подтверждается конкретными социологическими исследованиями. В частности, С.М. Липсет, изучавший социальную базу фашизма в Германии, Австрии, Франции, Италии, США и Аргентине, в числе отличий фашизма от консервативной диктатуры отмечает следующее: «В консервативной диктатуре ни от кого из граждан не ожидают, что они проявят полную лояльность по отношению к режиму, вступят в правящую партию или присоединятся к другим институтам данного режима, – человек должен просто держаться подальше от всякой политики и политической жизни» [Липсет, 2016, с. 210].

которых консерватизм приобретает наступательный характер и склоняется к «авторитарному популизму» с неорасистскими чертами. К примеру, критика «мультикультурализма», в прошлом выступавшая одним из специфических маркеров праворадикальной идеологии, сегодня стала общим местом в риторике правительственных консерваторов и даже части либералов на Западе.

Структура праворадикальной идеологии: Краткий обзор

Одной из первых теоретических задач, возникающих при попытке концептуализации современного правого радикализма, является соотнесение понятий (терминов) *фашизма* и *национал-социализма*. Содержание этих понятий долгое время оставалось и во многом еще остается дискуссионным и политически ангажированным. Действительно, между двумя наиболее яркими историческими попытками воплощения фашистской идеологии – германской и итальянской – имели место существенные различия (в степени концентрации власти, репрессий, поглощения гражданского общества государством, милитаризма, агрессивности к другим национальностям, включая еврейскую, и т.д.), позволяющие некоторым историкам и теоретикам настаивать на отсутствии структурных сходств между итальянским фашизмом и германским национал-социализмом [дискуссию по этому поводу см., в частн.: Griffin, 1993, p. 4–12]. Собственно, сами фашистские вожди и политические теоретики подчеркивали эти различия, полагая указанные версии фашизма разными политико-идеологическими течениями [см., напр.: Арендт, 1996, с. 412]. Наконец, кроме исторических и теоретических соображений в решении задачи определенную роль сыграл эмпирический аргумент: предварившие социологический опрос свободные групповые интервью со студентами, проведенные исследовательским коллективом в 2014 г., также показали, что весьма значительная часть студенческой молодежи воспроизводит в своем сознании различие между фашизмом и национал-социализмом. Причем, оценивая фашизм в целом негативно, к итальянской его версии и лично к Б. Муссолини студенты обнаруживают более позитивное отношение, чем к германскому национал-социализму и А. Гитлеру. К похожим выводам приводит и анализ идеологических установок современных российских праворадикальных движений.

В связи с этим возникла одна из гипотез исследования (теоретически обоснованная еще А.А. Галкиным), а именно – о внутреннем структурном единстве всех идеологических течений фашизма (включая современные российские). Сюда же относится и предположение о различии двух основных версий этой идеологии в России: «западнической», ориентирующейся на классические западные образцы (в основном итальянские и германские), и «почвеннической», спекулирующей на внутренней проблематике более «респектабельных» идеологий, как бы мимикрирующей под них. И хотя одна из задач исследовательского проекта заключалась в поиске и экспликации некоего универсального «родового» ядра фашистской идеологии, в анкету были включены две основные ее версии (фашизм в узком смысле этого термина и национал-социализм) с целью зафиксировать различия в идеологической ориентации студентов, разделяющих праворадикальные ценности. Учитывая полученные результаты, этот методический ход вполне себя оправдал: сами респонденты, сознательно связывающие себя с правым радикализмом, идентифицировали свои взгляды либо как фашистские, либо как национал-социалистические, а структурный анализ этих взглядов продемонстрировал существенные различия в идеологических аттитюдах.

Другая проблема, с которой столкнулся исследовательский коллектив, – это крайняя размытость, неопределенность и противоречивость научных описаний феномена фашизма. Даже после публикаций солидных работ западных исследователей Р. Гриффина, С.Дж. Пейна, Р. Игуэлла и др., а также авторитетного отечественного ученого А.А. Галкина, удалось достичь лишь ограниченного консенсуса в содержательной трактовке этой идеологии. Между тем отсутствие четких критериев квалификации того или иного комплекса идей в качестве фашистских (праворадикальных) существенно затрудняет проведение социологических исследований, нацеленных на выявление степени распространенности этих идей, а также описание социальной базы соответствующих политических партий (движений). В результате научные исследования утрачивают прогностическую силу и вынуждены фиксировать распространение фашистской идеологии уже «по факту», а не по ее причинам и генезису.

Решение задачи экспликации общего ядра фашистской идеологии осложняется ее беспрецедентной гибкостью и эклектичностью. В связи с этим в исследованиях фашизма получила распространение методология идеальных типов М. Вебера, позволяющая

фиксировать «родовые» признаки фашизма, независимо от многообразия конкретных его проявлений. В частности, британский политолог Р. Гриффин, используя веберовскую методологию, попытался в начале 1990-х годов определить «идеальный тип» или «родовую сущность» фашизма. Он отметил, что хотя ряд своих ценностных концептов фашизм заимствует у традиционного консерватизма, ни один из этих концептов сам по себе не является фашистским, равно как их простая совокупность, если они не включены в орбиту главных праворадикальных идей. К таковым Р. Гриффин относил два концепта: миф о возрождении (палингенетический миф) и популистский ультра национализм [Griffin, 1993, p. 44].

Сутью палингенетического политического мифа является вера в «поворотный момент» в историческом процессе, возвращающий общество к аутентичному состоянию после длительной эпохи кризиса и распада. Содержательно палингенетический миф связан с идеей революционного преобразования общества. Ранее у нас в стране сходные идеи развивал А.А. Галкин, предложивший теорию фашизма как «правоконсервативного революционаризма». По Гриффину, популистский ультра национализм связан с понятием сообщества как «высшей» национальной (расовой, исторической, духовной или органической) реальности, без которой невозможно полноценное существование членов данного сообщества. «Нация», воспринимаемая при этом как естественный порядок, нуждается в защите от «загрязняющих» ее элементов [ibid., p. 37]. К признакам фашизма, позволяющим идентифицировать его современных адептов, А.А. Галкин относит крайний антикоммунизм; шовинизм и расизм; склонность к конспиративным теориям, позволяющим завоевать массы; апологетику «сильной (антидемократической) власти»; империализм [Галкин, 1989, с. 351]. Сюда же примыкает акцентируемая Р. Итуэллом идея социального возрождения на основе холистски-националистического радикального «третьего пути» [Eatwell, 1996, p. 313], особенно актуальная для радикальных правых в современной России.

Для того чтобы зафиксировать концептуальную структуру современного фашизма, а затем выявить ее российскую специфику, надо учитывать, помимо упомянутых выше, ключевые элементы идентификации фашизма, выделенные итальянским историком Э. Джентиле [см.: Payne, 1995, p. 5–6], а также сформулированную еще в 1970-е годы прошлого века концепцию С.Дж. Пейна, определяющую фашизм как «форму революционного ультра национа-

лизма» [Рауне, 1995, р. 14]. При всей эвристической ценности идей и теорий их слабые моменты стали со временем объектом критики, под влиянием которой, в частности, Р. Гриффин обратился к методу «идеологической морфологии» М. Фридена. Это позволило корректнее отразить в теоретической модели правого радикализма идеологическую и организационную трансформацию послевоенного фашизма – его специфику в «постфашистскую эпоху» [Нольте, 2001, с. 460]. Вместо массовых движений и партий фашистская идеология реализуется сегодня в «группускулах» как организационных формах ризоматического типа [Гриффин, 2007, с. 227].

Межвоенный фашизм рассматривается теперь как одна из версий «родового фашизма», современным проявлением которого и выступают праворадикальные группускулы. Характеризуя их, Р. Гриффин отмечает две взаимосвязанные стратегии политического выживания правого радикализма: идейную и организационную. Первая стратегия выражается в производстве лингвоидеологических гибридов, когда неонацистские идеи выражаются в квазилиберальных терминах с расчетом на массовую поддержку избирателя (феномен правого неопопулизма). Вторая стратегия заключается в создании мелких элитарных организаций по принципу религиозного ордена (секты) в ожидании либерального «конца света».

Хотя в послевоенном (нео-)фашизме стало трудно распознать ядро праворадикальной идеологии, Р. Гриффин все же фиксирует его признаки даже в экстремистских национал-большевистских разновидностях группускулярной идеологии. Используя методологию М. Фридена, британский политолог выделяет определяющие, неустранимые элементы «родового фашизма», смежные с этими элементами понятия и периферийные (зависящие от внешней концептуальной и культурной среды, в которой развивается фашистская идеология). В процессе адаптации модели праворадикальной идеологии, предложенной Р. Гриффином, авторы данного проекта опирались на идею А.А. Галкина, выделившего два основных идеологических течения в российском праворадикальном лагере: 1) западническое, подчеркивающее свою принадлежность международному фашизму; и 2) почвенническое, избегающее идентификации с фашизмом и акцентирующее идею самобытного развития России [Галкин, 1995, с. 14]. Аналогичные течения правого радикализма в посткоммунистической России выделяет и Р. Гриффин [Гриффин, 2007, с. 241].

Обратившись к анализу программных документов отечественных праворадикальных организаций и движений (включая за-

прещенные), авторы уточнили концептуальную структуру отечественного правого радикализма, которую операционализировали в анкете социологического опроса. При этом к *ядерным концептам* российского правого радикализма¹ был отнесен прежде всего радикальный ультранационализм, а именно – концепт «русской нации», понимаемой в культурно-цивилизационном ключе. Для «почвенников» характерно также стремление обосновать русский «третий путь», обусловленный, опять же, культурно-цивилизационными факторами.

Идея посткризисного революционного возрождения (палингенез) также входит в ядро отечественных форм правого радикализма. К идеологемам, связанным с этой идеей, относится *возрождение Великой России* (иногда в расовом аспекте: «Белой Расы»), *воссоединение «искусственно разделенного русского народа»* (великороссов, малороссов и белорусов) и др. Несмотря на разнообразие взглядов отечественных правых радикалов на политическое устройство «возрожденной России», для многих из них общей ценностью является *территория*. По этой причине те или иные формы *империализма* можно считать одной из отличительных черт отечественных форм праворадикальной идеологии. В целом к числу *смежных концептов* российских версий правого радикализма, помимо империализма и мессианства, можно отнести антилиберализм; антиконсерватизм (критика политического истеблишмента, идея революционного возвращения к поруганным идеалам); антиматериализм и антирационализм (с акцентом на «духовной суверенности» и культурной самобытности России как нации-цивилизации и т.п.); холизм (традиции общинности и соборности, организмические метафоры); маскулинность; поиск «третьего пути»; мистицизм. Наконец, проведенный анализ позволил выделить следующие *периферийные концепты* в программных документах российских правых радикалов: культ личности и вождистский принцип, ритуальный (театральный) стиль политики, парамилитаризм, массовость, антисемитизм, корпоративизм в экономике.

¹ Учитывая, что нам пришлось иметь дело с запрещенными в России организациями и движениями, дать ссылки на их программные документы не всегда возможно: часть из них заблокированы в соответствии с законодательством РФ, часть запрещены к распространению. Некоторое общее представление заинтересованному читателю может дать справочник, составленный центром «Сова» [см.: Радикальный русский национализм, 2009].

Собранный авторами проекта в процессе социологического опроса эмпирический материал обнаружил подвижность и адаптивную гибкость концептуальной структуры правого радикализма, его способность очень быстро реагировать на изменения повестки дня и подстраиваться под массовые настроения. При этом был зафиксирован разрыв между тем концептуальным содержанием, которое разрабатывают идеологи и транслируют активисты – носители идеологии, и тем, как это содержание воспринимается в массовом (в нашем случае – студенческом) сознании. Это, впрочем, не означает отмену упомянутой структуры исследуемой праворадикальной идеологии. В частности, выделенные Р. Гриффином и А.А. Галкиным ядерные концепты (палингенетический миф и ультранационализм), а также ряд смежных концептов идентифицируются и в сознании наших респондентов. Однако *смысловое содержание* этих концептов определяется динамическим взаимодействием ядерных, смежных и периферийных концептов, значение которых, в свою очередь, сильно зависит как от влияния конкурирующих идеологий, так и от повестки дня и массовых настроений.

Операционализация праворадикальных идеологем для социологического исследования

На основе уточненной авторами проекта концептуальной структуры российского варианта праворадикальной идеологии была разработана анкета для последующего социологического опроса. При этом необходимо было найти методологическое решение проблемы «спирали молчания» и фальсификации предпочтений, для чего использовался ряд методологических приемов. Авторы проекта исходили из того, что задавать респондентам прямые вопросы об отношении к правому радикализму бесполезно, поскольку велика вероятность фальсификации их предпочтений. К тому же надо было учитывать тот факт, что современная праворадикальная идеология тонко реагирует на изменения актуальной повестки дня, постоянно рождает идеологические гибриды и микрирует под другие идеологии.

По этой причине при составлении опросного листа авторы выбрали самую актуальную и неоднозначную для российской политической жизни 2014–2015 гг. тему украинского кризиса и попытались – на основе отношения респондентов к этой теме –

выявить праворадикальные аттитюды. Языковые формулировки и проблематика вопросов были максимально приближены к дискурсивной тематике и стилю респондентов, для чего предварительно авторы проекта провели серию свободных групповых интервью и зафиксировали средствами контент-анализа проблемы, волнующие студентов, а также термины, в которых эти проблемы обсуждаются.

Обсуждение в рамках свободных и фокусированных интервью концентрировалось вокруг актуальных политических тем, доминирующих в информационном пространстве на момент исследований (в частности, это были проблемы украинского кризиса 2014 г. и террористических атак 2015 г.). Фоном для исследования стало общее критическое настроение аудитории. С одной стороны, сомнению подвергались данные из любых источников информации, как официальных, так и неформальных, таких как социальные сети, блоги, слухи и т.п. С другой стороны, критическое отношение студенты проявили и к позиции российской власти. Латентный уровень оппозиционности можно оценить как высокий, однако не проявляющийся в поведении и открыто декларируемых мнениях. Признание неправильности позиции российской официальной власти не привело к увеличению интереса в отношении институтов гражданского общества или повышению личной ответственности. Этатистское мышление, доминирующее в сознании студентов, приводит к стремлению верить в силу государства и его потенциал в решении глобальных и национальных проблем.

Несмотря на общее критическое отношение к СМИ, они остаются главным источником как информации, так и ее интерпретации. Вне зависимости от заявленной позиции в обсуждении проблем, связанных с праворадикальными идеологиями, студенты использовали медийные штампы и стереотипы, что говорит об отсутствии интереса к политической жизни и желания выработать собственную оценку происходящих событий. В то же время студенты высказывали мнение о том, что отсутствие достоверной информации и источника, заслуживающего доверия, является косвенной причиной возникновения страха в отношении отдельных социальных групп (этнических и религиозных).

Основной задачей свободных интервью и фокус-групп было выявление списка праворадикальных идеологических концептов, вызывающих у студентов бурную эмоциональную реакцию, что рассматривалось в качестве маркера наличия идеологием в

сознании. Среди прочего в дискурсе студентов имели важное коммуникативное значение такие концепты, как «война», «империя / сильная империя / имперское государство», «славяне / славянские люди», «русская нация», «евразийская нация», «кризис», «цивилизационный раскол» и др. Наличие этих терминов в речи не является показателем приверженности к праворадикальным течениям, однако говорит о высоком потенциале их латентной поддержки.

К темам, вызвавшим яркие эмоциональные реакции, относится комплекс вопросов, связанных с геополитическим положением России, ее ролью в качестве «великой державы» в локальных конфликтах (в том числе на Украине и в Сирии) и участием в решении мировых проблем. Важным направлением интересов студентов является поиск внешнего врага – тенденция, воспринятая из основных источников информации. Естественным в сознании респондентов представляется противостояние России и Запада / США, а также рассмотрение любых политических событий через призму парадигмы «мы vs они». Этой же логике подчинены размышления об экономических основах конфликтов, о статусе и правах этнических и гендерных меньшинств. Противоположная тенденция – избегание обсуждения – проявляется в отношении тем, связанных с российской несистемной оппозицией (в том числе с радикальными течениями), а также межэтническими отношениями на территории России. Табуированность этих тем в средствах массовой информации воспринята студентами и проявляется в демонстративном нежелании обсуждать эти вопросы публично. Аналогично складывается ситуация с оценкой деятельности официальной государственной власти России во внутривнутриполитических делах.

При операционализации праворадикальных идеологием в анкете социологического опроса авторами проекта ставилась задача выявления не только актуальных носителей профашистских идей и ценностей, но также потенциальных симпатизантов правого радикализма. Поэтому нашей исходной гипотезой выступило различение трех уровней (эксцессивного, интерпелляционного и вероисповедального) и двух форм (воображаемой и символической) идентификации с идеологией. *Эксцессивная* идентификация обнаруживается через идеологические эксцессы, когда уровень предрасположенности к праворадикальной идеологии представлен в виде мимолетного настроения, обыденной фантазии. В отличие от идеологических эксцессов *интерпелляция*

сознания идеологемой означает, что оно на нее «откликается», идентифицируется с ней. Однако интерпелляция идеологемами не всегда говорит о наличии у человека соответствующих убеждений. Таковые предполагают *вероисповедальные* идентификации, при которых за словами следуют дела.

Двигаются ли эксцессивные идентификации субъекта с идеологемами в сторону формирования прочных идеологических убеждений – это зависит от того, в какой *форме* эти идентификации по преимуществу протекают: воображаемой либо символической. Данная понятийная дистинкция восходит к традиции символического интеракционизма, к противоположности между абстрактными идеалами, с которыми индивид может идентифицироваться зачастую лишь в воображении, и конкретными ценностями, которые выкристаллизовываются в сознании человека из его реального взаимодействия с другими людьми, опосредованного символами¹. Символические идентификации напрямую руководят поведением человека, а воображаемые – опосредованно. Данное различие использует также С. Жижек [Жижек, 1999, с. 110–111], вслед за Ж. Лаканом, при анализе форм современной идеологии.

При составлении анкеты для опроса студентов авторы сознавали, что четко группировать вопросы, ориентированные на тот или иной уровень или форму идентификации, невозможно: один и тот же вопрос, в зависимости от степени его корреляции с другими вопросами, может способствовать выявлению различных уровней и форм идентификации с идеологемой. Только анализ сопряжений ответов респондента позволяет внести окончательную ясность в характер идентификации. Кроме того, уровень эксцессивной идентификации вообще не представляется возможным обнаружить средствами опроса в силу ее «мимолетности», субъективности и неустойчивости. Поэтому для выявления этого уровня использовались групповые свободные интервью и фокус-группы. Но несмотря на это в анкету закладывался ряд вопросов,

¹ Американский политолог М. Эдельман следующим образом поясняет эту фундаментальную идею символического интеракционизма. «Если нормативно мыслящий политический философ спрашивает, не зависит ли от иерархии ценностей предпочтение одной роли другим, то на это ему следует вместе с Мидом и основанными на его методе эмпирическими исследованиями ответить: именно перенимание ролей впервые только и создает символы, по которым мы упорядочиваем ценности. Иначе говоря, ранговый порядок ценностей есть рационализация нашего поведения: его результат, а не его причина» [см.: Edelman, 1990, S. 40–41].

которые можно считать в большей степени ориентированными на выявление того или иного уровня идентификации.

В целом разработанная исследовательским коллективом методология, конкретизированная в методиках социологического исследования, позволила решить проблему фальсификации предпочтений в социологическом опросе при изучении праворадикальных идеологем в массовом сознании и получить нетривиальные результаты.

Игры на периферии: Правый радикализм в соперничестве с другими идеологиями

Анкетированный опрос проводился с конца апреля по начало июня 2015 г. в пяти вузах Ростова-на-Дону: Южном федеральном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения, Южно-Российском институте – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Донском государственном аграрном университете, Донском государственном техническом университете. Выборка составила 718 человек (350 юношей и 368 девушек) и предполагала деление респондентов на две возрастные группы: студентов 1 курса и 3–5 курсов. Учитывалось также направление обучения: гуманитарное, естественно-научное, инженерно-техническое и сельскохозяйственное. Тема опроса декларировалась следующим образом: «Украинский кризис глазами студенческой молодежи». Как говорилось выше, подмена темы была одним из методических решений проблемы «спирали молчания» и «фальсификации предпочтений». Этот методический ход оправдал себя, учитывая, что с правым радикализмом себя идентифицировали только 4,8% респондентов (1% – с фашизмом, 3,8% – с национал-социализмом), но при этом удалось выявить достаточно большую группу студентов, идентифицировавших себя с другими идеологиями, но разделяющих те или иные праворадикальные ценности.

Интерпретация полученных в результате опроса эмпирических данных предполагала анализ представленных в сознании респондентов ядерных, смежных и периферийных концептов правого радикализма. Проведенный анализ идеологем, выражающих праворадикальные ядерные и смежные концепты, позволяет ут-

верждать, что ядерный концепт ультранационализма достаточно широко распространен в сознании студенческой молодежи Ростовской области. Например, по частотному распределению более трети всей совокупности респондентов согласны (полностью или частично) с лозунгами «Россия только для русских!» или «Хватит кормить Кавказ!». Этот ядерный концепт находится под сильным деконтектирующим влиянием смежного концепта панславизма, о чем говорит почти 60%-ная поддержка лозунга «За славянское братство!», а также тот факт, что более 80% респондентов считают, что «русские своих не бросают». Более того, идея панславизма, адаптирующая концепт ультранационализма к российской специфике, объединяет существенно расходящихся по другим вопросам приверженцев фашистской и национал социалистической идеологий. В этом же ряду находится другой смежный концепт – империализм: более половины опрошенных студентов в той или иной степени придерживаются мнения, что «Россия должна быть империей».

При этом концепт империи по своему содержанию не смешивается респондентами с идеей монархии и самодержавия. С имперской сущностью связывается второй ядерный концепт праворадикальной идеологии как выражение палингенетического мифа – идея возрождения «Великой России» как страны, осуществляющей независимую внешнюю политику, опирающуюся на военную и экономическую мощь. Этот ядерный концепт в своем явно выраженном виде пользуется меньшей поддержкой; в частности, это подтверждается относительно малым количеством респондентов (всего 3,2%), согласившихся с суждением: «События на Донбассе – это начало исторического собирания русских земель и возрождения великой России». Однако идея возрождения России в форме империи («националистической», «культурно-цивилизационной» и т.д.) очень популярна в студенческой среде (см. табл. 1). Из этого следует, что периферийный концепт империализма смещается к центру праворадикальной идеологии, деконтектируя один из двух ядерных концептов – палингенетический миф.

**Сопряженность идеологической самоидентификации
респондентов с представлениями
об исторической и цивилизационной роли России**

№ п/п	Как бы вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения? С каким из нижеприведенных суждений вы бы согласились?	консервативные	либеральные	большевистские	национально-патриотические	фашистские	национал-социалистические	коммунистические	социалистические	анархические	монархические
		(в % от общего количества, выбравших ответную позицию)									
1.	Россия всегда была империей с ведущей ролью в ней русской нации, включающей великороссов, малороссов и белорусов	7,3	10,8	14,3	10,7	42,9	18,5	11,3	6,9	27,8	15,8
2.	Лучшее будущее для России – интеграция (экономическая, культурная, политическая) в европейскую цивилизацию	2,4	15,2	0,0	1,7	0,0	3,7	1,9	4,6	5,6	1,8
3.	Россия всегда была и должна оставаться многонациональной имперской цивилизацией с ведущей ролью в ней православия и русской культуры	36,4	25,5	42,9	41,3	0,0	25,9	26,4	41,4	5,6	33,3
4.	Россия была, есть и будет великой евразийской державой со своими геополитическими интересами	18,8	18,1	0,0	19,0	0,0	25,9	15,1	18,4	27,8	10,5
5.	Россия должна перестать искать свой «особый путь», а лучше подумать о том, как быстрее вступить в Евросоюз и НАТО	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
6.	После распада СССР Россия утратила роль мировой державы, но в настоящее время ее себе возвращает	30,9	22,5	28,6	24,8	42,9	18,5	34,0	20,7	22,2	31,6
7.	После распада СССР Россия превратилась в страну «третьего мира» и может претендовать только на роль регионального лидера	1,2	2,5	0,0	0,8	0,0	3,7	9,4	3,4	5,6	7,0
8.	Затрудняюсь ответить	2,4	4,4	14,3	1,7	14,3	3,7	1,9	3,4	5,6	0,0

Положение других смежных концептов рассматриваемой идеологии – антилиберализма, антиконсерватизма, творческого нигилизма, антиматериализма, антиэлитаризма, маскулинности, поиска «третьего пути» и т.д. – менее стабильно. В частности, студенты в целом вполне рациональны и материалистичны в своих предпочтениях, им не свойственна поддержка творческого нигилизма, и они не жаждут жертвовать чем бы то ни было во имя каких-то мистических идеалов (забегая вперед, можно сказать, что праворадикальные установки донского студенчества формируются скорее под влиянием прозаичного «шовинизма благосостояния», а не мечтаний о «третьем или четвертом рейхе» или мировом господстве для своей нации). Не пользуется поддержкой и концепт холизма, по крайней мере респонденты, идентифицировавшие себя с правым радикализмом, не испытывают особого энтузиазма в отношении классического фашистского лозунга «Нация – все, индивид – ничто!» (см. табл. 2). Несколько иначе обстоит дело с концептами «третьего пути» и маскулинности: если отношение к первому смежному концепту колеблется, что, по-видимому, объясняется отсутствием консенсуса по этому вопросу в праворадикальной субкультуре, то представление о повышенной маскулинности (включающее не только превознесение воли и мужских принципов героизма, милитаризма и дисциплины, но и антифеминистскую установку на ограничение роли женщин в общественной жизни) весьма распространено в студенческой праворадикальной среде. Так, с лозунгом «Место женщины – на кухне, а не в политике!» согласны 57,1% респондентов, деклариовавших свои взгляды как фашистские, и 33,3% «национал-социалистов». Тем не менее влияние перечисленных смежных концептов на ядерные скорее ограниченное, чем существенное; в основном два ядерных концепта деконтекстируются двумя смежными – панславизмом и империализмом.

Сопряженность идеологических самоидентификаций с отношением к политическим лозунгам

№ п/п	Как бы вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения? Определите свое отношение к следующим лозунгам:		консервативные	либеральные	большевистские	национально-патриотические	фашистские	национал-социалистические	коммунистические	социалистические	анархические	монархические
			(в % от общего количества, выбравших ответную позицию)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Россия только для русских!	полностью согласен	10,9	7,4	28,6	13,2	57,1	22,2	11,3	11,5	11,1	8,8
		что-то в этом есть	27,3	24,0	42,9	38,8	0,0	25,9	24,5	24,1	27,8	19,3
		совершенно не приемлю	46,7	50,5	14,3	34,7	14,3	33,3	43,4	44,8	38,9	57,9
2.	Фашизм не пройдет!	полностью согласен	76,4	69,6	85,7	81,0	0,0	48,1	69,8	71,3	61,1	75,4
		что-то в этом есть	8,5	15,2	0,0	7,4	14,3	18,5	15,1	16,1	16,7	15,8
		совершенно не приемлю	7,3	4,9	14,3	7,4	28,6	22,2	5,7	8,0	0,0	3,5
3.	Долой олигархов!	полностью согласен	21,8	16,7	28,6	25,6	42,9	33,3	39,6	25,3	27,8	21,1
		что-то в этом есть	42,4	36,3	71,4	44,6	0,0	37,0	35,8	41,4	50,0	42,1
		совершенно не приемлю	8,5	11,3	0,0	9,1	14,3	3,7	11,3	9,2	5,6	8,8
4.	Личная свобода и права человека неприкосновенны!	полностью согласен	74,5	86,7	42,9	82,6	0,0	81,5	71,7	79,3	61,1	73,7
		что-то в этом есть	15,2	9,3	14,3	12,4	28,6	7,4	18,9	15,0	5,6	17,5
		совершенно не приемлю	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,3	0,0	3,5
5.	Хватит кормить Кавказ!	полностью согласен	8,5	11,8	28,6	11,6	42,9	22,2	18,9	5,7	27,8	12,3
		что-то в этом есть	20,6	29,9	14,3	33,0	14,3	29,6	18,9	26,4	33,3	26,3
		совершенно не приемлю	33,9	29,9	42,9	25,6	0,0	25,9	22,6	41,4	33,3	35,1
6.	Долой пятую колонну!	полностью согласен	20,6	11,8	42,9	21,5	28,6	25,9	24,5	19,5	16,7	14,0
		что-то в этом есть	14,5	14,2	14,3	13,2	0,0	3,7	17,0	21,8	11,1	14,0
		совершенно не приемлю	5,5	15,7	0,0	4,1	14,3	3,7	1,9	9,2	11,1	8,8

Продолжение таблицы 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Нация – все, индивид – ничто!	полностью согласен	6,1	1,7	0,0	5,8	42,9	7,4	3,8	6,9	11,1	7,0
		что-то в этом есть	13,3	7,8	14,3	14,0	14,3	25,9	15,1	13,8	16,7	14,0
		совершенно не приемлю	52,7	65,7	42,9	52,9	14,3	40,7	47,2	58,6	55,6	49,1
8.	Русские своих не бросают!	полностью согласен	67,9	57,8	85,7	80,2	42,9	66,7	64,1	66,7	77,8	56,1
		что-то в этом есть	21,2	25,5	14,3	13,2	14,3	22,2	24,5	23,0	11,1	28,1
		совершенно не приемлю	1,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,6	1,8
9.	Россия должна быть империей!	полностью согласен	36,4	27,0	57,1	46,3	42,9	48,1	43,4	29,9	16,7	52,6
		что-то в этом есть	29,7	23,0	28,6	24,8	14,3	14,8	17,0	18,4	22,2	26,3
		совершенно не приемлю	12,1	21,6	0,0	9,1	0,0	11,1	17,0	12,6	22,2	5,3
10.	Бей жидов – спасай Россию!	полностью согласен	7,3	3,4	42,9	10,7	42,9	22,2	17,0	9,2	11,1	7,0
		что-то в этом есть	15,2	9,8	42,9	13,2	0,0	18,5	13,2	11,5	11,1	15,8
		совершенно не приемлю	40,0	53,4	0,0	41,3	14,3	29,6	45,3	46,0	50,0	43,9
11.	Даешь «русскую весну» в РФ!	полностью согласен	10,9	7,4	28,6	13,2	57,1	14,8	11,3	18,4	5,6	8,8
		что-то в этом есть	7,3	6,9	0,0	10,7	0,0	11,1	9,4	8,0	0,0	8,8
		совершенно не приемлю	19,4	26,0	42,9	23,1	0,0	14,8	20,8	16,1	44,4	17,5
12.	Место женщины – на кухне, а не в политике!	полностью согласен	14,5	9,3	28,6	14,9	57,1	33,3	15,1	18,4	16,7	12,3
		что-то в этом есть	26,7	19,6	42,9	19,0	0,0	3,7	28,3	18,4	22,2	26,3
		совершенно не приемлю	38,8	55,9	14,3	51,2	0,0	44,4	47,2	44,8	38,9	45,6
13.	За славянское братство!	полностью согласен	40,6	28,4	57,1	57,0	57,1	48,1	43,4	34,5	44,4	36,8
		что-то в этом есть	27,3	26,0	28,6	27,3	14,3	29,6	11,3	26,4	16,7	24,6
		совершенно не приемлю	3,6	8,3	14,3	1,7	0,0	29,6	11,3	12,6	16,7	3,5
14.	Все расы равноценны!	полностью согласен	60,6	67,6	57,1	60,3	14,3	44,4	69,8	71,3	16,7	64,9
		что-то в этом есть	23,6	21,1	0,0	22,3	0,0	18,5	17,0	23,0	38,9	19,3
		совершенно не приемлю	6,1	2,5	42,9	7,4	14,3	14,8	7,5	1,1	5,6	3,5

В целом интерпретация эмпирического материала выявила крайне динамичный характер концептов студенческого правого радикализма. Этим был обусловлен исследовательский интерес к

анализу периферии рассматриваемой идеологии, с тем чтобы выявить латентные, часто не осознаваемые самим индивидом формы идентификации с праворадикальными идеологемами. В соответствии с идеологической морфологией М. Фридена, периферийные концепты выполняют функции адаптации идеологии к воздействию внешних для ее (идеологии) структурных компонентов среды – культурно-исторической ситуации, политической повестки дня, конкуренции с другими идеологиями и т.д. Реализация этих функций возможна благодаря ключевым характеристикам периферийных концептов – подвижности, семантической размытости, вербальной многозначности и т.д. Именно посредством периферии, придающей идеологии адаптивную гибкость, осуществляется скрытое влияние правого радикализма на молодежное сознание.

И действительно, уже первые попытки интерпретации полученных данных продемонстрировали крайне противоречивую структуру предпочтений респондентов, идентифицировавших себя с неправорадикальными идеологиями (либерализмом, консерватизмом, национальным патриотизмом, социализмом и т.д.). В частности, в этой идеологической группе оказалась довольно высокой поддержка некоторых праворадикальных идеологов, принципиально противоречащих ценностям перечисленных идеологий: с лозунгом «Россия только для русских!» полностью либо частично согласны 31,4% «либералов», 38,2 «консерваторов», 52,0% «национальных патриотов», с лозунгом «Хватит кормить Кавказ!» – 41,7% «либералов», 29,1% «консерваторов», 44,6% «национальных патриотов» и т.д. (см. табл. 2). Объяснить эту идеологическую девиацию невозможно, если не принять во внимание воздействие праворадикальной периферии на структуру актуальных для России идеологий.

Однако в процессе анализа этой динамики также выявилась недостаточность инструментов, предлагаемых методологией М. Фридена, поэтому фриденовскую дистинкцию маргинальной (смысловой) и периметровой (пространственно-временной) периферийности пришлось дополнить различием консонансного (периферийные концепты согласованы с ядерными и / или смежными) и диссонансного (первые противоречат вторым и / или третьим в той или иной форме) модусов периферийности. Этот

методологический ход продемонстрировал неплохие аналитические результаты, позволяющие изучать миграцию праворадикальных концептов в другие идеологии (либерализм, консерватизм, национальный патриотизм и т.д.), объяснять отмеченные выше девиации и, наоборот, выявлять адаптивные возможности правого радикализма, которые определяются его способностью интегрировать в собственную структуру мигрирующие из других идеологий концепты.

В этом теоретико-методологическом контексте были проанализированы периферийные концепты, определяющие суть и направления этой динамики: национализм, патриотизм и его националистические коннотации; империя и ее концептуальные связи с различными трактовками нации, антилиберализм, антисемитизм, шовинизм и др. В частности, в процессе анализа открылись дополнительные аспекты деконтекстации ядерного для праворадикальной идеологии концепта ультранационализма. Было установлено, что этот концепт изменяет свое значение под влиянием не только концепта империи, но и других периферийных (заимствованных из консерватизма и национального патриотизма) концептов – патриотизма и великодержавности, мигрируя в таком измененном виде обратно в периферию российских идеологий. Это, в свою очередь, позволяет правому радикализму успешно адаптироваться к российским реалиям, активно включаться в формирование идейно-политической повестки дня и тем самым оказывать латентное влияние на сознание сторонников более популярных в России идеологий – либерализма, консерватизма, национального патриотизма, социализма и др. Эта тенденция хорошо просматривается в таблице 3, на примере отношения респондентов к проекту «Русский мир».

Сопряженность идеологической самоидентификации респондентов с интерпретацией «русского мира»

№ п/п	Как бы вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения? Какое из приведенных ниже определений «русского мира» вы считаете наиболее удачным?	консервативные	либеральные	большевистские	национально-патриотические	фашистские	национал-социалистические	коммунистические	социалистические	анархические	монархические
		(в % от общего количества, выбравших ответную позицию)									
1.	«Русский мир» есть проект объединения славян в единое государственное образование, и его границы определяются фактической территорией расселения славянских народов	13,9	14,7	14,3	19,0	0,0	18,5	18,9	11,5	22,2	3,5
2.	«Русский мир» есть проект возрождения Российской империи, включающей в себя разные этносы, испытавшие историческое влияние русской культуры и цивилизации	36,4	31,4	28,6	36,4	42,9	37,0	35,8	37,9	22,2	47,4
3.	«Русский мир» есть проект геополитического противостояния США и потенциально включает в себя страны Варшавского договора	8,5	8,3	0,0	5,0	42,9	14,8	7,5	8,0	11,1	7,0
4.	«Русский мир» есть великая миссия русского народа – объединение всех православных в единую православную цивилизацию	11,5	10,3	42,9	18,2	0,0	14,8	15,1	17,2	11,1	15,8
5.	Другое	3,0	2,5	0,0	0,8	0,0	0,0	3,8	5,7	22,2	0,0
6.	Затрудняюсь ответить	26,7	32,8	14,3	20,7	14,3	14,8	18,9	19,5	11,1	26,3

Напротив, смежный в праворадикальной матрице концепт антилиберализма сдвигается к периферии, с одной стороны, утрачивая свое значение, а с другой – выстраивая смежное с иными идеологиями семантическое поле (см. позицию 4 в табл. 2). Это объясняется тем, что в периферии правого радикализма представлены мигрировавшие из либерализма концепты личной свободы и прав человека, диссонирующие с антилиберальной установкой. На базе

полученных материалов трудно судить, являются ли эти сдвиги временным явлением, обусловленным изменением повестки дня в 2014–2015 гг., или же мы имеем дело со сложившейся тенденцией. Для того чтобы сделать подобные выводы, требуются более систематические исследования студенческого сознания.

Анализ периферии выявил также существенное влияние на установку всех идеологических групп респондентов концепта, который практически не учитывается Р. Гриффином, – «шовинизма благосостояния» (*welfare chauvinism*). Это понятие было предложено политологами Й.Г. Андерсеном и Т. Бьёрклундом [Andersen, Bjørklund, 1990, p. 212–214], развито в трудах голландских ученых В. де Костера, Р. Ахтенберга, Дж. ван дер Ваала, В. ван Оршота [см., напр.: De Koster, Achterberg, van der Waal, 2012; van der Wall, de Koster, van Oorschot, 2013] и др. и сегодня трактуется как предпочтение, отдаваемое «соотечественникам» (т.е. только «гражданам» своей «нации») в социальных пособиях и занятости. Это второй по важности концепт после концепта империи, который определяет структурные сдвиги в идеологическом спектре современной России: междеологические миграции этих концептов не только деконтекстируют значения ядерных и смежных концептов правого радикализма, но, что гораздо важнее, делают его потенциально привлекательным для сторонников других идеологий. В частности, проведенный анализ выявил в студенческом сознании симптоматичный когнитивный диссонанс между высокими оценками принципа личной свободы, прав человека и т.д. и великодержавными (имперскими) амбициями, с одной стороны, а также с экстремистской реакцией на повседневные этнические, социальные и прочие конфликты – с другой. Эти попытки респондентов рационализировать собственные представления, устранив противоречия между либеральным, консервативным и т.д. ядром структуры своих убеждений и собственными праворадикальными эксцессами, как нельзя лучше свидетельствуют о скрытом воздействии на их взгляды периферии правого радикализма.

К похожему выводу приводит и анализ таких праворадикальных периферийных концептов, как антисемитизм, расизм, шовинизм и ксенофобия. Так, антисемитскую интерпретацию украинского Майдана-2014 (как «жидомасонского заговора») поддержали меньше трети (28,6%) «фашистов» и ни одного «национал-социалиста». С другой стороны, на явно антисемитскую сентенцию «Бей жидов – спасай Россию!» (см. табл. 2) отозвались более 40% приверженцев фашизма, но почти вдвое меньше (22,2%) – сторонников национал-социализма. Видимо, антисемитизм не настолько актуален в студен-

ческой праворадикальной субкультуре, но это не означает отсутствия в ней ксенофобии. Одним из индикаторов таковой выступает «проблема мигрантов» (см. табл. 4), которые, как было выяснено в процессе исследования, являются важной частью смежного собирательного концепта Врага. Можно предположить, что в структуре студенческого правого радикализма мигранты занимают то место, которое занимали коммунисты и евреи в классическом фашизме и нацизме. Оборонительный характер современной праворадикальной идеологии повышает в ранге концепт культурных чужаков, т.е. ксенофобский аттитюд. Именно ксенофобия становится смежным концептом современного правого радикализма, тогда как шовинизм и антисемитизм сохраняют свои периферийные позиции.

Таблица 4

Сопряженность идеологической самоидентификации респондентов с отношением к мигрантам

№ п/п	Как бы вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения? Сегодня в России активно используется труд мигрантов. Как вы считаете:	консервативные	либеральные	большевистские	национально-патриотические	фашистские	национал-социалистические	коммунистические	социалистические	анархические	монархические
		(в % от общего количества, выбравших ответную позицию)									
1.	Трудовые мигранты – это необходимая для российской экономики рабочая сила	16,4	25,5	14,3	17,4	14,3	22,2	26,4	16,1	22,2	21,1
2.	Необходимы лишь те мигранты, которые намерены остаться в России и интегрироваться в российскую культуру и общество	32,1	26,0	14,3	26,4	28,6	29,6	24,5	43,7	22,2	21,1
3.	Трудовые мигранты – это социальные паразиты, несущие угрозу русским как государст-вообразующей нации России	7,3	11,8	28,6	10,7	0,0	18,5	9,4	8,0	11,1	8,8
4.	Необходимы только те мигранты, которые приезжают на заработки и затем возвращаются к себе домой	27,9	23,5	0,0	31,4	28,6	29,6	20,8	18,4	22,2	21,1
5.	Другое	2,4	3,4	28,6	2,5	0,0	0,0	7,5	3,4	11,1	8,8
6.	Затрудняюсь ответить	13,9	9,8	14,3	11,6	28,6	0,0	11,3	10,3	11,1	19,3

Еще один весьма любопытный результат – выявленная деконстатация либеральных концептов личной свободы и прав человека, которая в праворадикальном контексте переосмыслиется не в либерально-универсалистском, но в локалистском (по разным основаниям – этнонациональным, религиозным и т.д.) ключе: как «личная свобода и права не человека вообще, но русского человека, собрата по вере и т.д.» (см. табл. 5). Этот процесс параллелен описанному выше сдвигу концепта ксенофобии от периферии к центру (в число смежных концептов студенческого правого радикализма).

Таблица 5

**Сопряженность между полным согласием
с политическими лозунгами и отношением к труду мигрантов**

№ п/п	Сегодня в России активно используется труд мигрантов. Как вы считаете:	Трудовые мигранты – это необходимая для российской экономики рабочая сила	Необходимы лишь те мигранты, которые намерены остаться в России и интегрироваться в российскую культуру и общество	Трудовые мигранты – это социальные паразиты, несущие угрозу русским как государствообразующей нации России	Необходимы только те мигранты, которые приезжают на заработки и затем возвращаются к себе домой	Другое	Затрудняюсь ответить
	Лозунги						
1.	Россия только для русских!	10,2	22,0	11,9	37,3	6,8	11,9
2.	Фашизм не пройдет!	18,6	27,6	0,0	24,3	4,1	16,3
3.	Долой олигархов!	14,3	27,2	16,3	23,1	6,1	12,6
4.	Личная свобода и права человека неприкосновенны!	20,7	27,1	10,7	22,6	3,8	15,1
5.	Хватит кормить Кавказ!	10,3	15,4	28,2	30,8	5,1	10,3
6.	Долой пятую колонну!	13,6	30,5	17,8	23,7	4,2	10,2
7.	Нация – все, индивид – ничто!	17,9	28,6	21,4	21,4	0,0	10,7
8.	Русские своих не бросают!	18,2	26,8	10,6	24,1	4,3	16,0
9.	Россия должна быть империей!	16,9	24,2	13,4	26,0	3,9	15,6
10.	Бей жидов – спасай Россию!	13,8	19,0	19,0	27,6	5,2	15,5
11.	Даешь «русскую весну» в РФ!	11,3	28,2	8,5	31,0	4,2	16,9
12.	Место женщины – на кухне, а не в политике!	20,2	28,4	12,8	0,0	4,6	14,7
13.	За славянское братство!	17,7	26,4	12,6	26,4	3,9	13,0
14.	Все расы равноценны!	23,4	28,4	6,6	21,3	3,8	16,5

В целом можно сказать, что в процессе анализа праворадикальных периферийных концептов была выявлена высокая степень зависимости между концептами антисемитизма, антилиберализма, антифеминизма и ультранационализма. Анализ концептуальной структуры студенческого правого радикализма подтвердил гипотезу о различиях между западной (связанной с классическим фашизмом) и почвеннической (идентифицирующейся с национал-социализмом) версиями этой идеологии в студенческой среде. К первой версии структурно близкими оказались взгляды тех респондентов, которые идентифицируют себя с фашизмом; «национал-социалисты» же тяготеют к нескольким вариантам почвеннического правого радикализма (культурно-цивилизационному, имперско-националистическому, евразийскому и др.), вплоть до существенных изменений в матрице этой идеологии, связанных с внутрискруктурной миграцией концепта ультранационализма от ядра к периферии.

Это различие справедливо и в отношении периферийных концептов: ориентированные на классический фашизм респонденты в своих представлениях об угрозах, якобы стоящих перед Россией, более склонны к антисемитизму, чем те, кто идентифицирует себя с национал-социализмом. И, напротив, с ксенофобским представлением о мигрантах более склонны соглашаться «национал-социалисты», а не «фашисты» (см. табл. 4). Не менее важно, что подобные антисемитские и ксенофобские установки разделяют респонденты, позиционировавшие себя большевиками. Этот выявленный в процессе анализа факт идейной близости студенческого левого радикализма с правым (в частности, весьма значимая часть симпатизантов большевистских вождей имеют расистские убеждения) объясняется «национализацией» советской истории, произошедшей после краха СССР, но коренящейся в сталинском державном дискурсе.

Уровни и формы идентификации с праворадикальными идеологемами

Неоднократно зафиксированное в процессе анализа несоответствие между идеологической *самоидентификацией*, декларируемой респондентами, и их реальными предпочтениями, выявляемыми при ответе на вопросы анкеты, вынуждает поставить вопрос об уровнях и формах идентификации молодежного сознания с идеологемами. Как отмечалось выше, авторы исходили из

различия трех уровней (вероисповедального, интерпелляционного и эксцессивного) и двух форм (воображаемой и символической) идентификации. Основываясь на анализе полученных данных, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в группе праворадикально настроенных студентов имеют место все три упомянутых уровня идентификации с праворадикальными идеологами. От 15% до 25% респондентов, сознательно идентифицировавших себя с правым радикализмом, достаточно последовательны в манифестации своих праворадикальных предпочтений, поэтому их уровень идентификации можно считать вероисповедальным. Признать интерпелляционный уровень в праворадикальной группе респондентов мы можем уже потому, что часть из них сами себя идентифицировали с разными версиями правого радикализма (фашизмом и национал-социализмом). А наличие в этой группе всего лишь эксцессивного уровня идентификации с праворадикальными идеологами мы вынуждены предположить по причине выявленных в процессе исследования симпатий к либеральным политикам, лозунгам, позициям. О чисто эксцессивном характере праворадикальной самоидентификации респондента говорит и его отказ, к примеру, солидаризироваться с традиционной для правых радикалов негативной трактовкой мигрантов и миграции как таковой. По нашим оценкам, эксцессивно идентифицируют себя с правым радикализмом от 25% до 35% всех респондентов, декларировавших такую идентификацию.

Второй, еще более важный вывод состоит в том, что у респондентов, дистанцирующихся от правого радикализма (в версиях «либерал», «консерватор», «национальный патриот», «анархист» и т.д.), также отмечается эксцессивная идентификация с праворадикальными идеями, нередко в тех же формах, что и у самих правых радикалов: воображаемой (симпатии к праворадикальным фигурам, выраженные частью «либералов», «консерваторов» и др.) и символической (солидарность с праворадикальной трактовкой проблемы мигрантов в контексте личного негативного опыта общения с мигрантами как с «чужими»).

Сложно однозначно оценить количество таких респондентов, тем более что оно разнится в зависимости от идеологических предпочтений. В частности, как было показано выше, наиболее сходны со структурой правого радикализма взгляды респондентов, идентифицировавших себя в качестве большевиков (в данном случае совпадение взглядов составляет 40% и более). Часть «консерваторов» и «национал-патриотов» (от 20% до 25%) склонны к пра-

ворадикальным эксцессам (см. табл. 2). Структура студенческого либерализма также оказалась очень неоднозначной: те же 20–25% «либералов» эпизодически демонстрируют свою солидарность с праворадикальными концептами.

В целом воображаемая и символическая формы идентификации охватывают то пространство студенческого сознания, где идеологические эксцессы «либералов», «консерваторов» и других неправорадикальных идеологических групп «встречаются» с интерпелляционными и эксцессивными идентификациями самих правых радикалов. В этом случае речь должна идти не о принципиальных расхождениях между представителями противоположных идеологий, но о перетекании смыслов, значений, интерпретаций из одного идеологически структурированного сознания в другое.

Наилучшим способом различить две формы идентификации с праворадикальными идеологемами можно с помощью анализа реакций респондентов в воображаемых ситуациях, требующих личного выбора. В этих ситуациях четко обнаруживается различие между ядерными, смежными и периферийными концептами праворадикальной установки, а также различие между символической и воображаемой идентификацией с праворадикальными идеологемами. Символические идентификации хорошо выявляются в ситуациях, требующих от респондентов личного решения. В них видно, что часть опрошенных студентов, идентифицировавшихся с атрибутами праворадикальной субкультуры, ведут себя в соответствии с иным идеологическим образцом – либеральным, консервативным и т.д. В частности, периметровые концепты воображаемого «российского майдана» и этнически родственного респонденту межнационального конфликта для части праворадикально настроенных студентов оказываются диссонансными. И в целом праворадикальная сцена предстает расколотой в отношении упомянутых периметровых концептов.

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что диссонансные концепты на идеологической периферии, видимо, всегда связаны с символическими, а не воображаемыми идентификациями. И эта связь хорошо просматривается в периметровых концептах, относящихся к экстраординарным ситуациям, требующим личного выбора. Более того, символическая идентификация со смежным либо периферийным концептом открывает перспективу его движения в сторону идеологического ядра. В критической ситуации индивидуального решения и действия, как мы видели, требуется символическая идентификация, поэтому решение выстраивается сообразно ядерным, а не смежным или периферийным концептам.

Практические выводы и рекомендации

Подводя общие итоги нашего исследования, нужно обратить внимание на то, что оно указывает на определенные политические риски. Выявленные праворадикальные установки донских студентов обладают значительным мобилизационным потенциалом, который мы оцениваем в пределах 20–25% от генеральной совокупности, т.е. от числа всех студентов университетов Ростовской области. При определенных (кризисных) обстоятельствах праворадикальные идеологические конструкты могут притянуть к себе носителей соответствующих идеологем, которые вольно или невольно превратятся в союзников и участников праворадикальных движений. Иначе говоря, существует угроза превращения малочисленной группы правых радикалов в «массовые кристаллы» (Э. Канетти). Более того, проведенный нами анкетированный опрос позволяет предположить, что есть ряд праворадикальных организаций («Новая Русь», «Сопrotивление Юг», «Движение против нелегальной иммиграции – ДПНИ (“Славянский союз”») и «Этнополитическое объединение “Русские”»), которые активны в студенческой среде Ростовской области.

Наше исследование праворадикальных идеологем еще раз подтверждает общую, но от этого не менее актуальную истину: воспитательная работа с молодыми людьми должна основываться на государственной концепции, гуманистических идеалах и сюжетах, которые грамотно транслируются в СМИ. В связи с этим наши рекомендации обращены прежде всего к Министерству образования и науки Российской Федерации, которое в течение более чем 20 лет последовательно осуществляло сокращение часов, отводимых на изучение гуманитарных наук в стандартах высшего, среднего профессионального и среднего образования. Но гражданское воспитание возможно только в случае возвращения воспитательных функций всей системе образования. Проведенное социологическое исследование, как и целый ряд предыдущих, в которых приходилось участвовать исполнителям данного проекта, показало практически нулевое влияние вузовского образования на идеологические установки и моральные качества обучающихся. Эти установки остаются неизменными от курса к курсу, а если и меняются, то под воздействием сторонних факторов, а не системы образования и организации внеучебной деятельности в университетах.

Очевидно, однако, что профилактика радикальных настроений должна начинаться со школьной скамьи и быть четко направленной

на формирование толерантного отношения к представителям других наций и народностей, культур и религий. Причем различные формы экстремистских настроений требуют специфических форм профилактики, а в соответствующих школьных и вузовских программах праворадикальные идеологии часто вообще не обозначены в качестве особой угрозы, и в то же время чрезмерное внимание уделяется терроризму, который фактически сводится к религиозным и этническим трактовкам (исламский, кавказский).

Но любую профилактическую деятельность необходимо начинать с диагностики проблемы. Позиционировать учащихся по степени их подверженности влиянию радикальных идеологий непросто, поэтому логичным представляется прибегнуть к методам, выявляющим косвенные признаки радикальных настроений. Требуются методики, основанные на анализе периферийных радикальных идеологов и позволяющие оценить уровень радикальных настроений с помощью анализа неявных мнений. Прежде всего это касается различных лингвоидеологов, относящихся к таким многозначным идеологическим концептам, как *империя*, *нация*, *цивилизация*, *русский мир*, *патриотизм* и др.

Особую осторожность следует проявлять при этом в сфере патриотического воспитания. Агрессивное и директивное навязывание патриотических акций в системе образования рождает обратные воспитательные эффекты. Патриотизм не может быть сформирован так же, как знание квадратных уравнений или военного устава. Это – глубокое внутренне чувство, испытываемое человеком в отношении страны, общества, города и т.п., и задача образования – создать естественные условия для формирования такого чувства у молодежи. Для этого необходимо использовать не только милитаристские символы, но и гражданские, способствующие приобщению человека к ценностям локального и регионального сообществ. Тенденция подмены патриотизма лояльностью к государственной власти может вылиться в утрату символов, вызывающих возвышенные чувства, на место которых придут эрзацы, не имеющие ничего общего с глубокой привязанностью к истории и культуре своей страны.

В частности, из полученных в нашем опросе результатов можно заключить, что советское наследие продолжает оставаться важной идейной доминантой в сознании современных молодых людей, хотя они родились уже в постсоветской России. Но при этом очевидно, что у наших студентов отсутствует концепт единой отечественной истории, в которой советский период занимал бы достойное и важное место. Этот единый концепт может быть выработан только

в результате государственной «политики памяти» как части продуманного политического просвещения¹. Для развития системы такого просвещения в российских университетах надо укреплять курсы истории и политологии, делать их не только обязательными, но и фундаментальными, а не переводить в факультатив или вообще выбрасывать из учебных планов.

Это необходимо еще и для того, чтобы уравновесить односторонние знания наиболее известных и / или политически конъюнктурных идей и подходов, увлеченность которыми чревата экстремистскими оценками, в том числе правого толка. В частности, это касается чрезвычайно популярного сегодня «цивилизационного подхода», который преподается всем постсоветским школьникам и студентам. Как справедливо заметил В. Шнирельман, там, «где раньше авторы учебников описывали конфликт как “сопротивление захватчикам” или “национально-освободительную борьбу”, сегодня говорится об “отстаивании культурной самобытности”» [Шнирельман, 2005, с. 50]. Разумеется, само по себе осознание культурно-цивилизационных особенностей своего народа является делом важным и нужным, однако оно должно дополняться интересом к другим культурам и цивилизациям. На деле же нередко происходит так, что под вывеской «цивилизационного подхода» проповедуется культурный изоляционизм, что ведет к архаизации политического сознания и создает предпосылки для ксенофобских настроений.

Анализ альтернативных позиций, самостоятельная выработка решений ситуативных задач, презентация собственного мнения – необходимые навыки для современного человека, развитие которых способствует формированию иммунитета к воздействию любого политического экстремизма.

Литература

- Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М.: ЦентрКом, 1996. – 672 с.
Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. – М.: Лабиринт, 2000. – 640 с.
Галкин А.А. Германский фашизм. – М.: Наука, 1989. – 352 с.

¹ В частности, наш опрос подтверждает один существенный дефицит современной политики памяти в России, а именно – проигнорированную российской политической элитой возможность «переосмыслить символ Октября как пусть не кульминационный, но все же “великий” эпизод “тысячелетней истории”» [см.: Малинова, 2015, с. 75].

- Галкин А.А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах проявления // Полис. Политические исследования. – М., 1995. – № 2. – С. 6–15.
- Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. – Л.: Наука, 1987. – 192 с. – Режим доступа: http://propagandahistory.ru/books/Galkin-A--A---Rakhshmir-P--YU_Konservativizm-v-proshlom-i-nastoyashchem/ (Дата посещения: 05.11.2015.)
- Гриффин Р. От слизевиков к ризоме: введение в теорию группскулярной правой // Верхи и низы русского национализма: сб. ст. / сост.: А. Верховский. – М.: Центр «Сова», 2007. – С. 223–254.
- Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999. – 234 с.
- Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: РОССПЭН, 2001. – 384 с.
- Липсет С.М. Политический человек: социальные основания политики. – М.: Мысль, 2016. – 612 с.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Мальшева Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2009 а. – № 4 (30). – С. 32–40.
- Мальшева Е.Г. Концепт «губернатор» в региональном массово-информационном дискурсе // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2009 б. – № 2 (28). – С. 76–86.
- Нольте Э. Фашизм в его эпохе. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 568 с.
- Нольте-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М.: Прогресс-Академия: Весь Мир, 1996. – 352 с.
- Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 288 с.
- Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица: [справочник] / сост.: А. Верховский, Г. Кожевникова. – М.: Центр «Сова», 2009. – 410 с.
- Умланд А. Современные концепции фашизма в России и на Западе // Неприкосновенный запас. – М., 2003. – № 5(31). – С. 1–10.
- Шнирельман В.А. Расизм вчера и сегодня // Pro et Contra. – М., 2005. – Т. 9, № 2. – С. 41–65.
- Andersen J.G., Bjørklund T. Structural changes and new cleavages: The progress parties in Denmark and Norway // Acta sociologica. – Turun, 1990. – Vol. 33, N 3. – P. 195–217.
- De Koster W., Achterberg P., van der Waal J. The new right and the welfare state: The electoral relevance of welfare chauvinism and welfare populism in the Netherlands // International Political Science Review. – Cork, 2012. – Vol. 1, N 34. – P. 3–20.
- Eatwell R. On defining the «fascist minimum»: The centrality of ideology // Journal of political ideologies. – Oxford, 1996. –Vol. 1, N 3. – P. 303–319.
- Edelman M. Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. – Frankfurt am Main; N.Y.: Campus Verlag, 1990. – xiv, 202 S.
- Freeden M. Ideologies and political theory: A conceptual approach. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – 592 p.
- Griffin R. The nature of fascism. – L.; N.Y.: Routledge, 1993. – 251 p.

- Kuran T. Private truths, public lies: The social consequences of preference falsification. – Cambridge; L.: Harvard univ. press, 1997. – 439 p.
- Payne S.G. A history of fascism, 1914–1945. – L.: Routledge, 1995. – 632 p.
- Van der Wall J., de Koster W., van Oorschot W. Three worlds of welfare chauvinism? How welfare regimes affect support for distributing welfare to immigrants in Europe // Journal of comparative policy analysis. – N.Y., 2013. – Vol. 15, N 2. – P. 164–181.
- Van Dijk T.A. Ideology: A multidisciplinary approach. – L.: SAGE Publications, 1998. – x, 374 p.

И.В. Николаев*

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ КЛЮЧЕВЫХ ВЕРБАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОФИЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. В статье представлен анализ изменений структуры ключевых вербальных символов в текстах основного источника официального дискурса – посланий президента Федеральному собранию РФ, за период с 1994 по 2016 г. Предпринята попытка типологизации опорных слов по тематическим направлениям. На основе сопоставления суммарной значимости символов различных групп выявлены трансформации идеологической позиции государственной власти. Утверждается, что за период истории «новой» России в официальном политическом дискурсе последовательно сменяются «временно-официальные идеологии» в форме этатистского либерализма, авторитаризма, социал-демократизма, комбинированной идейной концепции.

Ключевые слова: ключевой вербальный символ; «временно-официальная идеология»; официальный политический дискурс; символическая структура текста.

I.V. Nikolaev

Transformation of the structure of key verbal symbols in the post-Soviet official political discourse

Abstract. The article presents the analysis of changes in the structure of key verbal symbols in the texts of the presidential addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation in the period from 1994 to 2016. The author develops a typology of reference words according to thematic areas. On the basis of a comparison of the cumulative values

* **Николаев Илья Викторович**, специалист по учебно-методической работе Центра междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования Института истории и международных отношений Южного федерального университета, e-mail: nikolaev_polit@mail.ru

Nikolaev Ilya, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: nikolaev_polit@mail.ru

of the different groups transformations of the principal ideological positions of state power are identified. The author argues that during the historical period of the «new» Russia there were several forms of a «temporary official ideology» that consequently replaced each other in the official political discourse. There were such forms as statist liberalism, autocracy, social-democracy, combined ideological conception.

Keywords: key verbal symbol; «temporary official ideology»; official political discourse; symbolic structure of the text.

Определение идеологических позиций российской власти после распада Советского Союза – сложная задача для отечественной политической науки. Если применительно к периоду правления Б.Н. Ельцина существует условное согласие относительно доминирования в официальном дискурсе либерального тренда, то в дальнейшем идентифицировать позицию государственной власти с помощью категорий классических идеологий становится сложнее [см.: Ильичёв, 2014, с. 97–98]. Отказ от государственной идеологии советского типа происходит через «идеологизацию новой экономической и политической власти» [Лоскутов, 2014, с. 8]. Формируются специфические ситуативные структуры идейного содержания политики, ориентированные на сложившиеся в конкретные исторические периоды конъюнктурные условия. Выявление подобных «временно-официальных идеологий» [Макаренко, 2013, с. 154] требует глубокого дискурсивного анализа. В данном исследовании предпринимается попытка периодизации этапов развития идейного содержания власти «новой» России путем анализа трансформации структуры ключевых вербальных символов посланий президента Федеральному собранию, которые можно рассматривать как важный источник официального дискурса. Анализ посланий позволяет определить опорные символы, выступающие «неким общим знаменателем между высказываниями обычного человека и мыслителя или политика» [Лассвелл, 2006, с. 273].

Нами было выдвинуто предположение, что ключевые вербальные символы, представленные в контексте взаимосвязей с концептуальным содержанием текстов и другими вербальными единицами, являются маркерами официальной позиции, с помощью которых возможно идентифицировать ее положение в идеологическом спектре. Под ключевым вербальным символом в языке политики мы, вслед за Н.М. Мухарямовым, понимаем слова, имеющие «внешне нейтральное наполнение, с одной стороны, и аксиологически мотивированное содержание – с другой» [Мухарямов, 2012, с. 67]. Вербальные символы официального дискурса задают опорный каркас политического пространства, становясь ресурсом на-

ционального мифотворчества и создавая условия для «символической игры по правилам» [Поцелуев, 2001, с. 134]. Семантическое доминирование подобных символических элементов проявляется в их частом использовании, что ведет к утрате ими строгого содержания, размыванию первичного смысла и использованию без соответствия контексту [см.: Николаев, 2012, с. 38–39]. В представленном исследовании была предпринята попытка выявить в текстах посланий президента с 1994 по 2016 г. вербальные единицы, соответствующие указанным свойствам, и на основании структуры выявленных символов идентифицировать идеологическую позицию власти. Анализ состоял из нескольких этапов: определение наиболее часто используемых вербальных единиц с помощью контент-анализа; выделение группы «символов-ценностей» [Мухарьямов, 2012, с. 69] на фоне технической лексики; и, наконец, формирование схематической структуры вербальных символов каждого послания и анализ специфики их идеологического содержания. В последующих разделах статьи будут представлены основные тенденции изменения структуры вербальных символов и их перемещения в семантическом поле идеологии.

Типология ключевых вербальных символов посланий президента

Количественный анализ включал в себя тексты посланий президента Федеральному собранию РФ за весь период существования этой формы коммуникации законодательной власти и «гаранта Конституции» (с 1994 по 2016 г.). С помощью программы контент-анализа были выявлены наиболее часто повторяющиеся вербальные единицы. В каждом послании выделены 25 слов, относительная значимость¹ которых составляет более одного употребления на 1000 единиц анализа. Двойственность политического символа – конвенциональность и устойчивость значений, сочетающаяся со свободой в интерпретации и дешифровке [см.: Бабайцев, 2014, с. 21] – позволяет говорить о символическом статусе большинства концептуализированных слов. Совокупность часто используемых понятий была разделена на группы, сопоставление значимости ко-

¹ Под относительной значимостью следует понимать число употреблений вербальной единицы на 1000 слов текста. Анализ проводился с помощью программы TextAnalyst.

торых в разных текстах позволяет локализовать послание в идеологическом пространстве и выявить его специфику. Охарактеризуем каждую группу, пояснив некоторые словоформы.

Группа терминов государственного субъекта объединяет понятия «Россия», «Российская Федерация», «государство», «федерация», «власть», «регион» и др. Главным критерием объединения слов в одну совокупность является их неразрывная семантическая связь с государством как актором политических отношений. Президент выступает от лица официальной власти, а следовательно, и облечен ответственностью за коллективную позицию. Эта группа вербальных символов является наиболее значимой в количественном исчислении во всех текстах посланий ввиду своей инструментальной задачи в политическом дискурсе. Однако в отдельных случаях сокращение или рост количества использования определенных терминов является показателем самопозиционирования официальной власти и отношения к стране / государству как реципиенту официального дискурса.

Группа вербальных символов деятельности включает термины, отражающие основные формы воздействия ключевых субъектов на объекты властных отношений. Среди прочего это такие понятия, как «поддержка», «реформа», «помощь», «укрепление», «контроль», «управление» и др., демонстрирующие способы реализации политической власти и характеризующие не только идеологическую позицию текста, но и основные черты политического режима, сложившегося в государстве.

Группа экономических терминов включает в себя как макроэкономические понятия, так и вербальные символы, связанные с официальной оценкой экономического состояния в стране. Традиционно принято считать, что активное обсуждение экономики демонстрирует либеральную позицию субъекта. Однако это убеждение требует пояснения. Так, если в посланиях 90-х годов эта закономерность имеет место и доминирование базовых экономических терминов («бюджет», «инвестиция», «инфляция», «предприятие», «производство», «промышленность» и т.п.) подкрепляется популярностью понятия «рынок», то в дальнейшем отсылка к типу экономической системы пропадает, замещаясь вариациями непосредственного воздействия на конкретные экономические проблемы. «Рынок» в дискурсе 2000-х годов теряет свое символическое значение вслед за переоценкой опыта экономических реформ 90-х годов.

Группа вербальных символов правового регулирования, к которой были отнесены «Конституция», «закон», «право», «суд», «законодательство», «кодекс» и т.п., немногочисленна, но крайне важна ввиду высокого уровня популярности в дискурсе посланий. Значимость юридической терминологии демонстрирует внимание официальной власти к формальным условиям реализации полномочий, при этом они могут использоваться как для обозначения эталона, так и для озвучивания допустимых рамок какой-либо деятельности.

Группа символов безопасности играет значительную роль практически во всех текстах посланий, что говорит об охранительном стиле политического управления. К терминам безопасности помимо базового понятия отнесены: «война», «армия», «вооружение», «угроза» и др. Понятие «терроризм», к примеру, при всем остром переживании террористической опасности в течение всего периода существования независимой России становится часто используемым в дискурсе посланий только в 2015 г., на фоне внешнеполитических проблем, в частности операции в Сирии. Большинство понятий, связанных с безопасностью, нашли самое яркое отражение в посланиях 2003 и 2006 гг., в которых уделялось много внимания определению национальных угроз и реформированию вооруженных сил России.

Группа символов демократизации и развития гражданского общества объединяет термины, большинство из которых имеют весомое значение в посланиях («демократия», «партия», «местное самоуправление» и т.п.). Однако понятие «гражданин» при учете его амбивалентного значения (наличия и прав, и обязанностей перед государством) присутствует во всех текстах в качестве одного из часто употребляемых. Исключением является послание 1998 г., в котором проблемы отдельного гражданина были отодвинуты на второй план экономическими темами.

Группа терминов социальной политики, отражающая патерналистские наклонности официальной позиции, включает в себя ряд понятий, направленных на поддержку отдельного гражданина и организаций, непосредственно работающих с ним («школа», «медицина», «пенсия», «жилье», «вуз», «семья»).

Наконец, в результате анализа были выявлены вербальные символы, не подвергающиеся классификации. В частности, это ряд метатекстовых понятий («кризис», «инновация», «приоритет», «возможность», «партнерство» и т.п.). Определение их в указанные группы нарушит их семантическую специфику, так как эти термины

относятся к различным сферам жизни общества и естественны для политического дискурса. Однако учитывая количественные показатели их использования, мы можем говорить о том, что эти символы вовлечены в идентификационную модель идеологической позиции официальной власти. То же мы можем говорить и о группе понятий, относящихся к истории, в которую включены помимо родового понятия «история» еще и «Отечественная война» как основной элемент коллективной памяти, и «Крым» как квинтэссенция ключевого события последних лет. Эта группа активно используется в послании 1996 г., а также в текстах периода третьего президентского срока В.В. Путина, когда история становится уже символическим ресурсом обоснования политической деятельности.

Изменения структуры вербальных символов в текстах посланий президента

Классификация основных вербальных символов не только демонстрирует их взаимосвязь, но и позволяет определять концептуальную структуру текста, необходимую для идентификации «временно-официальных» идеологических моделей официальной власти. Сопоставление относительной значимости¹ вербальных символов каждой группы является показателем идейного наполнения текста послания и демонстрирует, в терминологии каких идеологических направлений изъясняется официальная власть.

В целом, оценивая структуры вербальных символов текстов посланий с 1994 г., следует отметить тенденцию к уравниванию концептуальной терминологии разных направлений. Максимальная разница между количеством использований различных групп отмечается в посланиях 1994, 1998, 2000 гг., в которых феноменально популярными становятся термины государственного субъекта и экономики. На протяжении 2000-х и 2010-х годов разница в количественной представленности групп становится менее существенной, а сами тексты покрывают больший спектр проблем, нежели это было ранее, в то время как объем посланий В.В. Путина и Д.А. Медведева в разы меньше, чем Ельцина.

¹ Относительная значимость группы исчисляется суммой аналогичных показателей каждого вербального символа, входящего в группу.

Этатистский либерализм (1994–1995)

Примечателен текст послания 1994 г. как точка отсчета, как первый опыт российской власти в презентации собственного официального видения политической и экономической ситуации в обществе. Однако этот текст заслуживает внимания также как повод усомниться в либеральных наклонностях российской власти того периода. Несомненно, либеральный подход присутствует в экономической сфере, но официальный политический дискурс, концентрированно представленный в тексте послания, демонстрирует несоответствие предполагаемой концептуальной структуре либерального текста. На этот вывод наталкивают следующие факты. Безусловно, доминирующими выступают вербальные символы, обозначающие государственного субъекта, достигая пикового значения всего исследуемого периода в 53,85 употреблений на 1000 слов. Официальная власть, вставшая на путь построения рыночной экономики, предъявляет в качестве основного и самого значительного действующего субъекта не предпринимателей, не граждан, а государство и его институты. Второй фактор, демонстрирующий отдаленность от либеральных идей, – это низкая значимость терминов экономического толка (12,7 на 1000 слов). Несмотря на активное использование вербального символа «реформа», важными являются и такие понятия, как «укрепление» и «поддержка», отражающие патерналистский взгляд на построение экономической сферы. Им вторит и высокая значимость группы вербальных символов социальной политики (11,18), при пассивном состоянии символов гражданского общества (только 2,65 слова на 1000). В целом, оценивая текст послания, следует констатировать факт наличия лексики либерального толка и активное стремление соответствовать декларируемым идеологическим трендам, однако логика рассуждения завязана на концепте государства как ключевого агента. Явно просматривается этатистский взгляд на экономические преобразования и в целом на роль государства в жизни общества. Преобладает патерналистская логика. По меткому замечанию В.Б. Пастухова, в период Ельцина «совершается поворот “западного либерального потока” в нормальное для России русло “государственной идеи”» [Пастухов, 2001, с. 58].

Тренд, заявленный в первом послании президента, сохраняется и в тексте 1995 г. Популяризация символов государственного субъекта остается ключевой дискурсивной практикой. Причина подобной стратегии просматривается в необходимости зафиксиро-

вать государство в широком смысле и конкретно президента, правительство и те органы, которые сложились в результате конституционных преобразований 1993 г., в качестве ключевых субъектов в политическом и экономическом поле, дабы предотвратить возможные попытки дестабилизации и разделения внутреннего суверенитета.



Рис. 1. Суммарная относительная значимость групп вербальных символов в посланиях президента (1994–1999)

Экономоцентризм (1996–1999)

В 1996 г. возникла новая, более либерально ориентированная идеологическая модель послания президента. Экономика становится значимой, что проявляется в повышении уровня использования терминов «бюджет», «рынок», «инвестиция», «инфляция». Суммарная значимость экономических понятий доходит до уровня 22,88 слова на 1000. Поддерживает экономоцентричный тренд и символ деятельности «реформирование» (4,1). Однако сохранение сверхпопулярности вербальных символов государственного субъекта подтверждает двойственное состояние официального дискур-

са: при декларации либеральных преобразований сохраняется представление о главенствующей роли государства в экономических и социальных процессах.

Послание 1997 г. в незначительной степени изменяет тренд ориентации на экономические вопросы и ценности. Понятие «бюджет», начиная с этого года, закрепляется в первой десятке самых популярных вербальных символов на последующие два года. Примечательно также, что тренд экономической тематики поддерживается высокой значимостью символов деятельности («реформа», «управление»), что говорит о важности процесса целеполагания; а также символов гражданского общества, в частности существенным вниманием к местному самоуправлению. В этом же году в число относительно значимых понятий попадают «порядок», «контроль», демонстрирующие переход от реформ ради реформ, к деятельности государства, направленной на поддержание стабильности в обществе.

Наиболее ярко эконоцентризм являет себя в послании президента 1998 г., в котором группа экономических вербальных символов достигает уровня популярности терминов государственного субъекта (33,76 слов на 1000). Однако важно подчеркнуть, что идея деятельности становится основополагающей. Вербальные символы «изменение», «реформа», «повышение», «управление» говорят об осознании необходимости целенаправленных действий по преодолению кризиса, хотя сам термин «кризис» встречается только один раз на 1000 слов.

Либеральный тренд текстов посланий второй половины 90-х годов логично завершается в последнем обращении Б.Н. Ельцина к Федеральному собранию. Коллапс экономической системы потребовал поиска новых возможностей стабилизации. На фоне резко возросшей значимости вербального символа «кризис» как констатации свершившегося факта возникает группа понятий правового регулирования. Вопросы законодательства заместили критические темы стабилизации и развития экономики, которым уже не суждено достигнуть уровня популярности в текстах президентских посланий, схожего с популярностью в 1998 г. Повышение веса экономики во второй половине 90-х годов на фоне относительного снижения веса вербальных символов государственного субъекта являлось тенденцией либерализации официального политического дискурса, которая прервалась в августе 1998 г. После кризиса в текстах посланий значимость экономических ценностей постепенно снижается. На их место приходят цен-

ности политические и гражданские, использование которых, с одной стороны, может говорить о раскрепощении официального дискурса, а с другой стороны, о его популистских наклонностях.

Автократические тенденции (2000–2003)

Приход к власти В.В. Путина, ставшего «наследником мертвой власти» и не прошедшего испытания политической борьбой [см.: Пастухов, 2001, с. 50], кардинальным образом изменил и дискурсивную стратегию. Послания президента стали лаконичными, объем текста сократился примерно вдвое по сравнению со средними показателями ельцинского периода. Изменилось ли содержание? Концептуальная структура вербальных символов вновь становится государствоориентированной, вес экономической проблематики по сравнению с 1999 г. снижается. Ориентиром для нового руководителя страны по-прежнему служит либерализм, но «заявлять об этом открыто в обществе невероятного социального расслоения и разрушенной экономики с туманными перспективами власти не решались» [Амбарян, Ильичев, 2001, с. 89].

Группа терминов государственного субъекта в послании 2000 г. практически достигает максимума за весь исследуемый период (51,47 слов на 1000). Значения экономических символов на фоне этого показателя кажутся несоизмеримыми (16,4). Безусловно, второй президент России дает рациональную оценку ситуации в стране как системного кризиса, для выхода из которого необходимы не только усилия по экономической стабилизации, но и меры по формированию эффективной системы управления. Эта логика отражается в тексте послания. Еще одна примечательная тенденция – это возрастание популярности символов демократизации и гражданского общества (10,64 слова на 1000), демонстрирующих идеологическую позицию послания. Однако ввиду административной направленности текста в относительной значимости этих категорий стоит видеть скорее «ритуализацию» либерального дискурса [см.: Пастухов, 2001, с. 59], нежели целенаправленное. К тому же на концептуальную структуру текста наложились результаты недавних выборов президента. Логичным представляется акцентирование внимания на гражданских и демократических ценностях, ассоциируемых с прошедшей процедурой.

В последующие три года (2001–2003) сохраняются идеологические установки в отношении экономики, демократизации,

однако уровень использования вербальных символов государственного субъекта сокращается почти в два раза по сравнению с первым посланием Путина – до 27,18 слов на 1000. Происходит смена стратегии: главными действующими субъектами становятся уже не государственные институты, а те, кто ранее представлялся в дискурсе объектами их деятельности. Примечательно в этом контексте исчезновение из списка наиболее используемых понятий слова «поддержка», характеризующего один из видов прямого патерналистского воздействия государства на общество. Обращение к Федеральному собранию приобретает императивный характер. Президент уже не фиксирует состояние и проблемы, а ставит задачи перед государством и обществом.

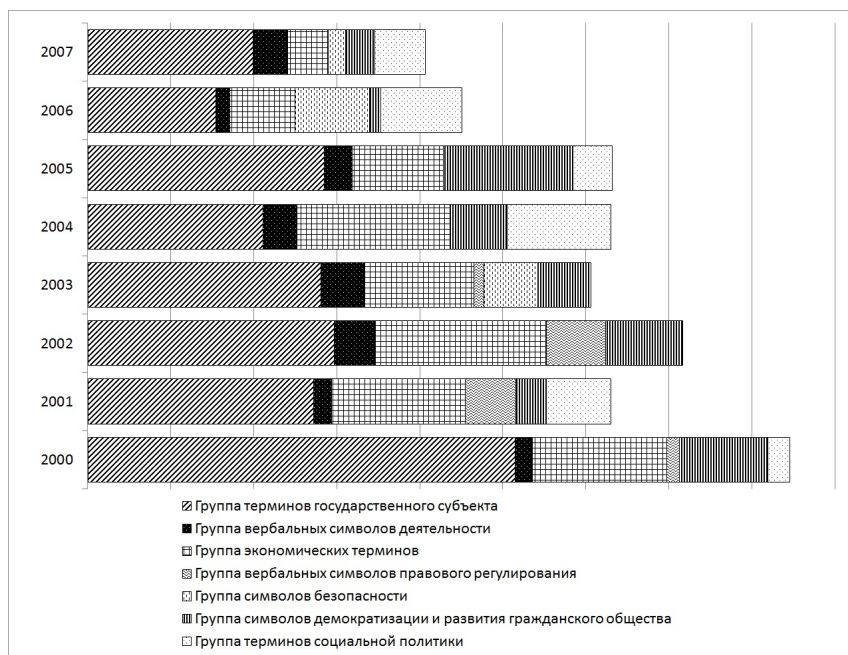


Рис. 2. Суммарная значимость групп вербальных символов в посланиях президента (2000–2007)

Социальная ориентация (2004–2007)

Второй президентский срок В.В. Путина ознаменован особым интересом к социальным проблемам. На ведущие позиции в количественном исчислении выходят такие категории, как «качество», «услуги», «медицина», «жилье» и т.п. Общая значимость этих понятий составляет в 2004 г. 12,56 слов на 1000, что сопоставимо с показателями экономики и терминами государственного субъекта. Примечательно, что после этого послания уровень использования экономических символов стремительно падает. На вакантное место приходят символы социальной политики, демократизации и гражданского общества, которые даже преобладают над экономикой в тексте послания 2005 г. Хотя в этом же тексте демократические ценности сбалансированы вербальными символами «укрепление», «борьба», а также соответствующим возрастанием значимости символов государства. Важным в стратегическом плане представляется и появление отсылки к «истории» как обоснованию модели российской власти.

В указанный период экономика в целом перестает быть предметом стратегического планирования. На первый план выходят узкие социально ориентированные вопросы, решение которых направлено не на стабильное воспроизводство экономики, а на удовлетворение потребностей граждан. Соответственно, общая экономическая риторика уходит на второй план, освобождая дискурсивное пространство для понятий, которые волнуют простых людей. Стагнация, к которой привели административные и экономические преобразования начала 2000-х годов, создала вакуум в поле обсуждения проблем предпринимательства, производства и торговли. Политический дискурс заполнил этот вакуум социально привлекательными символами, которые способны обеспечить общественную поддержку. Заметим также, что к концу этого периода всерьез рассматривался вопрос о «третьем сроке» В.В. Путина, для чего требовались серьезные социальные основания.

Неудавшийся либерализм (2008). Социал-демократизм (2009–2011)

Рокировка правящего тандема привнесла определенные изменения и в дискурсивную стратегию использования различных вербальных символов. Первое послание Д.А. Медведева в статусе президента РФ представляет собой попытку создания новой струк-

туры официального политического дискурса с помощью символов гражданского общества и демократии, что отразилось в популярности таких понятий, как «свобода», «демократические ценности», «партия» и др. Однако эта тенденция оказалась ситуативной. Начиная с послания 2009 г. количество использований символов гражданского общества возвращается к средним показателям. Д.А. Медведев, находясь в скованных условиях системы распределения власти между президентом, премьер-министром и правящей партией, пытается найти свою нишу, что выливается в образ «президента-теоретика», «президента-мечтателя» [Зорин, 2010, с. 84]. Проект создания имиджа либерального руководителя оказался неудачным, и уже следующий текст обращения изменил стратегию дискурсивного поведения президента. К тому же актуализация гражданских ценностей идет вразрез с символической стратегией предыдущего главы государства, который занял пост председателя правительства.

Послание 2009 г. возвращается к социальным ориентирам, еще более ярко эта тенденция проявилась в следующем году: в президентском обращении 2010 г. эта группа ключевых символов имеет уровень использования в 12,88 слов на 1000, что всего лишь на четыре пункта меньше самой значимой группы символов государственного субъекта. Судя по тенденции, сохраняющейся в 2009–2011 гг., предложенная Д.А. Медведевым модель структуры опорных вербальных символов официального дискурса не нашла поддержки, в итоге президент был вынужден возвратиться к модели своего предшественника. Единственная разница заключается в том, что Д.А. Медведев активно продвигает понятия, характеризующие деятельность: «поддержка», «повышение», «помощь», «исполнение» и т.п. Достаточно того факта, что «модернизация» становится одним из самых популярных терминов и задает тон всего текста в трех посланиях, хотя и не ассоциируется с конкретными преобразованиями и остается «абстрактным символом изменений вообще» [Малинова, 2012, с. 187].

Президентские обращения периода правления Д.А. Медведева демонстрируют попытку формирования новой дискурсивной практики, которая столкнулась с социальным отторжением и давлением системы и была свернута. В итоге к середине четырехлетнего срока структура вербальных символов официального дискурса стала социально ориентированной, с высокой значимостью терминов деятельности. Соглашаясь с А.В. Амбаряном и А.Б. Ильичевым, можем констатировать факт отклонения официального идеологиче-

ского курса в 2009–2011 гг. в сторону популярного во всем мире социал-демократизма [см.: Амбарян, Ильичев, 2012, с. 90], однако единая устойчивая символическая платформа официальной позиции в период правления Д.А. Медведева так и не сложилась.

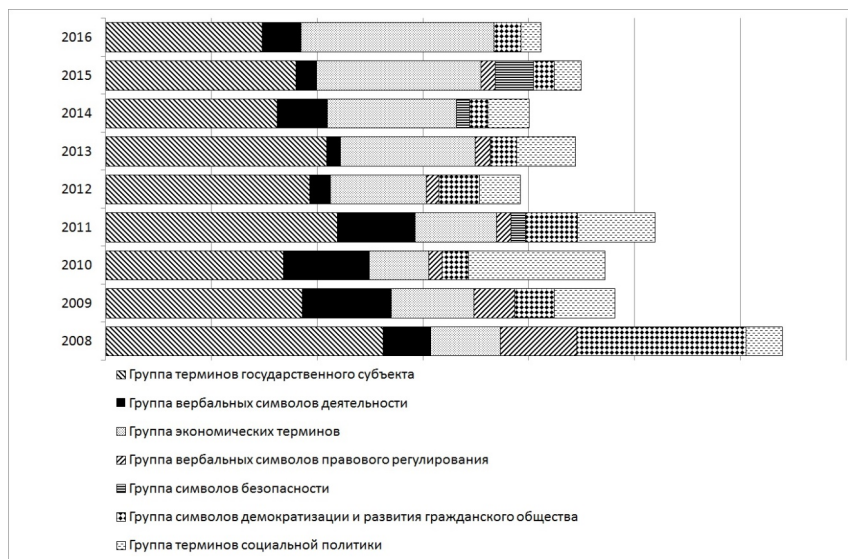


Рис. 3. Суммарная значимость групп вербальных символов в посланиях президента (2008–2016)

Стабильность и экономический тренд (2012–2016)

Интерес к вербальным символам социальной политики, возникший в 2004 г. и сохранявшийся до 2012 г., с возвращением В.В. Путина в Кремль значительно упал. В течение третьего президентского срока уровень значимости терминов социальной политики стабильно снижается. Социально ориентированный дискурс исчерпал свой ресурс и требовал обновления.

Изменение дискурсивной стратегии коснулось и комплекса вербальных символов демократизации и гражданского общества, которые имеют нисходящую тенденцию в количестве использований на протяжении 2012–2016 гг. Нивелирование демократических и гражданских ценностей вполне обоснованно ввиду стагнации политического процесса (несменяемости политической элиты,

предсказуемости выборов и т.п.). В 2012, 2014, 2015 гг. президент активно использует понятие «история», обосновывая задачи, стоящие перед обществом и государством, что говорит о возникновении традиционалистского вектора в официальном дискурсе, о попытке найти объяснение политической стратегии с помощью национального мифотворчества.

Однако на фоне консервации политического пространства и снижения значимости демократических и социальных символов возникает тенденция возвращения приоритета экономическому блоку понятий. Так, после длительной немилости в список популярных терминов попадает «рынок», однако уже не как абстрактная категория, отражающая принцип организации экономических взаимодействий, а как отсылка к конкретным отраслевым рынкам («жилищный рынок», «высокотехнологичный рынок», «сельскохозяйственный рынок» и т.п.). Примечательно, что возрастание роли экономических вербальных символов происходит параллельно со снижением относительной значимости символов государственного субъекта. В послании 2016 г. наблюдается кульминация этой тенденции: количество использований символов экономического блока незначительно, но все-таки превосходит количество использований символов государства (18,29 и 14,8 слов на 1000 соответственно). В рамках официального дискурса происходит символическое снятие ответственности за состояние общества с органов власти, государства и его первых лиц, а послание Федеральному собранию представляет собой экономическую программу, а не стратегический план развития государства в целом.

В течение последних пяти лет структура вербальных символов посланий президента становится стабильной и предсказуемой, но в то же время и более тенденциозной. Мы наблюдаем стремительное снижение роли государственно ориентированных символов, однако в отсутствие повышения значимости понятий гражданского общества говорить о либерализации бессмысленно. Тенденции закрепощения режима поддерживаются также популярностью символов, связанных с безопасностью («угроза», «террористы», «вызов» и т.п.), акцентированием внимания на «истории» как самоценности и универсальном аргументе в политических спорах. Экономика, в свою очередь, представляется, с одной стороны, актуальной темой для обсуждения, с другой стороны, комфортным ресурсом для замещения неудобных вербальных символов. Присутствие скрепленных идей сильного государства различных идеологических концепций в отношении отдельных

сфер жизни общества оказывается эффективным [см.: Амбарян, Ильичев, 2012, с. 91] и сохраняется уже в течение пяти лет правления В.В. Путина и, вероятно, останется таковым до очередного избирательного цикла.

Заключение

История независимой России начинается с погружения в «этатистский либерализм». Послания 1995 и 1996 гг. изобилуют отсылками к либеральным принципам реформирования экономики, но остаются в поле этатистского мышления, активно продвигая государство в качестве деятельного субъекта. Вторая половина периода ельцинского правления проходит под флагом экономоцентризма, однако от налета государственничества посланиям 1996–1999 гг. избавиться не удастся, да и экономический дискурс заметно тускнеет после дефолта 1998 г. Переломный текст 2000 г. демонстрирует образ президента-государственника, всерьез взявшегося за системные преобразования в стране. При этом объектом данных преобразований в первую очередь стало само государство. В первом послании В.В. Путина были заявлены автократические претензии, сохраняющиеся до сих пор. Новая временно-официальная идеологическая позиция возникает в 2004 г. и переориентирует официальный политический дискурс на социальную сферу. Экономика перестает быть элементом стратегического планирования, фокус теперь переключается на конкретные проблемы отдельных социальных групп. С приходом к власти Д.А. Медведева и после его неудавшегося либерального демарша 2008 г. социалистический тренд официального дискурса усиливается, повышают свою значимость популистски ориентированные символы деятельности. Наконец, последний период 2012–2016 гг. представлен комбинированной идеологической концепцией, позволяющей вовлекать в политический дискурс любые ресурсы, необходимые для воспроизводства системы.

Почему возникают временно-официальные версии государственной идейной позиции? При условии невыполнения декларируемых целей их мотивационный и легитимирующий потенциал исчерпывается в кратчайшие сроки. Необходимы новые символы, которые структурируют дискурс власти и сделают его привлекательным для большинства населения. Длительные поиски «единственно верной» идеологической концепции и интеллектуальные

муки по созданию «национальной идеи» в период правления Б.Н. Ельцина не привели к позитивным сдвигам, создав потенциал для экономической катастрофы и политического хаоса. Вследствие неудач интегративных проектов первых сроков В.В. Путина и президентства Д.А. Медведева политическая элита приходит к осознанию необходимости комбинированного формата временно официальной идеологии, замешанного на консерватизме в политических и экономических вопросах, социал-демократизме – в социальной сфере, патриотизме и историзме – в культуре, централизме – в вопросах организации отношений с регионами. Символическая структура послания 2016 г. представляется симптоматичной для дальнейшего развития идеологической позиции власти. Наблюдающийся в нем отказ от субъективации государства в ближайшем будущем может окончательно оторвать официальный дискурс от реальности, что, вероятно, крайне неблагоприятно для политического класса и всей политической системы России.

Литература

- Амбарян А.В., Ильичев А.Б. Идеологическая трансформация современной российской политики // *Власть*. – М., 2012. – № 11. – С. 88–91.
- Бабайцев А.В. Подходы к определению понятия «политический символ» // *Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН*. – М., 2014. – Вып. 2. – С. 18–24.
- Дубин Б. Симулятивная власть и церемониальная политика. О политической культуре современной России // *Вестник общественного мнения*. – М., 2006. – № 1. – С. 14–25.
- Зорин В.А. Модели политического лидерства российских президентов // *Политические исследования*. – М., 2010. – № 4. – С. 77–89.
- Ильичёв А.Б. Проблема идеологии в российском политическом дискурсе // *Вестник ПАГС*. – Саратов, 2014. – С. 97–102.
- Лассвелл Г. Язык власти // *Политическая лингвистика*. – Екатеринбург, 2006. – № 20. – С. 264–280.
- Лоскутов В.А. «Красные линии» идеологии и идеология «красных линий» (современная российская власть в поисках консерватизма) // *Вопросы управления*. – М., 2014. – № 1. – С. 7–26.
- Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство: часть 1. – Ростов-на-Дону: Изд-во Март, 2013. – 649 с.
- Малинова О.Ю. Разговоры о «модернизации»: анализ практики «общественных дискуссий» в современной России // *Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН*. – М., 2012. – Вып. 1. – С. 182–201.

- Мухарямов Н.М. О символических началах в языке политики (прагматический аспект) // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 1. – 334 с. – С. 54–74.
- Николаев И.В. Понятие и конструктивистские свойства вербальных политических символов // Философия права. – Ростов-на-Дону, 2012. – № 4. – С. 34–39.
- Пастухов В.Б. Конец русской идеологии (Новый курс или новый Путь?) // Полис. Политические исследования. – М., 2001. – № 1. – С. 49–63.
- Поцелуев С.П. Символические средства политической идентичности. К анализу постсоветских случаев // Трансформация идентификационных структур в современной России. – М.: Московский общественный научный фонд, 2001. – С. 106–159.

В.Н. Ефремова*

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ ПОСЛЕ 2012 г.¹

Аннотация. В статье проанализирована практика использования российских государственных праздников властвующей элитой с 2012 г. и выделены основные направления трансформации их смыслового содержания на новом этапе. Изменение подхода к использованию праздников связывается с новой постановкой вопроса о национальной идентичности в контексте консервативного поворота в дискурсе власти и роста антизападнических настроений в обществе. Автор показывает, как и при каких обстоятельствах с 2012 г. в официальном политическом дискурсе поднимается тема «нации», происходит актуализация подвигов ее героев и истории России. Основной упор сделан на тематическом репертуаре дискурса власти и узловых точках конструирования национальной идентичности.

Ключевые слова: символическая политика; праздники; памятные даты; политика памяти; национальная идентичность.

V.N. Efremova

The symbolic policy of the Russian state holidays after 2012

Abstract. The article analyzes the practices of political use of Russian public holidays by the ruling elite since 2012 and reveals the patterns of transformation of their semantic content. The revealed change of the symbolic practices is explained by the new approach of the ruling elite to the issue of national identity in the context of «the conservative turn» in the discourse of power and the rise of anti-Western sentiment in society. The author shows how the theme of «nation» was interpreted in the official political discourse

* **Ефремова Валентина Николаевна**, кандидат политических наук, научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: efremova-valentina@mail.ru

Efremova Valentina, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: efremova-valentina@mail.ru

¹ Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН «Историческая память и российская идентичность».

since 2012. The main focus is made on the thematic repertoire of the discourse of power and nodal points of the construction of national identity.

Keywords: symbolic politics; holidays; anniversaries; politics of memory; national identity.

Выборы 2011–2012 гг. и последовавшая за ними волна протестов побудили российскую власть к пересмотру прежнего идеологического багажа. «Достижения» президентства Д.А. Медведева – послабления для бизнеса после экономического кризиса 2008 г., сигналы о возможной либерализации политического режима, привлечение общественности к решению значимых проблем – были перечеркнуты масштабными фальсификациями на выборах, плохо подготовленной рокировкой тандема и тактикой замалчивания, которую выбрали властвующие элиты. Протестной мобилизации оказалось недостаточно, для того чтобы создать серьезные вызовы режиму, а ее подавление привело к очередному этапу «закручивая гаек» и ужесточению законодательства.

В конечном счете изменения политического контекста побудили к пересмотру сложившегося в 2000-е годы курса символической политики¹. В контексте обозначенной позиции властвующая элита стремилась усилить контроль за повесткой дня, и в частности – общественными дискуссиями о прошлом.

В центре внимания данной статьи – *символическая политика государства в отношении современных российских праздников*. Речь пойдет о целенаправленных действиях российского политического режима (в первую очередь – главы государства), предпринимаемых для продвижения определенных способов интерпретации социальной реальности. Такое понимание символической политики предполагает, что действия властвующей элиты вписаны в публичное пространство, где происходит конкуренция различных политических акторов [подробнее см.: Малинова, 2015, с. 22–31]. Предметом анализа стали официальные поздравительные выступления, комментарии по случаю празднования па-

¹ Его стержнем стала идея создания «сильного государства». Так, режим «пытался сочетать идею возврата к российским и советским традициям с утверждением того, что в стране продолжается строительство демократии» [Копосов, 2011, с. 137]. Как отмечает О.Ю. Малинова, в качестве нового метанаратива с 2003 г. стала использоваться «тысячелетняя история», которая позволяла не только давать оценку событиям начала 1990-х годов, но и смотреть на них как на закономерный этап развития государственности [см.: Малинова, 2015, с. 148–156].

мятных дат / годовщин, а также собственно мероприятия и акты, приуроченные к тому или иному праздничному событию.

Годовщины, памятные даты, праздничные дни являются одними из наиболее «ощущаемых» маркеров социально-политических и ценностных изменений и одновременно инструментом символической политики. Праздники, а также связанные с ними нарративы и ритуалы посвящаются значимому для общества событию в прошлом и призваны оказать влияние на текущее положение дел благодаря смыслам и ценностям, которыми они наделяются.

В статье мы также остановимся на вопросах, связанных с особенностями конструирования национальной идентичности, и вопросах коллективной (национальной) памяти¹. Праздники представляют собой хороший материал для анализа, поскольку позволяют зафиксировать важные символические указатели национальной идентичности – диапазон возможных взаимных обязанностей и ожиданий граждан и государства.

В целом трансформация государственных праздников в России, начиная с 1990-х годов и до настоящего времени, подчинялась общим закономерностям изменения символической политики государства и связанной с ней политики памяти [Миллер, 2009, с. 7].

Ниже мы попытаемся выделить основные особенности использования российских праздников властвующей элитой и определить основные направления трансформации их смыслового содержания с 2012 г.

Новая постановка вопроса о коллективной идентичности

Начавшийся в 2012 г. этап символической политики оказался тесно связан с новой постановкой вопроса о национальной идентичности [подробнее см.: Малинова, 2016]. Он стал одной из центральных тем президентской кампании В.В. Путина, а его новый президентский срок ознаменовался конструированием идеологии, основанной на национальных ценностях.

Первые предпосылки для пересмотра потенциала существующих государственных праздников были намечены уже в ходе предвыборной кампании. В программной статье «Россия: национальный вопрос», опубликованной в «Независимой газете» [Путин, 2012 б],

¹ О концепции коллективной (национальной) памяти см.: [Ассман, 2014, с. 29–38].

В.В. Путин назвал День народного единства «днем рождения нашей гражданской нации», «днем победы над собой». Прежде он определял этот праздник как «праздник всего гражданского общества» [Путин, 2006], что многим казалось неочевидным. Именно в событиях давнего прошлого Путин предложил искать «скрепы общественного порядка», процитировав слова историка В. Ключевского. В этом контексте он говорил о ценностных ориентирах, имея в виду «базовые, общие моральные, нравственные, духовные ценности: милосердие, взаимопомощь, правда, справедливость, уважение к старшим, идеалы семьи и труда» [Путин, 2012 б].

В послании Федеральному собранию, которое было представлено 12 декабря в 2012 г., в День Конституции¹, В.В. Путин затронул проблему «явного дефицита духовных скреп», выделив в качестве таковых милосердие, сочувствие, сострадание друг другу, поддержку и взаимопомощь [Путин, 2012 а]. Термин «скрепы», употребляемый сегодня по большей мере в церковном дискурсе, вызвал большой резонанс. Его появление совпало с кампанией по защите чувств верующих (в том числе в связи с уголовным делом в отношении участниц группы Pussy Riot), обсуждением мер по защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей, обострением антизападной риторики и некоторыми было воспринято как ограничение свободы прав граждан, укрепляющее «имидж России как авторитарного государства» [Зафесова, 2013].

О поиске национальных символов, необходимости новой государственной стратегии и сохранении своей идентичности «в кардинально изменяющемся мире» В. Путин заявил в сентябре 2013 г. на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» [Путин, 2013 а]. Здесь он, пожалуй, впервые подчеркнул роль православия как «духовной скрепы»: «Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство» [там же]. В дальнейшем изучение «маркеров духовных скреп» было поручено ученым из Института социологии РАН. Заказчиком тендера выступило Управ-

¹ Казалось, что власть пошла на активизацию потенциала уже было отработавшего, «потерявшего доверие» и превратившегося в профессиональный праздник членов Конституционного суда Дня Конституции. В 2013 г. В.В. Путин снова зачитывал обращение к Федеральному собранию 12 декабря. Однако эта практика не была продолжена в 2014 г.: выступление В.В. Путина состоялось 4 декабря.

ление делами президента. Предполагается, что исследование должно было пролить свет на глубину исторической памяти и помочь в разработке единого учебника истории.

Расширение границ «прошлого»

Термин «скрепы» вскоре исчез из риторики президента. Возможно, потому, что использование церковной (православной) риторики в многоконфессиональном контексте сужает понимание «нации». Российской власти приходится «жить с идеологическим и институциональным наследием советской национальной политики» [Миллер, 2016, с. 135], а также клубком противоречий вокруг того, «какая нация нужна», какие компоненты являются решающими в ее определении [там же, с 137–139].

В поздравительных выступлениях 2012–2016 гг. по случаю государственных праздников отсутствует прямое определение «нас» через этнический и религиозный признаки. Решающее значение отдается культурному и историческому компоненту. Это еще раз подтверждает, что «президент и его администрация рассматривают “историческую политику” как едва ли не основной инструмент решения проблемы “дефицита духовных скреп”» [Малинова, 2015, с. 170].

Показательным, на наш взгляд, можно считать речь В. Путина на торжественном приеме по случаю Дня народного единства в 2013 г. Он заявил, что «огромную объединяющую роль в тысячелетней истории России всегда играл русский народ и русский язык. Именно русский язык был главным выразителем и носителем народного единства, скреплял большой русский мир, который простирается далеко за пределы нашей страны. Русский мир никогда не строился по принципу национальной, этнической исключительности, он всегда был открыт для тех, кто чувствует себя частью России и считает Россию своей Родиной» [Путин, 2013 б].

Такое понимание «нас» требует конкретизации «тысячелетней истории» России, ее дополнения памятными датами из разных периодов. Поправками в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в 2012 г. были введены День российского парламентаризма (27 апреля), приуроченный к первому дню работы Государственной думы Российской империи; День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля), в память о событиях Чернобыльской АЭС 1986 г.; День памяти российских вои-

нов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. (1 августа). Осенью 2014 г. Госдума приняла поправки к ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», установив в России новую памятную дату – День неизвестного солдата (3 декабря).

В 2013–2014 гг. дважды редактировалось название памятного дня 27 января – Дня снятия блокады города Ленинграда (1944), установленного ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» в 1995 г. В ноябре 2013 г. его наименование было изменено на «День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)». По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников, в декабре 2014 г. название дня воинской славы снова было откорректировано, он стал называться «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)». Как отмечается, новое наименование этого дня «наиболее точно отражает не только роль советских войск в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда в защите города» [День полного... 2015].

Как показала на основе исследования тематики памятных речей президентов РФ О.Ю. Малинова, «тенденция к расширению репертуара политически “актуального” прошлого в период третьего президентского срока В.В. Путина получила дальнейшее развитие»; в частности, возросла доля выступлений, посвященных событиям до 1917 г., расширился набор поводов для официальной коммеморации [см.: Малинова, 2015, с. 170]. В 2013 г. с размахом прошло празднование 1025-летия Крещения Руси (28 июля, государственная памятная дата установлена указом Д.А. Медведева в 2010 г.) и 25-летия возрождения религиозной жизни на территории стран бывшего СССР. В октябре В. Путин участвовал в торжественном собрании в Уфе, посвященному 225-летию Центрального духовного управления мусульман России [Путин, 2013 с].

Расширение репертуара политически используемого прошлого поставило под угрозу состоятельность и без того противоречивого праздника Дня России. Появились альтернативные предложения относительно дня основания государства. К примеру, речь шла об утверждении 21 сентября Днем создания России. С этой датой связывают первые упоминания России в летописях [В праздничный календарь... 2017]. Предлагалось также утвердить 6 августа Днем патриотизма. В 2014 г. в этот день в России было введено продуктовое эмбарго в ответ на санкции Запада [Госдуме предлагают... 2016].

Перформативная память и новая роль Дня Победы. Война как прошлое и настоящее

И все же центральным событием нового этапа символической политики стало празднование 70-летия Великой Победы в 2015 г. Военный парад стал самым грандиозным в современной истории России. Для подавляющего большинства россиян День Победы продолжает оставаться одним из самых почитаемых праздников. По данным Левада-центра, 63% россиян собирались праздновать этот день в 2016 г. [Россияне о праздновании... 2016]. Как неоднократно отмечали социологи, среди политических празднеств День Победы играет роль главного и, по сути, единственного символического интегратора в современном российском обществе. Победа как наследие России прочно вошла в инструментарий российской политической элиты. И в этом смысле советское наследие выступает чуть ли не основным источником легитимации современного политического режима, где Великая Отечественная война остается наиболее значимым символом прошлого.

До 2015 г. праздник День Победы замещал отсутствующую национальную идею воспоминаниями о прошлом. Как отмечает О.Ю. Малинова, память о Великой Отечественной войне оказалась «удобной» для использования, поскольку, «будучи основательно институционализована в предыдущие периоды, в постсоветской России она не стала объектом переопределения по принципу игры с нулевой суммой» [Малинова, 2013, с. 172]. Как утверждает Л. Гудков, благодаря тому что память о пережитом, об опыте старших поколений постепенно рутинизируется, она уже не дает такой остроты переживания и включенности общества. Поэтому власть все чаще намеренно педалирует значимость этого праздника, и как следствие – он теряет свой первоначальный смысл [Гудков, Кузьменко, 2016].

Как показал С. Ушакин на примере военных парадов на Красной площади, память о Великой Отечественной войне сегодня поддерживается во многом благодаря *перформативным актам* – публичным процессам конструирования прошлого, которые означают «воспроизведение этого прошлого» [Ушакин, 2014]. Любые новации, которые касались бы реформирования практик проведения парадов, выглядели отступлением от привычной советской традиции и воспринимались российской элитой достаточно болезненно [Малкин, 2015]. Об этом говорит восстановление в 2013 г. прежнего порядка участия в парадах суворовцев и нахимовцев, который был отменен бывшим министром обороны С. Сердюковым.

Праздник 9 мая всегда опирался на переживание славного прошлого, но с 2015 г. его роль в символической политике государства стала меняться [см.: Тренин, 2015; Габович, 2015; Гудков, Уколов, 2015; Левинсон, 2015; Макаркин, 2015 и др.]. *Произошла трансформация смыслов: основной упор стали делать на военной мощи и славе в настоящем.* Далеко не последнюю роль в этом сыграли события 2014 г. (кризис на Украине и его последствия), в ходе которых обнажились противоречия восточноевропейской и российской политик памяти, сфокусированных вокруг событий Второй мировой (Великой Отечественной) войны и ее последствий.

Примечательно, что российский лидер счел необходимым в своем выступлении на параде 9 мая изложить свою версию истории украинского конфликта: он использовал тему Великой Отечественной войны для объяснения войны в Донбассе, заявив: «И сейчас, спустя 70 лет, история вновь вызывает к нашему разуму и к нашей бдительности» [Путин, 2015].

Парад 2015 г. содержал сразу несколько важных «посланий»: это восстановление традиционной военной мощи, но главное – это то, что Россия подтвердила идеологическое «отчуждение от Запада» [Тренин, 2015] и стала строить планы формирования «общего экономического пространства Евразии».

Как отмечает М. Габович, коммеморативные мероприятия 9 мая оказались «политизированы до предела»: отношение ко Дню Победы, ношение георгиевской ленточки стали своеобразным маркером, который, в частности, на Украине разделил приверженцев «“победной”, героической, пророссийской, русифицированной коммеморации» и сторонников «национализированной, виктимной памяти о войне» [Габович, 2015, с. 110].

В конечном счете именно «война» оказалась той самой темой, которая позволила *выстроить смысловые связи между российскими праздниками.* Особенно очевидно это стало на примере Дня народного единства. В.В. Путин стал ставить праздник в один ряд с Днем защитника Отечества, Днем Победы и другими памятными датами военной истории России. Например, о значимости событий 1612 г. в контексте национальной безопасности было заявлено В.В. Путиным на праздничном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, уже в 2014 г.: «Мы гордимся всеми, кто на протяжении веков самоотверженно отстаивал свободу и независимость России: древнерусскими ратниками, ополченцами 1612 года, героями Бородина, солдатами и офицерами Первой мировой войны» [Путин, 2014].

Стоит отметить, что актуализация темы войны в официальном политическом дискурсе произошла значительно раньше. Война как «кульминационная точка нарратива о “тысячелетней истории” России» стала рассматриваться еще с середины 2000-х годов [Малинова, 2015, с. 105]. Центральная роль в этом отводилась символу Великой Победы, который «в отсутствие целостного нарратива коллективного прошлого» должен был «определять смысл(ы) конкретных событий» [там же, с. 114].

Обращение к теме военных побед, подвигов героев вписывается в контекст задачи укрепления российского государства и отвечает на запрос общества об общих, разделяемых переживаниях.

Военный конфликт на Юго-Востоке Украины способствовал дальнейшей актуализации концепта «русский мир», «изобретение» которого было сопряжено с конструированием смыслов Дня народного единства. Это выражение было введено в официальный оборот Д.А. Медведевым, который в 2008 г. говорил о «русском мире» как о явлении, «не имеющем границ» и «не подверженном политической конъюнктуре, а иногда, по сути, политической цензуре» [Медведев, 2008]. В отличие от использовавшегося с 1990-х годов термина «соотечественники», данная категория предполагает более отчетливую историческую и культурную идентификацию. По мнению И. Зевелева, до весны 2014 г. дискуссии о новой российской национальной идентичности, включая развитие концепции «русского мира», мало соприкасались с традиционной повесткой дня в области внешней политики и национальной безопасности, однако в контексте событий на Украине эта тема оказалась секьюритизирована, переведены «в разряд важнейших для выживания нации и государства» [Зевелев, 2014 а, с. 41].

Весной 2014 г. понятие «русский мир» стало употребляться в риторике первого лица государства, приближенных к нему лиц, а также средств массовой информации, играющих роль проводников официальной позиции Кремля, в контексте проблем национальной безопасности. Тем самым последняя, по замечанию И. Зевелева, стала рассматриваться в принципиально новом ракурсе: с точки зрения не государства, а «большой, чем государство, общности» [там же, с. 45]. Так, в марте 2014 г., комментируя события в Крыму, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Россия – это страна, на которой зиждется русский мир, и президентом страны является Путин, именно Путин является главным гарантом безопасности русского мира» [цит. по: Песков рассказал... 2014]. Как заметил И. Зевелев, это

утверждение отражает «фундаментальные изменения в представлениях официальных лиц о зоне ответственности Кремля» [Зевелев, 2014 b]. Иными словами, заявления первых лиц и приближенных к ним говорят о новом подходе к интерпретации реальности и миссионерской роли России.

По мнению О. Полегкого, «русский мир» стал новой идеологической основой режима В. Путина; эту концепцию можно рассматривать как ответ российской элиты на доминирующее положение Запада в международном дискурсе [Polegkui, 2016, p. 79].

Военные события 2014 г. нашли отражение в попытках переосмотра праздничного календаря и наполнения его новыми датами. Так, депутат государственной думы от фракции ЛДПР А. Старовойтов на следующий день после подписания договора о вхождении в состав России Севастополя и Республики Крым направил президенту и главе правительства предложение сделать 18 марта национальным праздником [Теслова, Субботина, 2014]. Осенью 2014 г. появилась инициатива учреждения «новой памятной даты, посвященной людям в военной экипировке без опознавательных знаков», Дня вежливых людей, который совпадал бы с днем рождения В. Путина (7 октября) [Сивкова, Казаков, 2014].

В итоге была выбрана другая дата, которая приблизительно совпадает с днем, когда в 2014 г. российский спецназ занял здания органов власти Автономной Республики Крым, – 27 февраля. Указом президента от 26 февраля 2015 г. этот день был установлен как День сил спецопераций (27 февраля) [Указ президента... 2015], который в народе прозвали Днем «вежливых людей». Без сомнения, утверждение данной даты имеет «международное» значение: факт появления нового профессионального праздника показывает возрастающую роль силовых структур в разрешении военных и политических конфликтов.

Надо сказать, что тема войны (и, шире, – противостояния) между Россией и Западом послужила толчком для обращения к ранее табуированным темам (легитимное открытое насилие, запрет публичных мероприятий, митингов и т.д.), поиска врагов политического режима, что в конечном счете позволяет уйти от нерешенных социальных и экономических проблем.

Провозглашенный в 2000-е годы В. Путиным курс на «единение», который реализовывался на предыдущем этапе путем механического подбора дат из разных исторических эпох, с разным идеологическим багажом, на новом этапе символической политики был существенно скорректирован. Результатом не решенных более чем за 20 лет вопросов об основах национальной идентичности стало использование «духовных скреп», которое, однако, не дало значимого эффекта.

Можно предполагать, что на деле источником конструирования национальной идеи стали русская культура и история. Об этом свидетельствуют попытки первого лица государства действовать в символическом репертуаре события новейшей и дореволюционной истории. Сведение национальной идентичности к общей культуре снимает этнические или религиозные конфликты, однако при таком прочтении идентичность все чаще используется артикуляции внешнеполитических амбиций.

Наиболее значимых эффектов от использования праздников в качестве инструментов конструирования России как сообщества власти удается добиться с изменением повестки дня и актуализацией темы национальной безопасности. Революция на Украине позволила вынести эти вопросы в разряд важнейших. Это позволило временно «уйти» от внутренних проблем и реализовать внешнеполитические амбиции. Однако, по сути, не решило задачи по формированию идентичности в более долгосрочной перспективе, что существенно сужает возможности использования российских государственных праздников как инструментов символической политики.

В 2017 г. пройдет празднование 100-летия Октябрьской революции, которая являлась ключевым элементом советского метанарратива. Произошедшая при В.В. Путине замена празднования 7 ноября на 4 ноября не закрыла вопрос относительно переосмысления событий Октября. В конечном итоге российская элита уже столкнулась с очередным витком переопределения и дискуссий относительно советского наследия.

Литература

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
- В праздничный календарь предложили добавить День создания России // Lenta.ru. – М., 2017. – 16 января. – Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2017/01/16/prazdnik/> (Дата посещения: 06.02.2017.)
- Габович М. Памятник и праздник: Этнография дня победы // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – М., 2015. – № 3(101). – С. 93–111.
- Госдуме предлагают учредить День патриотизма в день введения Россией продуктового эмбарго // ТАСС. – М., 2016. – 14 ноября. – Режим доступа: <http://tass.ru/politika/3780538> (Дата посещения: 12.02.2017.)
- Гудков Л., Бурмистрова Ю. Других побед у нас нет // Честный корреспондент. – М., 2012. – 22 июня. – Режим доступа: <http://www.chaskor.ru/p.php?id=7698> (Дата посещения: 12.02.2017.)
- Гудков Л., Кузьменко В. «Прославление Победы – способ коллективного самоуверждения» // Lenta.ru. – М., 2016. – 7 мая. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2016/05/07/9may/> (Дата посещения: 08.05.2016.)
- Гудков Л., Уколов Р. Сдвиг в сторону гордости и парадности // Lenta.ru. – М., 2015. – 20 апреля. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2015/04/20/denpobedy/> (Дата посещения: 25.02.2017.)
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) // РИА «Новости». – М., 2015. – 27 января. – Режим доступа: <https://ria.ru/spravka/20150127/1044393529.html> (Дата посещения: 18.11.2016.)
- Зафесова А. Путинская Россия хочет запретить «пропаганду гомосексуализма» // InoPressa. – М., 2013. – 22 января. – Режим доступа: <http://www.inopressa.ru/article/22jan2013/lastampa/propaganda> (Дата посещения: 25.10.2014.)
- Зевелев И. Границы русского мира // Россия в глобальной политике. – М., 2014 а. – Т. 12, № 2. – С. 34–45.
- Зевелев И. Новая внешнеполитическая доктрина России // Ведомости. – М., 2014 б. – 7 апреля. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/opinion/news/24981841/novaya-vneshnyaya-politika-rossii> (Дата посещения: 23.10.2014.)
- Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.
- Левинсон А. Война как прошлое и как будущее // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – М., 2015. – № 3(101). – С. 89–92.
- Макаркин А.В. Противоречивые праздники новой России // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – М., 2015. – № 3(101). – С. 262–273.
- Малинова О.Ю. Политическое использование символа Великой Отечественной войны в постсоветской России: Эволюция дискурса властвующей элиты // Прошлый век / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед., отд. полит. науки.; Ред. колл.: Миллер А.И., гл. ред., и др. – М., 2013. – Вып. 1. – С. 158–186.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.

- Малинова О.Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в современной России: От 1990-х к 2010-м годам // Полис. Политические исследования. – М., 2016. – № 6. – С. 139–158.
- Медведев Д.А. Выступление на торжественном приеме, посвященном Дню народного единства // Президент России. – М., 2008. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/1966> (Дата обращения: 08.04.2010.)
- Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. – СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2016. – 146 с.
- Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3–4, май – август. – С. 6–23.
- Песков рассказал о зашкаливающем рейтинге Путина // Lenta.ru. – М., 2014. – 7 марта. – Режим доступа: <http://lenta.ru/news/2014/03/07/rating> (Дата посещения: 25.10.2014.)
- Путин В.В. Выступление на государственном приеме, посвященном Дню народного единства // Президент России. – М., 2006. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23882> (Дата посещения: 10.11.2016.)
- Путин В.В. Выступление на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – М., 2013 а. – 19 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/19243> (Дата посещения: 11.09.2014.)
- Путин В.В. Выступление на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества // Президент России. – М., 2014. – 20 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/20293> (Дата обращения: 01.05.2014.)
- Путин В.В. Выступление на торжественном приеме по случаю Дня народного единства // Президент России. – М., 2013 б. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/19562> (Дата посещения: 18.11.2016.)
- Путин В.В. Выступление на торжественном собрании, посвященном 225-летию Центрального духовного управления мусульман России // Президент России. – Уфа, 2013 с. – 22 октября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/19473> (Дата посещения: 01.05.2014.)
- Путин В.В. Выступление Президента России на параде, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне // Президент России. – М., 2015. – 9 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/49438> (Дата посещения: 12.02.2017.)
- Путин В.В. Послание Президента Федеральному собранию // Президент России. – М., 2012 а. – 12 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/17118> (Дата посещения: 25.10.2014.)
- Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012 б. – 23 января. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (Дата посещения: 18.11.2012.)
- Россияне о праздновании Дня Победы // Левада-центр. – М., 2016. – 5 мая. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2016/05/05/rossiyane-o-prazdnovanii-dnya-pobedy-3/> (Дата посещения: 14.11.2016.)
- Сивкова А., Казаков И. Минобороны одобрило идею учреждения Дня вежливых людей // Известия. – М., 2014. – 3 октября. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/577362> (Дата посещения: 25.10.2014.)

- Теслова Е., Субботина С. Депутаты предлагают объявить 18 марта национальным праздником // Известия. – М., 2014. – 19 марта. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/567710> (Дата посещения: 25.10.2014.)
- Тренин Д. Гораздо больше, чем просто парад // Carnegie. – М., 2015. – 12 мая. – Режим доступа: <http://carnegie.ru/2015/05/12/ru-pub-60051> (Дата посещения: 14.11.2016.)
- Указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации» // Президент России. – М., 2017. – 16 января. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/news/53736> (Дата посещения: 06.02.2017.)
- Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2015 № 103 «Об установлении Дня Сил специальных операций». – М., 2015. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502260061> (Дата посещения: 25.02.2017.)
- Ушакин С. Вспоминая на публике: Об аффективном менеджменте истории // Гефтер. – М., 2014. – 14 ноября. – Режим доступа: <http://gefeter.ru/archive/13513> (Дата посещения: 06.02.2017.)
- Polegkiy O. Soviet Mythology and memory of World War II as instruments of russian propaganda // WEEReview. – Warsaw, 2016. – Vol. 6. – P. 77–89.
- Viatrovych V. Soviet myths about World War II and their role in contemporary Russian propaganda // Euromaidan press. – 2015. – August 28. – Mode of access: <http://euromaidanpress.com/2015/08/28/soviet-myths-about-world-war-ii-and-their-role-in-contemporary-russian-propaganda/#arvlbdata> (Accessed: 12.02.2017.)

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

И.В. Фомин*

КАТЕГОРИЯ ВООБРАЖАЕМОСТИ В КОНЦЕПЦИЯХ КОРНЕЛИУСА КАСТОРИАДИСА И ЧАРЛЬЗА ТЕЙЛОРА¹

Аннотация. Статья посвящена понятию социальной воображаемости (imaginary). Анализируются и сопоставляются концепции социальной воображаемости в работах Корнелиуса Касториадиса и Чарльза Тейлора. Обсуждается сущность социального воображаемого, роль воображаемого в жизни общества и онтологический статус социальной воображаемости. Рассматривается вопрос о месте социальной воображаемости и радикального воображаемого в понятийном и методологическом аппарате обществоведения.

Ключевые слова: воображаемость; социальная воображаемость; социальное воображаемое; воображение; Касториадис; Тейлор.

I.V. Fomin

On the category of imaginary in the conceptions of Cornelius Castoriadis and Charles Taylor

Abstract. The article explores the category of social imaginary. The conceptions of social imaginary proposed by Cornelius Castoriadis and Charles Taylor are analyzed

* **Фомин Иван Владленович**, кандидат политических наук, научный сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН, e-mail: fomin.i@gmail.com

Fomin Ivan, Center for Advanced Methods of Social Sciences and Humanities, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: fomin.i@gmail.com

¹ Более ранняя версия настоящей статьи была опубликована в третьем выпуске ежегодника «МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин»: Фомин И.В. Категория социальной воображаемости // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 3. – С. 115–130.

Публикуемая здесь дополненная редакция статьи подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ), проект «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход» № 16-23-20009.

and compared. The nature of social imaginary, its social functions and its ontological status are studied. The analytical potential of the concepts of social imaginary and radical imaginary is discussed.

Keywords: social imaginary; imaginary; imagination; Castoriadis; Taylor.

Наблюдая за тем, как мы используем свой язык, можно заметить, что смыслы, имеющие отношение к получению и представлению знаний, передаются зачастую словами, так или иначе связанными с визуальным восприятием. И такой перенос происходит не только в обыденной речи (например, англ. *I see* – «я понимаю»), но и в научном и философском дискурсах. При внимательном рассмотрении набора используемых в науке понятий можно обнаружить целый ряд широко распространенных концептов, имеющих метафору визуального в своей основе. Слово *идея*, например, происходит от др.-греч. *idéa* «вид, образ», а «теория» – от др.-греч. *θεωρία* «смотрение, наблюдение». Ведя речь о познании мира, мы часто говорим о разных *точках зрения, перспективах и оптиках*, разбираемся в *картинах мира и мировоззрениях*. Будучи метафорически обогащена когнитивными смыслами, метафорическая визуальность приобретает различные оттенки. Мы *рассматриваем и наблюдаем, воображаем и рефлексируем*.

В понятии воображения идея видимости оказывается совмещена с идеей созидания. Мы можем метафорически представить воображение как *ex nihilo* созидающее «в́идение» – как акт «в́идения», который оказывается слит с актом сотворения своего видимого. В данном тексте мы постараемся сфокусироваться именно на этом специфическом способе «смотрения»¹, обсудив такую категорию, как социальная воображаемость² (*imaginary* (англ.), *imaginaire* (фр.)).

Категория воображаемости в ее феноменологическом и психоаналитическом измерениях вошла в научный обиход прежде всего благодаря работам Жан-Поля Сартра [Сартр, 2001] и Жака Лакана [Лакан, 1995]. Впоследствии она была отчасти переосмыслена Корнелиусом Касториадисом [Castoriadis, 1998] и заняла свое место в дискурсе наук об обществе благодаря таким авторам, как Бенедикт Андерсон, Чарльз Тейлор и Йохан Арнасон [Андерсон, 2001; Arnason, 1989 a; Arnason, 1989 b; Taylor, 2004; Taylor, 2007].

¹ О некоторых других концептах, основанных на метафорическом знании-смотреии, см.: [Фомин И.В. Метафорическая... 2016].

² Слова *воображаемое* и *воображаемость* в этом тексте используются как синонимы.

В настоящей работе мы сосредоточим свое внимание на концепциях Касториадиса и Тейлора, обратившись к разъяснениям, которые эти авторы дают в своих трудах по поводу сущности социального воображаемого, его онтологического статуса и роли воображаемого в жизни общества. Мы также обратимся к вопросу о месте категории воображаемого в ряду обществоведческих объяснительных инструментов. Основными источниками при этом для нас послужат книги «Воображаемое установление общества»¹ Касториадиса [Castoriadis, 1998] и «Социальные воображаемости Модерна»² Тейлора [Taylor, 2004].

Как можно надеяться, через анализ точек зрения Касториадиса и Тейлора для категории социальной воображаемости может быть продемонстрирована, с одной стороны, вся ее важность и продуктивность, а с другой стороны, – все многообразие и неоднозначность ее трактовок.

Категория воображаемого у Конелиуса Касториадиса

Концепция социального воображаемого Корнелиуса Касториадиса отталкивается от ряда идей, высказанных Жаком Лаканом [Лакан, 1995], у которого воображаемое выступало в качестве элемента триады интрапсихических регистров *«реальное – воображаемое – символическое»*. Для Касториадиса одной из отправных точек в разработке концепции социального воображаемого выступает критика так называемого «функционалистского» (в первую очередь марксистского) взгляда на общественные институты, в соответствии с которым существующие институты исчерпывающим образом объясняются теми рационально постигаемыми функциями, которые этими институтами выполняются. Такой подход Касториадис считает несостоятельным [Castoriadis, 1998, p. 116]. Функционалистский анализ институтов, будь он возможен, потребовал бы выявления некоторых «реальных» потребностей общества, целям

¹ Работа издавалась на русском языке [Касториадис, 2003]. В настоящем тексте цитаты из нее сверены или частично заново переведены автором статьи по англоязычному изданию [Castoriadis, 1998].

² На русском языке книга не издавалась, однако существует перевод фрагмента «Что такое социальное воображаемое?» [Тейлор, 2010] из книги Тейлора «Секулярная эпоха» [Taylor, 2007].

удовлетворения которых должны были бы соответствовать институту. Однако задача выявления таких «реальных» потребностей, по мнению Касториадиса, сама по себе не имеет смысла, ведь потребности человеческого общества не сводятся к простому набору биологических нужд, а формируются каждым конкретным социумом в каждый конкретный момент истории, и этот процесс не носит чисто рационального характера [Castoriadis, 1998, p. 116–118].

По мнению Касториадиса, построение институтов невозможно без символического, поскольку они оформляются в виде построений на символическом языке, используемом в том или ином обществе. При этом символический язык никогда не может быть нейтрален – он всегда детерминирован природными и историческими условиями, в которых он сформировался, и всегда в какой-то мере ограничивает свободу высказываний, которые на нем можно произвести. В связи с такой ограниченностью и ненейтральностью символического языка возможность рационального дизайна институтов, как и функционалистского подхода к их анализу, ставится Касториадисом под сомнение [ibid., p. 118–127]. Он показывает, что если мы станем подвергать марксистскому или психоаналитическому анализу тот или иной общественный институт, то окажется, что исчерпывающее объяснение института только через функциональный его аспект невозможно.

В качестве иллюстрации, можно рассмотреть, например, обряд инициации, который в том или ином виде существует во многих архаичных обществах. При попытке функционалистского анализа этого института исследователь столкнется с тем, что функциональная нагрузка такого рода институтов во всех случаях в общем одинакова, а вот множество деталей и нюансов, существующих в той или иной церемонии, никак напрямую функциональным аспектом не объясняются. Поставив же задачу дать объяснение деталям, функционалист вынужден будет выстраивать свой анализ как серию редукций, на каждом этапе рассмотрения вновь получая некоторый функциональный компонент и «что-то еще». Такого рода разбор в какой-то момент дойдет до своего предела. Произойдет это тогда, когда на очередном этапе предметом рассмотрения окажутся символы, для которых невозможно будет разделение на функциональный компонент и «что-то еще» [ibid., p. 129–131]. На этом этапе, как описывает Касториадис, будучи последовательно синтезированы, полученные предельные элементы окажутся обладающими «нерасчленимым смыслом», «как если бы они брали свое начало от какой-то первичной устанавливаю-

щей операции». И этот смысл, «активный сам по себе», «располагается на совсем ином уровне, чем любая функциональная детерминация» [Castoriadis, 1998., p. 130–131]. Именно в ускользящем «чем-то еще» и в этом свободном от детерминаций первоустанавливаемом смысле и проявляет себя воображаемое.

Таким образом, социальное воображаемое оказывается возможным проследить лишь косвенным образом. Его проявление может быть метафорически описано как люфт между актуальным устройством общества и функционально-рациональным его замыслом; как последовательно действующая деформирующая сила, оказывающая воздействие на систему социальных субъектов, объектов и связей между ними; «как искривление, особое для каждого социального пространства». Продолжая ряд метафор, Касториадис пишет, что воображаемое действует как «невидимый цемент, удерживающий вместе бесконечный набор рациональных, реальных и символических разрозненных кусочков, из которых состоит всякое общество». Оно есть принцип, в соответствии с которым отбираются и оформляются элементы, составляющие общество [ibid., p. 143].

Как объясняет Касториадис, судить о социальном воображаемом самом по себе мы можем лишь на основании связанных с ним результатов, последствий и производных. Или, иными словами, только на основании «затенений» (Abschattungen), созданных им в пространстве социальных действий. Прямым же образом, непосредственно, «лично» социальное воображаемое перед нами никогда не предстает [ibid., p. 141–142].

Ускользящая природа социального воображаемого связана со специфической природой значений (significations), его составляющих. В сфере воображаемого означаемое, к которому отсылает означающее, почти невозможно уловить как таковое. «Его “способ бытия” по определению есть способ его “небытия”» [ibid., p. 141].

Особенность значений из сферы воображаемого можно проследить, сравнив их с обычными значениями, работающими по принципу репрезентации. Так, например, никто не спутает слово *дерево* с реальным деревом, однако все уже не так просто, если мы обратимся, например, к слову *кентавр*. Даже несмотря на то что неотжественность слова «кентавр» и воображаемого существа очевидна и мы можем указать означаемое, соответствующее слову *кентавр*, описав его с помощью слов, уже в этом случае работы с порождениями воображаемого обнаруживается определенная проблема. И она состоит в том, что для культур, переживавших мифологическую реальность кентавров, они были чем-то большим, чем то, что

даст нам простое описание этого существа [Castoriadis, 1998, p. 141]. И с еще большей проблемой мы столкнемся при анализе сложных воображаемых значений, таких как, например, «Бог».

Как отмечает Касториадис, Бог не является ни значением, имеющим отношение к реальному, ни значением, связанным с рациональным. Не является он и символом чего-либо. Однако неправомерным будет сказать, что Бог есть лишь имя, поскольку исторический феномен, связанный с Богом и верой в него, очевидно делает Бога намного большим, чем просто имя. Бог выступает в системе религиозных символов как организующий принцип для означающих и означаемых, поддерживая их единство, создавая условия для их расширения, умножения и изменения. При этом сам Бог является воображаемым значением, не будучи причастен ни к осязаемому, ни к мыслимому [ibid., p. 139–140].

По мнению Касториадиса, воображаемые значения, строго говоря, не работают по принципу репрезентации. Те из них, что относятся к первичным (как в случае с Богом), не денотируют вообще ничего, коннотируя при этом все [ibid., p. 143].

Помимо центрального первичного воображаемого значения существуют и вторичные, возникающие вокруг него. Касториадис приводит в этом случае пример с институционализацией семидневной рабочей недели. Мы можем вывести установление этого института в таком виде, объяснив это через фрейдистскую интерпретацию числа «семь» или же через отсылку к определенным фактам и обычаям труда. Однако важно обратить внимание на другое: несмотря на то что это установление было произведено по таким вполне земным причинам, оно потом оказывается экспортировано в область божественного (семь дней творения), а затем реимпортировано в форме сакрализованного института: седьмой день недели становится днем отдохновения и почитания Господа. И это влечет целый ряд социально значимых последствий [ibid., p. 129]. Первым из них становится ветхозаветное побивание камнями человека, собиравшего в пустыне дрова в день субботы (Чис. 15: 32–36). Среди более поздних следствий Касториадис называет уровень нормы прибавочной стоимости (зависит от количества рабочих и нерабочих дней), форму кривой частоты совокуплений в христианском обществе (достигает максимума раз в семь дней) и «смертельную скуку английских воскресений» [Castoriadis, 1998, p. 129].

Отметим также, что уже упоминавшееся выше множество нюансов и деталей, окружающих обряд инициации, также возникает, по мнению Касториадиса, в соответствии с тем же механиз-

мом: вокруг функциональной задачи засвидетельствования перехода члена общества из одного состояния в другое нарастают разнообразные правила, обряды и символы, «заряженные» воображаемыми значениями [Castoriadis, 1998, p. 129–130].

Большое влияние воображаемого на общественные институты не есть что-то, присущее только архаичным обществам. Современное общество, пытающееся максимально рационализировать свою жизнь, пронизано воображаемыми значениями в не меньшей степени, а может быть, даже и в большей. Например, Касториадис отмечает, что чтобы относиться к человеку как к вещи или как к чисто механической системе (как это происходит в современном обществе), требуется не меньшее, а даже большее задействование воображения, чем, например, для того чтобы относиться к человеку как к сове или какому-то другому животному [ibid., p. 156–158].

Кроме того, современному обществу, как выражается Касториадис, присуща «постоянная власть силлогизма». При этом, однако, силлогизм черпает свои посылки из воображаемого. А сама по себе навязчивая идея рациональности, будучи оторвана от всего остального, произвольная в своих целях, становится псевдорациональностью. Она формирует «воображаемое второго порядка», становясь самоцелью и стремясь лишь к пустой и формальной рационализации [ibid., p. 156–157].

Воображаемое, таким образом, оказывается в равной степени важно для любых человеческих обществ. Оно единственное позволяет ответить на фундаментальные вопросы, на которые пытается дать ответы любое общество. Эти вопросы: кто мы есть как коллектив? Чем мы являемся друг для друга? Где мы, чего хотим, к чему стремимся и чего нам недостает? Иными словами, всякое общество вопрошает о своей идентичности, о своей структуре, об окружающем мире и своем к нему отношении, о своих потребностях и желаниях – и получает ответы в области воображаемых значений [ibid., p. 146–147].

Рассматривая вопрос о том, как выстраивается посредством воображаемых значений идентичность общества, Касториадис обращает внимание на то, каким образом функционирует имя, которым та или иная общность себя называет: «На первый взгляд, это условное и произвольное имя, но столь ли оно условно и произвольно?» [ibid., p. 147–148]. В случае с именем коллектива означающее отсылает к двум означаемым, которые оно объединяет. Это имя обозначает соответствующую общность людей, но не сводится к простому присвоению названия. Оно содержит также указание на

некоторое подразумеваемое свойство, на некоторое качество обозначаемого коллектива [Castoriadis, 1998, p. 148].

«Мы попугаи». «Мы Сыновья небесные». «Мы – дети Авраама, народ, избранный Богом». «Мы себя называем или другие нас называют германцами, франками, немцами, славянами». «Мы дети Бога, пострадавшего за нас». Об этих обозначениях нельзя говорить лишь как об именах, указывающих на совокупность членов соответствующего коллектива, выделенного в соответствии с критерием наличия некоторых недвусмысленных внешних признаков (ср.: «Мы жители XX округа Парижа») [ibid., p. 148].

В случае с административным делением современного общества такое не нагруженное коннотативными смыслами обозначение еще может быть возможно, но в случае с историческими общностями прошлого дело обстоит иначе. В их случае имя не сводится к простому денотированию коллектива – оно его коннотирует, и эта коннотация отсылает к означаемому, которое не принадлежит и не может принадлежать ни плану реального, ни плану рационального, а лишь сфере воображаемого [ibid., p. 148].

Аналогичным образом укоренены в воображаемом оказываются и нации. Они создают свою идентичность через воображаемую отсылку к общей истории. И воображаемой эта отсылка оказывается сразу в трех аспектах: во-первых, история – это нечто прошедшее; во-вторых, она не такая уж и общая; в-третьих, те сюжеты, которые мыслятся как исторические основания коллективной идентичности, в основном являются мифами. Однако, как настаивает Касториадис, мистификационная, основанная на воображении природа наций отнюдь не должна быть поводом для пренебрежения ими. Ведь исторические эффекты, производимые этими порождениями воображения, оказываются весьма значительными [ibid., p. 148–149].

Другой фундаментальный вопрос, ответ на который черпается из области воображаемого, – вопрос о мире, в котором существует то или иное общество. Всякий коллектив пытается сформировать свой образ мира, единство означаемых и означающих, в котором зафиксированы все значимые для коллектива элементы природы и указано место самого коллектива в мире. В образе мира структурированно откладывается вся совокупность наличного человеческого опыта. При этом картину составляют рационально определяемые элементы мира, но целостную картину они формируют, оказываясь подчинены воображаемому, а не рациональным значениям [ibid., p. 149].

Образ мира и образ Себя всегда связаны друг с другом. И связь эта основывается на том, что каждое общество определяет себя через свои потребности, т.е. через соотнесение с элементами мира, которые имеют смысл и ценность в этом обществе. Общество формулирует для себя набор вещей, необходимых для его существования, и самоопределяется через деятельность, направленную на обеспечение достаточного количества этих вещей. Касториадис особенно подчеркивает, что речь не обязательно идет о материальных вещах, приводя пример «праведности» как одной из возможных необходимых для общества вещей [Castoriadis, 1998, p. 149–150].

Даже когда речь идет об удовлетворении вполне материальных потребностей, таких, например, как потребность в пище, все равно они приобретают статус общественных потребностей только через некоторую культурную переработку. И функционалистская интерпретация истории несостоятельна, по мнению Касториадиса, в качестве «последней» интерпретации именно по той причине, что она, объясняя общественные потребности, игнорирует их неотъемлемую культурную составляющую. Он пишет: «Мы не знаем общества, в котором удовлетворение потребности в пище, одежде и жилье подчинялось бы чисто “утилитарным” или “рациональным” соображениям. Нам неизвестна культура, в которой не наблюдалась бы иерархия пищевых продуктов и не было бы “нечистой” пищи» [ibid., p. 149–150].

Важно подчеркнуть, что, например, иерархизация пищи связана, как считает Касториадис, отнюдь не всегда с питательными свойствами продуктов или с их доступностью / недоступностью. Природная данность в этой ситуации выступает отправной точкой, но не детерминирует иерархизацию напрямую. Можно проиллюстрировать данную идею, отметив, что для того или иного народа множество доступных съедобных вещей обычно не тождественно множеству того, что считается в этом обществе пищей. Равно как не совпадают и системы иерархизации продуктов питания в разных обществах.

Ценность и обесценивание тех или иных продуктов питания и прочих объектов происходит через их связь со значениями из области воображаемого. Именно благодаря этим значениям структурируются и иерархизуются множества объектов [ibid., p. 150].

Наряду со структурированием образа мира и аналогичным же образом – относительно набора определенных обществом для себя потребностей – происходит и структурирование самого общества. В случаях когда коллектив строится на принципах тотемиз-

ма, структура общества формируется изоморфно различиям, которые это общество усматривает в мире объектов или среди сил природы (тот или иной клан соотносит себя с определенным животным, стихией и т.д.) [Castoriadis, 1998, p. 150–151].

Есть и другой вариант структурирования общества. В некоторых обществах объекты могут рассматриваться как нечто второстепенное по отношению к абстрактным представлениям о деятельности по их производству. И тогда структура общества строится изоморфно системе различий видов деятельности. То есть речь идет уже не о клановой структуре, а о кастовой. И переход к такому принципу структурирования общества обычно предполагает рост его размеров, а также некоторое технологическое развитие [ibid., p. 151].

Следующим логичным шагом было бы поставить вопрос о том, откуда берет происхождение классовое разделение общества. И здесь Касториадис обращается к критике двух марксистских схем, которые претендуют на такое объяснение. Первая схема объясняет возникновение классов наличием излишков, которое делает возможным эксплуатацию. Вторая – ставит каждую конкретную классовую структуру в зависимость от соответствующего этапа исторического развития [ibid., p. 151–152].

Обе схемы Касториадис признает несостоятельными. В первом случае он указывает на то, что предложенная картина объясняет лишь механизм появления возможности возникновения классов, но не объясняет, почему их возникновение стало в какой-то момент необходимым. Вторая же схема, по мнению Касториадиса, несостоятельна ввиду того, что не может объяснить, по какой причине формы социального разделения столь сильно варьируются во времени и пространстве, притом что в плане развития техники такого разнообразия мы не наблюдаем [ibid., p. 151–152].

Таким образом, вопрос о возникновении классового расслоения покрыт тайной. Однако это, как настаивает Касториадис, не должно мешать сделать следующее крайне важное заключение. В какой-то момент люди перестали воспринимать друг друга как союзников, соперников или врагов и начали относиться друг к другу как к объектам, которыми можно обладать. И именно это сделало возможным классовую эксплуатацию. Таким образом, рабство стало возможным в результате действия воображаемого – в результате того, что человек в какой-то момент вообразил значение, склоняющее к овеществлению Другого [ibid., p. 154].

Несмотря на продемонстрированную Касториадисом важность и повсеместное присутствие воображаемых значений, мы, однако, как уже отмечалось выше, никогда не можем их наблюдать напрямую. Происходит это оттого, что воображаемое, для того чтобы проявляться, всегда нуждается в символическом и может существовать лишь посредством символического [Castoriadis, 1998, p. 127].

Вместе с тем важно подчеркнуть и другое: символическое, в свою очередь, для того чтобы существовать, нуждается в воображаемом, поскольку именно в силу действия воображаемого возможна репрезентация – соединение означающего и означаемого посредством воображаемой связи. И здесь Касториадис вводит понятие радикального воображаемого – как принципиальной способности вызывать образы. Радикальное воображаемое, таким образом, оказывается общим корнем, из которого происходит и актуальное воображаемое (все воображаемые значения), и символическое [ibid., p. 128].

В своих рассуждениях Касториадис идет дальше, утверждая, что не только символическое, но и функциональное, и рациональное суть отпочкования от радикального воображаемого. И вообще задача разграничения функционального, воображаемого, символического и рационального применительно ко всем обществам, за исключением Запада двух последних веков и нескольких моментов греческой и римской истории, наталкивается на невозможность придать этому разграничению ясный последовательный смысл, который был бы действительно значим для рассматриваемых обществ [ibid., p. 160–164]. Иными словами, такого разграничения во всех обществах, исключая названные, просто не существовало или не существует. «Воображаемое не просто выполняет функцию рационального – оно есть его форма, оно содержит его в себе в первоначальной и бесконечно плодотворной неразличимости» [ibid., p. 163].

Касториадис подчеркивает, что, говоря о воображаемом, он не имеет в виду отражение, фикцию, образ «чего-либо». Для него воображаемое представляет собой непрерывное, недетерминированное по своей сути созидание символов, форм и образов ex nihilo, которое только и может дать основание для рассуждений о некотором «чем-то». «То, что мы называем “реальностью” и “рациональностью”, суть результаты этого творчества» [ibid., p. 3]. Таким образом, для Касториадиса воображаемое выступает как базовое креативное начало, ключевыми характеристиками которо-

го оказываются неразличимость и недетерминированность. А основную его функцию можно определить как создание возможности для упорядочения природного и социального мира.

Категория социальной воображаемости у Чарльза Тейлора

В работах Тейлора, как и у Касториадиса, категория воображаемости выступает одной из центральных. Разъясняя свою концепцию социальной воображаемости, Тейлор прежде всего подчеркивает, что социальная воображаемость – это не набор неких интеллектуальных схем, которые используются в рассуждениях о жизни общества. Социальная воображаемость есть нечто более глубоко залегающее и более широко распространенное. Она, по мнению Тейлора, складывается из того, как люди воображают для себя:

- 1) свое существование в обществе;
- 2) свое сосуществование с другими членами общества;
- 3) свои ожидания в отношении общества;
- 4) нормативные предписания в отношении общества;
- 5) а также образы, на которых такие предписания основываются [Taylor, 2004, p. 23].

Тейлор проясняет специфику понятия социальной воображаемости через ее отграничение от понятия социальной теории. При этом он, в частности, отмечает, что если носителем социальных теорий выступает меньшинство (достаточно узкая группа интеллектуалов), то социальное воображаемое разделяемо самыми широкими слоями людей, если даже не всем обществом. Этим определяется и специфический для социального воображаемого способ существования: оно существует в форме мифов, легенд, историй и прочих нарративов, а не в форме набора теоретических понятий [ibid., p. 23].

Социальная воображаемость, по мнению Тейлора, – это то, что делает возможным общие социальные практики и разделяемые всем обществом представления о легитимности. И такая его функция становится возможной опять же благодаря тому, что воображаемые значения разделяемы всеми членами общества [ibid., p. 23]. При этом отношения между социальным воображаемым и актуальными общественными практиками носят двусторонний характер: воображаемое, как уже указывалось, делает общие практики воз-

можными, а практики, в свою очередь, поддерживают существование воображаемых представлений [Taylor, 2004, p. 25].

Подчеркивая различия теоретических и воображаемых представлений об обществе, Тейлор, однако, отмечает, что зачастую идеи, сформировавшиеся в рамках теорий, проникают в область общественного воображаемого. Первыми начинают импортировать теоретические значения в сферу воображаемого представители элит, затем может происходить инфильтрация значений и в воображаемое всего общества. Именно это, как считает Тейлор, произошло с теориями Гуго Гроция и Джона Локка [ibid., p. 24].

Тейлор, как и Касториadis, отводит социальному воображаемому очень важную роль, указывая, что по большому счету общество может существовать, лишь если существуют общие воображаемые значения. Ведь именно в них, как считает Тейлор, содержатся ожидания членов общества в отношении друг друга, и благодаря этому становятся возможны общие социальные практики. По мнению Тейлора, благодаря воображаемому члены общества имеют представление о том, каким образом они в процессе реализации общих практик друг с другом сопрягаются (fit together) [ibid., p. 23–26].

Интересной особенностью социального воображаемого в тейлоровском понимании оказывается совмещение в нем представлений о фактическом и нормативном. Таким образом, члены общества благодаря социальному воображаемому имеют представление и о том, как реализуются социальные практики, и о том, какие действия могут эти практики сделать невалидными [ibid., p. 24].

Такую особенность воображаемых значений Тейлор иллюстрирует на примере института всеобщих выборов. Как объясняет Тейлор, в отношении данного института у каждого гражданина существует набор представлений о том, каким образом совместные его действия и действия его сограждан обеспечат принятие некоторого общего решения. Помимо этого, у каждого гражданина есть и представление о том, какие действия других членов общества могут сделать процедуру выборов невалидной, а результат нелегитимным, – и в этом находит проявление нормативный аспект социального воображаемого [ibid., p. 24].

При этом нормы и идеалы, устанавливающие в социальном воображаемом нормативные представления о конкретных практиках, оказываются состоятельными, лишь будучи подкреплены некоторым общим метафизическим моральным порядком. И аналогичным же образом представления о конкретных институтах

опираются на некоторое общее широкое представление о сопряжении людей в обществе, о состоянии общества, о том, как одни общности людей соотносятся с другими, и т.д. [Taylor, 2004, p. 25].

Такого рода общие широкие представления суть неструктурированные и неартикулированные образы, в которых мир предстает в тех его аспектах, которые имеют смысл в данном обществе. И, как признает Тейлор, этим широким представлениям о мире присущи неопределенность и отсутствие четких границ. При этом, однако, они находятся в тесной двухсторонней связи с репертуаром практик, бытующих в обществе, обуславливая существование друг друга [ibid., p. 24–25].

Следуя Тейлору, рассмотрим пример того, как функционирует социальное воображаемое в случае с реализацией такой практики, как уличная демонстрация. Тейлор начинает обсуждение данного примера с указания на ряд существенных и необходимых по умолчанию (хотя и не столь очевидных) условий. Тот факт, что кем-то организуется демонстрация, прежде всего подразумевает, что такого рода выступления уже наличествуют в репертуаре действий, присущем данному обществу. То есть у членов общества есть некоторый навык – знание, как и что нужно делать. Тейлор пишет: «Мы знаем, как строиться в колонны, как разворачивать транспаранты и знамена, как маршировать. И мы понимаем также, что, совершая все эти действия, необходимо оставаться в пределах неких границ, как пространственных (в некоторых публичных местах демонстрации запрещены), так и этических (например, в плане воздержания от насилия). Мы понимаем ритуал» [ibid., p. 26].

Кроме того, предполагается наличествование фонового понимания, которое делает демонстрации возможными и социально осмысленными. Оно носит сложный характер, но одним из важных его слагаемых является представление о коммуникации, о речевых актах, в которые мы вступаем, участвуя в общих практиках. То есть в качестве элемента фонового понимания можно выделить представление о речевой интеракции некоторых адресантов и адресатов, которые находятся в тех или иных отношениях друг с другом [ibid., p. 26–27].

Ссылаясь на Бахтина, Тейлор отмечает, что, как и всякий речевой акт, такое взаимодействие отсылает к ранее высказанному слову в предвкушении того слова, которое еще только будет произнесено. И в данном случае это означает, что предполагается существование некоторой публичной сферы, в рамках которой члены общества уже считаются вовлеченными в диалог [Taylor,

2004, p. 26–27]. Продолжая список умолчаний, подразумеваемых в случае организации демонстрации, можно отметить необходимость наличия некоторого адресата, которому возможно и необходимо предъявлять некоторые доводы, которого возможно и необходимо убеждать. Более того, именно такая форма интеракции (а не насилие и не смирение) предполагается как нормальная в существующих условиях [ibid., p. 27].

Однако надо отметить один нюанс: ввиду того что в области воображаемого сосуществуют представления о фактическом и нормативном, возможны ситуации, когда, например, мирное антиправительственное выступление избирается как форма высказывания в условиях, когда могло бы быть оправданно вооруженное восстание. И такой выбор следует понимать как приглашение контрагентов к транзиту – к переходу к тому обществу, в котором именно такая форма будет нормальной [ibid., p. 27].

Таким образом, всякая социальная практика оказывается через социальное воображаемое связана с самыми широкими по охвату образами мира, из чего и складывается ее осмысленность. Так, например, в случае с демонстрацией мы можем усмотреть его увязанность с образами, выходящими по своим масштабам на международный и на исторический уровень. Происходит это по той причине, что, выступая с мирной демонстрацией, мы имеем в виду свою отнесенность к числу демократических сообществ и противопоставляем себя сообществам, тиранически управляемым. Кроме того, мы выводим свои действия из некоторого понимания истории своего общества, памятуя, например, о боровшихся за демократическое устройство предках или представляя какой-то образ желаемого будущего для себя и своих потомков [ibid., p. 27–28].

Итак, Тейлор заключает, что фоновое понимание, делающее социальные практики осмысленными, при внимательном рассмотрении оказывается неисчерпаемо глубоко и широко по охвату. И в конечном счете оно не имеет границ, включая в себя все наше мировосприятие – весь набор наших отнесенностей к пространству, времени и Другому [ibid., p. 28].

Таким образом, как и Касториадис, Тейлор приходит к заключению о том, что социальное воображаемое существует как необходимое условие для упорядоченного социального существования, будучи при этом неизбежно размытым, неструктурированным и лишенным четких границ [ibid., p. 25].

В своих работах «Секулярная эпоха» [Taylor, 2007] и «Социальные воображаемости Модерна» [Taylor, 2004] Тейлор исполь-

зует категорию воображаемости прежде всего как инструмент, необходимый для объяснения механизмов, делающих возможными социальные практики, характерные для западной версии модерна. И обращаясь к данному вопросу, ученый, в частности, приходит к выводу о том, что одним из важных механизмов такого рода выступают воображаемые представления о том, как индивиды соотносятся друг с другом в обществе.

По утверждению Тейлора, в западной современной воображаемости индивиды представляются как находящиеся в положении взаимного уважения и взаимного служения. И – что существенно – при этом не предполагается выстраивание какой-либо иерархии на основании разделения обязанностей служения¹ [Taylor, 2004, p. 12–13]. Такого рода современные воображаемые значения Тейлор очерчивает, сопоставляя их с премодерными вариантами ответа на тот же «вопрос» воображаемого.

Первая из премодерных воображаемостей, описываемых Тейлором, предполагает представления о наличии некоторого существующего «с незапамятных времен» Закона, который регулирует жизнь общества и предписывает его иерархизацию. И в качестве примера такой воображаемости Тейлор приводит воображаемость, действовавшую в английском обществе в XVII в., в соответствии с которой через авторитет древней «Конституции» легитимизировались даже идеи восстания против короля [ibid., p. 9].

Второй описанный Тейлором тип премодерной воображаемости предполагает иерархизацию общества, изоморфную иерархизацию космоса. И примером действия такой воображаемости может быть, по мнению Тейлора, легитимация общественной иерархии через метафорические аналогии между социальными отношениями и природными («король среди людей – лев среди зверей – орел среди птиц») [ibid., p. 9–10].

Таким образом, в обоих описанных Тейлором случаях премодерные воображаемости легитимизируют установление в обществе той или иной иерархии и этим отличаются от воображаемости современной.

Как считает Тейлор, современная социальная воображаемость не может рассматриваться сегодня как однозначно и повсеместно доминирующая даже в западном обществе. Он указывает, что целые сферы жизни могут находиться за пределами ее воздей-

¹ Ср.: структура идеального государства Платона, «молящиеся – воюющие – трудящиеся» средневековой Европы.

ствия. В качестве одного из примеров областей, где современные воображаемые значения пока не реализовались полностью, Тейлор приводит сферу семейных отношений, отмечая, что здесь пока действует скорее премодерный принцип неэгалитарной, иерархической комплементарности, нежели принцип взаимного служения на равных правах [Taylor, 2004, p. 15–16].

Однако, по мнению Тейлора, тенденция такова, что воображаемые значения, свойственные модерну, постоянно наращивают свое воздействие и расширяют область своего охвата. Из теоретических построений Джона Локка и Гуго Гроция эти значения, как считает Тейлор, проникли в социальное воображаемое и теперь уже долгое время осуществляют в этой сфере свою экспансию [ibid., p. 7–8].

* * *

Подводя итоги обзора концепций воображаемого Касториадиса и Тейлора, обратимся к вопросу о сходствах и различиях этих двух наборов идей.

Пожалуй, главное расхождение между рассмотренными концепциями заключается в различиях онтологического статуса воображаемости, который предполагает каждый из авторов. Расхождения обнаруживаются в вопросах о первичности и детерминированности, встающих при обсуждении отношений между социальным воображаемым и социальными практиками (или институтами). Если Касториадис прямо настаивает на тезисе о первичности и недетерминированности воображаемых значений, то тейлоровскую концепцию столь однозначно толковать не получается, поскольку для Тейлора воображаемое существует в неразрывной связи с практиками, возможность которых обеспечивает. При этом косвенно Тейлор признает, что практики возможны и как «импровизация», т.е. в условиях отсутствия соответствующего воображаемого [ibid., p. 29–30]. Таким образом, для Тейлора воображаемое если не детерминировано практиками, то по крайней мере необязательно первично по отношению к ним. Пожалуй, наиболее точной интерпретацией мыслей Тейлора будет сказать, что практики и воображаемость детерминируют друг друга, не занимая при этом фиксированных позиций детерминанты и детермината.

Несмотря на такого рода существенные расхождения между концепциями Касториадиса и Тейлора, во многих важных вопросах

авторы занимают сходные позиции. Сходятся они, в частности, в вопросе о том, какова структура области воображаемого. Оба признают, что воображаемое есть нечто – в силу самой сути своей – неопределенное, неструктурированное и лишенное четких границ.

Также Касториадис и Тейлор очень схожим образом обрисовывают набор «вопросов», на которые «отвечает» воображаемое. И, обобщая их позиции, мы можем констатировать, что в области воображаемого, по мнению обоих авторов, находятся значения, связанные, во-первых, с воображением себя, во-вторых – с воображением других, в-третьих – с воображаемым порядком устройства мира и общества.

Таким образом, Тейлор и Касториадис, расходясь во мнениях касательно онтологического статуса воображаемого, схожим образом очерчивают нишу, которую оно призвано заполнять. А на само наличие такой ниши в равной степени указывают и недостаточность функционалистских объяснений институтов, на которую ссылается Касториадис, и необходимость существования общих когнитивных оснований для реализации социальных практик, которую обрисовывает Тейлор. Более того, и Касториадис, и Тейлор сходятся во мнениях о том, что касается всепроникающего характера воображаемого и его важности в жизни общества. Оба автора соглашаются, что упорядоченное существование общества становится возможно именно благодаря воображаемому.

Это подводит нас к одному важному заключению о том, что касается места категории воображаемого в инструментарии общественных наук. Как представляется, в настоящее время потенциал исследований, ориентированных на исследование воображаемости, реализуется отнюдь не в полную силу. И сама обсуждаемая здесь категория не занимает того места, которое она могла занять, будь ее объяснительные возможности полностью задействованы. При этом запрос на такого рода категорию в обществоведческом дискурсе присутствует: повсеместно исследователи упираются в вынужденную необходимость объяснения тех или иных социальных явлений через особенности *ментальности*, *культуры* и т.д. А все эти понятия тем временем порождают по большому счету больше вопросов, чем ответов. Категория воображаемости в данном контексте может оказаться более продуктивной. Сущностными чертами воображаемого являются неструктурированность и отсутствие четких очертаний. Поэтому эти свойства могут быть отправной точкой для дальнейших построений, не образуя тупика в рассуждениях исследователя и не подрывая возможности даль-

нейшей дискуссии. И именно в этом состоит ее главное достоинство, если сравнивать ее, скажем, с категорией ментальности. Там, где *ментальность* используется для того, чтобы прикрыть отсылку к некоторым туманным и неоднозначным представлениям, *воображаемость* может на такого рода представления более четко указать. Категория воображаемости позволяет также отграничить область неструктурированных значений от иных областей социальной реальности и прояснить ее к ним отношение. Кроме того, обращение к изучению воображаемых значений по линиям основных «вопросов» воображаемого открывает возможности понимания и изучения этой туманной области.

В качестве одного из возможных векторов для развития категории социальной воображаемости представляется продуктивным соотнести ее концепцией Джона Остина о перформативных речевых актах (т.е. о таких высказываниях, которые сами по себе являются действиями)¹. Остин рассуждает об условиях, в силу которых те или иные перформативы могут оказываться удачными (*happy*) или неудачными (*unhappy*) [Austin, 1974, p. 12–24], и ряд такого рода условий [ibid., p. 12–24] тесно перекликается с рассуждениями о социальной воображаемости у Чарльза Тейлора. Когда Тейлор ведет речь о том, что именно в области социального воображаемого располагаются умолчания, в силу соответствия которым те или иные практики становятся социально *осмысленными* [Taylor, 2004, p. 26–28], вероятно, даже более уместным было бы употребить именно остиновский термин и сказать, что в силу соответствия ряду таких воображаемых умолчаний практики становятся перформативно *успешными* (*happy*).

Особого внимания и развития заслуживает также категория *радикального воображаемого*, разработанная Касториadisом. Важной областью ее приложения могут быть не только вопросы обществоведческого характера, связанные с задачами объяснения механизмов социального конструирования, но и фундаментальные эпистемологические и методологические проблемы.

Наш ум непрестанно выстраивает имагинативные связи между всевозможными объектами – конструирует отношения означивания, отношения осмысливания, отношения каузальности. При этом такая связывающая работа ума отнюдь не всегда рациональна. Бессозна-

¹ Опыт применения и развития остиновских категорий применительно к исследованиям политических перформативов представлен в: [Ильин, 2016; Фомин, 2016 а; Ефимова, Конохов, Панфилов, 2016; Алексеев, 2016].

тельные ассоциации суть тоже результаты такого воображаемого связывания. Мышление исследователя, как и вообще человеческое мышление, невозможно без способности к воображению. Деятельность исследователя – это всегда работа с воображаемыми объектами: их создание, изменение и изучение. Без воображения невозможным бы оказалось, скажем, оперирование понятиями, как и вообще использование знаков, поскольку для использования оных необходимо вообразить связь между означающим и означаемым. Не было бы возможно и создание ряда других исследовательских инструментов: моделей, идеальных типов, таксономий и, например, цифр – ведь все это суть продукты воображения.

Потенцию, которую Касториadis называет радикальной воображаемостью и на которую он указывает как на необходимое условие для существования всякого символического, можно назвать в числе фундаментальных познавательных способностей человека. По меньшей мере ее стоит рассматривать в качестве одного из универсальных когнитивных примитивов, лежащих в основе всего комплекса исследовательских методов, ориентированных на исследование действительности в аспекте ее символичности – знаковости и осмысленности¹. Таким образом, радикальное воображаемое выступает элементом фундамента для *семиотики*, которую Джон Локк, а через 200 лет после Локка – Чарльз Сэндерс Пирс называли одной из главных ветвей познания [Локк, 1985, с. 200–201; Locke, 1995, p. iv–xxi; Peirce, 1982, p. 303–304].

Впрочем, другие ветви познания (физику и практику у Локка, позитивную и формальную науки у Пирса) реализуемы без задействования радикального воображаемого тоже представить трудно. Не случайно Касториadis увязывает с радикальным воображаемым не только все символическое, но и все рациональное.

Таким образом, категория воображаемости позволяет, во-первых, ошутимо расширить категориальный аппарат наук об обществе, предоставляя возможность в некоторой степени охватить область туманных, непроявленных и неструктурированных смыслов – смыслов, сколь неуловимых, столь и вездесущих, а потому в любом случае всегда неизбежно попадающих в поле зрения исследователя. Во-вторых, эта категория имеет и мощный *козноскопический* потенциал, поскольку она дает возможность для того, чтобы вести речь о когнитивных универсалиях, которые час-

¹ Подробнее о семиотике и семиотических методах см.: [Ильин, Фомин, 2016; Фомин, Ильин, 2016; Фомин, 2015 b; 2015 a].

то ускользают при попытках рефлексии обществоведческого методологического инструментария, – не потому что эти универсалии скрыты, а потому что они «пропитывают собой всю человеческую жизнь без остатка»¹.

Литература

- Алексеев Д.В., Ильин А.М., Ильин М.В. Кто и как закончил Вторую мировую войну? // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 299–316.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: КАНОН-Пресс-Ц, 2001. – 288 с.
- Ефимова Е.А., Конюхов Н.А., Панфилов Д.А. Кто и как начал Первую мировую войну? // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 285–298.
- Ильин М.В. Что может дать анализ перформативов? // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 262–270.
- Ильин М.В., Авдони В.С., Фомин И.В. Методологический вызов. Где границы применимости методов? В чем критерии их эффективности? // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2017. – Вып. 7. – В печати.
- Ильин М.В., Фомин И.В. И смысл, и мера. Семиотика в пространстве современной науки // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 3. – С. 30–45.
- Касториадис К. Воображаемое установление общества. – М.: Гнозис, 2003. – 480 с.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. – М.: Гнозис, 1995. – 192 с.
- Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Книга 4 // Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 2. – С. 3–528.
- Пирс Ч. Принципы философии. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – Т. 1. – 224 с.
- Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология восприятия. – СПб.: Наука, 2001. – 319 с.
- Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – М., 2010. – № 1 (69). – С. 19–26.

¹Разделение *идиоскопического* и *козноскопического* знания разрабатывалось Ч.С. Пирсом (который в свою очередь использовал термины, предложенные Иеремией Бенетом). *Идиоскопическими* науками называются «специальные науки, в основание каждой из которых положен особого рода тип наблюдения, добываемого силами изучающих данную науку ученых посредством путешествий или другого рода разведки, приспособлений, позволяющих получать более совершенные чувственные данные, будь то инструменты или нечто как-то тренирующее чувственность и дополняющее прилежание самого наблюдателя» [Пирс, 2001, с. 187–188]. *Козноскопические* же науки имеют дело с позитивной истиной, но при этом довольствуются «наблюдениями, которые большей частью не выходят за пределы человеческого опыта». «Эти наблюдения не даются нетренированному глазу в точности потому, что их предмет пропитывает собой всю человеческую жизнь без остатка» [там же, с. 187].

- Фомин И. В. Метафорическая визуальность в концептуализациях когнитивного: знание как видение // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016 а. – Вып. 6. – С. 33–45.
- Фомин И. В. Политические исследования в трансдисциплинарной перспективе: возможности семиотического инструментария // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2015 а. – № 2. – С. 8–25.
- Фомин И. В. Семиотика или меметика? К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания // Полис. Политические исследования. – М., 2015 б. – № 2. – С. 72–84.
- Фомин И.В. Перформативы сецессии оспариваемых государств: Южная Осетия, Абхазия, Косово // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016 б. – № 4. – С. 271–284.
- Фомин И.В., Ильин М.В. Зачем семиотика политологам? // Политическая наука. Локк Дж. – М., 2016. – № 3. – С. 12–29.
- Arnason J.P. Culture and imaginary significations // Thesis eleven. – L., 1989 а. – Vol. 22, N 1. – С. 25–45.
- Arnason J.P. The imaginary constitution of modernity // Revue européenne des sciences sociales. – Genève, 1989 б. – Vol. 27, N 86. – С. 323–337.
- Austin J.L. How to do things with words. The William James lectures delivered at Harvard University in 1955 / J.O. Urmson (ed.). – Oxford: Clarendon press, 1962. – 166 p.
- Castoriadis C. The imaginary institution of society. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. – 426 p.
- Peirce C.S. Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. – Bloomington: Indiana univ. press, 1982. – Vol. 1: 1857–1866. – 736 p.
- Taylor C. A secular age. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 2007. – 889 p.
- Taylor C. Modern social imaginaries. – Durham: Duke univ. press, 2004. – 215 p.

Ф. Казула*

**«ПОПУЛИЗМ» И «ГЕГЕМОНИЯ»
У ЭРНЕСТО ЛАКЛО – 10 ЛЕТ СПУСТЯ:
КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО РЕНЕССАНСА
В ЕВРОПЕ¹**

Аннотация. По мере того как правый популизм набирает силу в Западной Европе и США, рефлексия по поводу понятия «популизм» приобретает все большее значение. Десять лет назад один из наиболее выдающихся теоретиков популизма Э. Лакло опубликовал свою книгу «О популистском разуме». Егоopus – продукт долгого опыта осмысления популизма в Латинской Америке, на основе марксистской грамшианской теории и постструктурализма. Автор статьи размышляет о том, в какой мере идеи Лакло могут помочь ориентироваться в современном кризисе демократии и либерализма, в академическом и политическом смысле. Он выделяет основные принципы подхода Лакло, выраженные в ранних и поздних работах этого мыслителя, и указывает на его теоретические и политические проблемы. Автор полагает, что главной проблемой для исследователей современного популизма, вдохновленных подходом Лакло, оказывается формальный характер его анализа, а также недостаточный учет связи между популизмом и неолиберализмом как формой власти.

* **Казула Филипп**, Ph.D. in Sociology, старший сотрудник исторического института Университета Цюриха (Швейцария), стипендиат Швейцарского национального фонда, в настоящее время работает в Университете Манчестера по вопросам советского знания о Ближнем Востоке (Великобритания), e-mail: philipp.casula@manchester.ac.uk, philipp.casula@hist.uzh.ch

Casula Philipp, University of Zürich (Switzerland); currently based as visiting scholar at the University of Manchester (UK), e-mail: philipp.casula@manchester.ac.uk, philipp.casula@hist.uzh.ch

¹Первая версия этой статьи была опубликована в журнале «Widerspruch»: Casula Ph. «Populismus» bei Ernesto Laclau Konzepte zur Analyse der nationalistischen Renaissance in Europa // Widerspruch. – Zürich, 2014. – 33 (2). – S. 179–187. Перевод с немецкого Натальи Штильмарк и автора с разрешения редакции.

Ключевые слова: популизм; Эрнесто Лакло; идеология; неолиберализм; Славой Жижек.

Ph. Casula

**Ernesto Laclau's «populism» and «hegemony» – ten years after:
Concepts for analyzing the nationalist Renaissance in Europe**

Abstract. As right-wing populism seems to gain strength in Western Europe and the United States, a reflection on what «populism» actually means seems more timely than ever. Ten years ago, one of the most prominent theoreticians of populism, Ernesto Laclau, has presented his most advanced study «On populist reason». His opus is fruit of a long-term engagement with Latin American populism, with Gramscian Marxist theory, and with post-structuralism. This paper scrutinizes whether Laclauian thought can help us to navigate academically and politically the current political crisis of democracy and liberalism. It will highlight the main tenets of Laclau's approach in his earlier and later works and then proceed to identify its theoretical and political problems. Most importantly, this paper holds, it is Laclau's formal analysis and his disregard for the link between populism and neoliberalism as a form of power, which are a burden for any analysis of contemporary populism inspired by Laclau's approach. Still, it pushes the political observer to focus on the inner mechanisms of every populism, whatever its contents.

Keyword: populism; Ernesto Laclau; ideology; neoliberalism; Slavoj Žižek.

Популистские и националистические силы во всей Европе сегодня на гребне волны. Во многих европейских странах распространено скептическое отношение к Евросоюзу, экономическому и политическому либерализму, раздаются требования ужесточить иммиграционную политику, наблюдается эрозия экономических достижений. Подтверждают эту тенденцию и ряд выборов, и, конечно, референдум о Брексите в Англии. Все эти примеры заставляют задуматься над тем, что имеется в виду под «популизмом».

Вряд ли найдется хоть одно эссе о популизме, которое не начиналось бы с утверждения о том, что этот феномен многолик; при этом термин нередко используется без определения. Тем не менее над проблемой дефиниции «популизма» поработало немало авторов, среди них Владимир Хорос [Хорос, 1983], Биньямин Ардити [Arditi, 2007], Маргарет Канован [Canovan, 2005], Александр Дорна [Dorna, 1999], Шанталь Муфф [Mouffe, 1993]. И все же вряд ли найдется автор, который бы превзошел в этом отношении Эрнесто Лакло. Родившийся в 1935 г. в Буэнос-Айресе и скончавшийся в 2014 г. в Севилье, политический философ и теоретик дискурса является одним из главных представителей постмарксизма. Его книга «Гегемония и радикальная демократия» (1985), написанная в соавторстве с Шанталь Муфф, актуализировала основные

тезисы Карла Маркса и Антонио Грамши. В книге «*On Populist Reason*» [Laclau, 2005] Лакло возвращается к теме, к которой уже обращался в 1968 г. в «*Política e ideología en la teoría marxista*» [Laclau, 1968]. Несмотря на значительный разрыв во времени, эти тексты обнаруживают замечательную преемственность.

Концепция Лакло опирается на формальный анализ термина «популизм». Как поясняет Александр Дорна, для Лакло «популизм» не является «оригинальной идеей или глобальной теорией» и тем более не предлагает «определенную картину человека или общества». Популизм нацелен на то, чтобы «заново определить волю, общественное благо, из-за чего он [...] может появляться при самых разнообразных организациях и режимах, классах и политических группировках. Соответственно, при его анализе не надо исходить из общественной позиции» [Dorna, 2003]. Для Лакло популизм являет собой «трансцендентально-формальный политический *диспозитив*, который может выливаться в различные политические формы» [Žižek, 2006 a, p. 553]. Такой взгляд отчетливо просматривается уже в его первой книге.

Цель данной статьи – выявить и прояснить сходства и различия между представлениями о популизме в ранних работах Лакло и в более поздних его трудах – и показать, возможно ли (и если да, то как) применить его теорию для анализа националистического ренессанса в Европе, а также при формировании прогрессивной политики.

Политика и идеология в марксизме

В центре ранних трудов Лакло стоит новая интерпретация фашизма, основанная на отказе от марксистского «классового редуционизма» [Barrett, 1991, p. 57–59]. Ссылаясь на Ханну Арендт, Никоса Пуланзаса и Луи Альтуссера, Лакло утверждает, что фашизм не является «классовой идеологией наиболее консервативных и отсталых кругов в континууме, который через либерализм в его правых и левых вариациях приводит к социализму» [Laclau, 1981, p. 122]. Важнее обратить внимание на то, что фашизм как идеология обращается к своим субъектам не как к «рабочему классу», а как к «народу». По Лакло, пример фашизма показывает, что популярные запросы могут быть свободны от классового подхода. Однако в другом месте философ проявляет тот самый классовый редуционизм, который стремился преодолеть в прежних работах: он утверждает, что за по-

пулярными запросами скрываются классовые интересы [Barrett, 1991, p. 57–59]. Здесь уже затронуты две центральные темы, которые Лакло в этом раннем тексте использует для анализа фашизма: популярно-демократические интерpellации и классовая борьба.

Начнем со второй из указанных тем. Позицию Лакло по отношению к понятию «класс» никак нельзя назвать однозначной. С одной стороны, он пытается с ним работать, причем не только в ранних, но и в более поздних трудах, с другой – стремится его преодолеть. Лакло оживляет дискуссию об истоках фашизма и особое внимание обращает на отношение фашизма к определенным классам [Boris, 1979]. Он начинает с обсуждения теории фашизма Никола Пуланзаса. Для Пуланзаса анализ идеологии состоит в том, чтобы «разложить конституирующие элементы соответственно их классовой принадлежности» [Laclau, 1981, p. 83]. Лакло считает это недостаточным. Нельзя просто так отнести элементы к определенным классам. Напротив, «идеологические элементы, рассмотренные изолированно, не обладают неизбежной связью с определенным классом», классовая коннотация возникает лишь как результат артикуляции «в конкретном идеологическом дискурсе», и задача идеологического анализа как раз и состоит в исследовании того, что создает основу единства дискурса [ibid., p. 87]. Это означает, что определенные идеологические элементы не всегда и не обязательно выступают совместно, например, потому что они типичны для какого-то определенного класса. Связь, в которую они вступают, есть результат процесса артикуляции [ibid., p. 207]. Таким образом, может быть понято и то, каким образом фашизму удалось разделить понятия «народ» и рабочий класс. Рабочий класс, со своей стороны, уже «оставил поле популярно-демократической борьбы» [ibid., p. 107], в то время как для мелкой буржуазии популярно-демократические запросы были важнее, чем классовые. Фашизму удалось использовать популярно-демократические интерpellации вне социалистической перспективы, которая поставила бы под вопрос существующий общественный строй [ibid., p. 103]. Таким образом, на примере фашистской идеологии Лакло обсуждает независимость популярно-демократических интерpellаций от определенных классов, но вместе с тем демонстрирует, как они могут быть вплетены в классовые дискурсы. В силу этого теория популярно-демократических интерpellаций и их артикуляция приобретают центральное значение для всей дискуссии.

При этом Лакло опирается на Альтюссера и считает, что идеологии функционируют главным образом благодаря тому, что они

формируют (конституируют) индивида как субъект. Альтюссер называет этот процесс «запросом» (*interpellation*) [Althusser, 2011, p. 88]. Идеология превращает индивида в субъекта, убежденного в том, что он обладает определенными свойствами, заданными данной идеологией [Fetterter, 2006, p. 88–90]. Связав тезисы Альтюссера и Пуланзаса, Лакло приходит к ключевому для себя выводу, что фашизм опирался не столько на классовые интерпелляции, сколько на популярно-демократические [Laclau, 1981, p. 117]. «Кто же тот субъект, к которому обращаются? Это ключевой вопрос для нашего анализа идеологий» [ibid., p. 89]. Что именно следует понимать под «популярно-демократическим», Лакло подробно разъясняет в сноске: «О популярно-демократических интерпелляциях можно говорить только тогда, когда к субъекту, воспринимаемому как народ, обращаются с учетом его антагонистического отношения к господствующему блоку. [...] Демократия понимается здесь как ряд символов, ценностей и т.д. [...] благодаря которым народ осознает свою идентичность через противопоставление с властным блоком» [ibid., p. 192]. Позже, в книге «О популистском разуме» Лакло разграничивает демократические и популистские требования [Laclau, 2005, p. 77–78, 125–128], сохранив, однако, при этом прежнее дескриптивное понимание демократии.

«О популистском разуме» (On populist reason)

Во второй книге Лакло о популизме ощутимо влияние его критических работ о теории гегемонии и теории дискурса. Сохранив важные ключевые положения предыдущей книги – они касаются таких тем, как артикуляция, противопоставление народа и властного блока, а также масштабов популярно-демократического, – Лакло совершенствует и оттачивает понятия и вводит их в дискурсивное понимание политического. Вероятно, важнейшие категории, появившиеся в «О популистском разуме», – «*требование*» и «*пустое означающее*». Новый понятийный инструментарий позволяет Лакло уточнить многие идеи, уже намеченные им в 1977 г. При этом практически отсутствуют любые отсылки к классам и классовой политике. Лакло выделяет различные факторы, характерные для популизма как формы политики [Laclau, 2005, p. 156, 180; Howarth, 2009, p. 34], среди которых призыв к коллективному субъекту, разграничение субъекта и институционализированной системы, которая не

принимает во внимание коллективные требования, а также использование символа, способного представить целостность популистского дискурса. Вместо популярно-демократических интерpellаций Лакло говорит о популярных и демократических требованиях, а это означает, что он их концептуально разделяет¹. Внедрение термина «популизм» в теорию дискурса Лакло приводит к тому, что понятие идеологии, столь значимое в его первой книге, утрачивает свою центральную роль². В контексте дискуссии о популизме «разграничение» между движением и идеологией он считает «нерелевантным». Важна «детерминация дискурсивных последовательностей (или *секвенций*), через которую социальная сила или движение являет свою политическую активность» [Laclau, 2005, p. 13]. Благодаря дискурсивно-теоретическому подходу Лакло может лучше оценить ту роль, которую играют популистские лидеры, причем не как физические лица или политические акторы, а как наиболее популярные репрезентанты всех требований популистского дискурса.

Как и в первой книге, Лакло описывает политическое поле как расколотое, причем он проводит границы между «народом» и доминирующей идеологией, «властным блоком» [Laclau, 1981, p. 151], институциональной системой [Laclau, 2005, p. 73] или институционализированным «другим» (там же, 117). Эта институциональная система сталкивается с целым рядом социальных требований. Следующую грань Лакло проводит между демократическими и популярными требованиями. В одном из экскурсов, проясняя термин «демократический», он говорит, что это понятие имеет для него чисто дескриптивную ценность и что он сохраняет лишь два элемента обыденного понятия: во-первых, требования к системе выдвигаются со стороны *Underdogs* (т.е. отверженных), во-вторых, их появление указывает на некий дефицит или отсутствие [ibid., p. 125]. Лакло задается вопросом о том, как институциональная система, например правительство, ведет себя с требованиями более слабой в политическом отношении инстанции, например маргиналов, бедноты, нелегалов или гражданского общества. В принципе она может каждое требование рассмотреть отдельно и, если возможно, выполнить. Популизм возникает, если требования остаются неисполненными и

¹ Концепт «интерpellаций», игравший важную роль в «Политике и идеологии в марксизме», не встречается в книге «О популистском разуме». Имя Альтюссера появляется в ней только один раз, в сочетании с понятием «конденсации» [Laclau, 2005, p. 97].

² В статье Лакло уже обсуждал проблему теории идеологии [Laclau, 1997].

несколько требований объединяются. Если требования объединяются и артикулируются в одном дискурсе, они теряют часть своей субъективности, однако начинают «конституировать народ как потенциального исторического актора» [Laclau, 2005, p. 74].

В этих рассуждениях Лакло просматриваются три условия для возникновения популизма: 1) отождествляющая артикуляция различных требований; 2) образование антагонистической границы, отделяющей «народ» от «институциональной системы»; и 3) образование стабильной системы значений или дискурса. Эта система значений удерживает вместе различные требования и содействует тому, что между этими требованиями – но не между требующими, ибо Лакло решительно дистанцируется от любого актороцентристского анализа, – возникает чувство солидарности. Тем самым Лакло указывает на дискурс, в центре которого находится пустое означающее.

Ключевой элемент в теории дискурса Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф – идея о том, что любой дискурс структурирован вокруг пустого означающего. Пустое означающее задает возможность для предварительного замыкания дискурса – так как он репрезентирует его цельность, в действительности невозможную [Laclau, 2005, p. 71; Stäheli, 2005, p. 238]. «Замкнуть» дискурс означает здесь, что пустое означающее позволяет представить дискурс со всеми его разнообразными моментами как нечто единое, цельное, способное отграничиваться от других дискурсивных элементов. Он пуст, потому что он репрезентирует все идентичности дискурса и в этом смысле сверхдетерминирован. Эмпирически это означает, что популистские символы часто игнорируются как нечеткие или размытые; но для Лакло это вовсе не свидетельство политического несовершенства или отсталости популизма, а скорее знак того, что популизм действует на гетерогенной социальной почве [Laclau, 2005, p. 100]. Символам приходится удерживать воедино множество различных требований, между которыми не существует *необходимой и неизбежной* связи.

Не случайно Лакло переходит здесь к дискуссии о роли популистских лидеров. Создается впечатление, что нет такого популизма, который не был бы организован вокруг фигуры доминантной авторитарной личности, и вряд ли есть такой анализ, в

котором не звучал бы вопрос о значении харизматичной фигуры¹. Лакло не занимается психологическим анализом, его не интересуют харизма, обаяние, соблазн, внушение и манипуляции, которые выдвинуты на передний план в текстах других авторов [Dorna, 1999; 2003]. Все это недостаточно и не объясняет, почему функционируют внушение или манипуляция. Лакло ищет чисто структурное объяснение и находит таковое в функциональном сходстве между пустыми означающими и личностями вождей. И те и другие способны воплотить совокупный дискурс, не только пассивно выразить его, но и конституировать то, что он выражает, за счет процесса самого выражения [Laclau, 2005, p. 99]. Такие имена, как Перон (в свое время) или Ле Пен (сейчас), способны воплощать в себе множество требований, и лишь благодаря им и конституируется дискурс.

Теоретические и политические импликации

Главная сила и в то же время главная слабость такого определения популизма состоит в том, что Лакло делает из него чисто формальную категорию. Отсюда проистекает целый ряд аналитически-теоретических, а также политических сложностей. Важные проблемы были названы Славоем Жижекком в его статьях для «*Critical Inquiry*» [Žižek, 2006 a; 2006 b]; это вызвало его острую дискуссию с Лакло (2006) в том же журнале. Жижека не удовлетворяет определение Лакло: по его мнению, в первую очередь должен быть определен метод, с помощью которого популистские движения формируют образ врага, через уничтожение которого может быть восстановлено якобы нарушенное равновесие [Žižek, 2006 a, p. 555]. Кроме того, Жижек сомневается в такой центральной для анализа Лакло категории, как «требование», аргументируя это тем, что революционные движения выходят далеко за пределы простых (элементарных) требований. Наконец, для Жижека проблематично то, что Лакло отказывается от категории классовой борьбы и усматривает популистскую логику даже у коммунистических движений. Для Жижека популизм в долговременной перспективе всегда является протофашизмом [ibid., p. 557]. Для Лакло [Laclau, 2006], напро-

¹ Нередко смерть такой личности приводит к кризису популистского движения – достаточно вспомнить судьбу Австрийской партии свободы после кончины Йорга Хайдера.

тив, эта критика бьет мимо: популизм для него – чисто формальная категория. В политическом отношении для Лакло центральное место занимает вопрос о том, как может конституировать себя левый, «радикальный» политический субъект. В этом проявляется отчетливое дистанцирование от идеи привилегированного политического субъекта, такого как пролетариат или множество / толпа Майкла Хардта и Антонио Негри. Их теорию Лакло не принимает, потому что элементы множества не оставляют своей уникальности и не группируются вокруг центра. «Народу» у Лакло еще только предстоит возникнуть, он напоминает *demos* Жака Рансьера [Laclau, 2002]: и то и другое не поддается редукции до уровня определенных социальных групп, и в том и в другом случае речь идет в самом широком смысле об *Underdogs* (отверженных).

Вторая дискуссия затрагивает отношения между популизмом, политикой и гегемонией. Эту тему продолжил и развил главным образом Биньямин Ардити [Arditi, 2010]. Он обращает внимание на все те места в «О популистском разуме», где Лакло подчеркивает, что популизм есть *одна* из форм политики, что дает возможность воспринимать политику и в ином ключе [Arditi, 2010, p. 491]. Но в то же время популизм для Лакло – самое подлинное воплощение политики [Laclau 2005, p. 225]: он присутствует в любой политике – если его нет, то мы покидаем уровень политического и оказываемся на уровне административного, откуда изгнаны антагонизмы. Каждая политика, с точки зрения Лакло, проводит границы и выделяет некую особенность, которая претендует на репрезентацию дискурса в целом. Тем самым Лакло возвращается к своей дефиниции гегемонии.

Итак, Лакло, с одной стороны, оставил нам инструмент политического анализа: его концепция популизма побуждает политических наблюдателей политических движений обращать внимание на то, из каких требований, а не из каких социальных групп или слоев состоит это движение. Мелкая «буржуазия», «рабочий класс», «гражданское общество» или «демократическая оппозиция» в теории Лакло непригодны в качестве эвристического инструмента. Напротив, его вопрос звучит так: кто есть «народ», который конституируется в дискурсе как временный и непредопределенный (*contingent*)? Или, еще точнее и еще важнее: какие требования формируют «народ»? Второй вопрос, к которому побуждает Лакло, направлен на базис сплоченности между движениями: какое имя находится в центре и служит символом всего совокупного дискурса или всего движения? Какое отдельное требование спланирует все

остальные? По Жижеку [Žižek, 2006 a], следовало бы также задать вопрос о том, кто или что олицетворяет врага: это всего лишь институциональная система, как у Лакло, или существует также конкретная фигура, которая символизирует все неприятности и которую можно назвать? Лакло указывает на требования *Underdogs*, т.е. отверженных, – на дефицит, на лишения, на отсутствие чего-то важного. При этом он начинает не с политических, а с социальных требований. Он в своем анализе разлагает совокупность того, что составляет политического субъекта. Поэтому подход Лакло оказывается аналитически полезным, он действительно обладает большим потенциалом для формального политического анализа, к примеру, чтобы выявить противоречия между аутсайдером и политической системой. Однако будет сложнее представить популизм «сверху», если институциональная система вмонтировала его в свою деятельность. На наш взгляд, в данном отношении ранние размышления Лакло о фашизме и перонизме окажутся более полезными, чем его рассуждения в «О популистском разуме».

Возникает и третий теоретический вопрос: какое отношение существует между популизмом и неолиберализмом? Разумеется, Лакло не знал лекции Мишеля Фуко о неолиберализме, но он мог не признать либерализм как форму власти [Villacañas Berlanga, Ledo, 2010]. Какое политическое последствие имеет такое определение для теории гегемонии и популизма Лакло? К сожалению, мы не можем обсуждать здесь проблему связи между популизмом и неолиберализмом, однако нам представляется очевидным, что сегодняшний популизм рождается как реакция на неолиберализм или как механизм его воспроизводства во время кризиса. Анализ этого отношения – большая задача теоритической и эмпирической социологии.

Политическая оценка еще более двойственна, чем теоретическая. Хотя сам Лакло в статье, опубликованной в 2006 г., дает понять, что и левым движениям придется в будущем обрести черты «популизма». Однако эта мысль находится в противоречии с предложением Лакло о чисто формальном понимании политического и его пониманием популизма как нейтральной формы политики. Жижек [Žižek, 2006 a] видит в работах Лакло политическую программу, однако не может ничего из нее извлечь в силу своей постмарксистской позиции и отсутствия очевидного политического субъекта. Жижек требует возвращения к классовой борьбе. При этом Лакло в «О популистском разуме», как мы видели, тоже не объясняет, каким образом может формироваться радикальный

политический субъект. Его книга прежде всего аналитическая. Политическую позицию Лакло скорее можно искать в других работах – или же у Шанталь Муфф.

Какие же выводы может извлечь для себя прогрессивная политика из концепции популизма Лакло? Во-первых, безусловно, следует внимательно прислушаться к *Underdogs*, установить, какие требования выдвигаются, и во всяком случае постараться выявить общие черты этих требований. При более точном рассмотрении такая политика могла бы, однако, установить, что *аутсайдер* реакционен, что «народ» вовсе не всегда и не обязательно демократичен и что его требования указывают на такие дефициты, устранение которых не всегда отвечает идеалам прогресса. Здесь можно сослаться на пример дискуссий о демпинге заработной платы и миграции. Потому аналитическая задача левых движений – понять, почему «левые» требования, такие как требование о минимальной зарплате в Швейцарии, настолько непопулярны. И в то же время следует опасаться слепо перенимать требования «гражданского общества».

Литература

- Хорос В.Г. Популизм: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Прогресс, 1983. – 294 с.
- Arditi B. Politics on the edges of liberalism: Difference, populism, revolution, agitation. – Edinburgh: Edinburgh univ. press, 2007. – 166 p.
- Arditi B. Populism is hegemony is politics? On Ernesto Laclau's on populist reason // Constellations. – Oxford, 2010. – Vol. 17, N 3. – P. 488–497.
- Boris R.T. Review of politics and ideology in Marxist theory: Capitalism – fascism – populism // American political science review. – Cambridge, 1979. – Vol. 73, N 1. – P. 216–218.
- Barrett M. The politics of truth: From Marx to Foucault. – Cambridge: Polity, 1991. – 194 p.
- Canovan M. The people. – Cambridge; Malden, MA: Polity, 2005. – 161 p.
- Dorna A. Le populisme. – Paris: Paris Presses universitaires de France, 1999. – 126 p.
- Dorna A. Faut-il avoir peur du populisme? // Le Monde Diplomatique. – Paris, 2003. – Novembre. – P. 8–9.
- Ferretter L. Louis Althusser. – L.: Routledge, 2006. – 162 S.
- Howarth D. Populism in context // Identities and politics during the Putin presidency: The discursive foundations of Russia's stability / Ph. Casula, J. Perovic, I. Mijnsen (eds.). – Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2009. – P. 31–38.
- Laclau E. Política e ideología de la teoría marxista: Capitalismo, fascismo, populismo. – México: Siglo XXI Editores, 1968. – 233 p.
- Laclau E. Politik und Ideologie im Marxismus: Kapitalismus – Faschismus – Populismus: mit einem Anhang «Populistischer Bruch und Diskurs» (1979). – Berlin: Argument-Verlag, 1981. – 208 S.

- Laclau E. Death and resurrection of the theory of ideology // MLN. – Baltimore, 1997. – Vol. 112, N 3. – P. 297–321.
- Laclau E. On populist reason. – L.: Verso, 2005. – 160 p.
- Laclau E. Why constructing a people is the main task of radical politics // Critical inquiry. – Chicago, 2006. – Vol. 32. – P. 646–680.
- Mouffe C. The return of the political. – L.; N.Y.: Verso, 1993. – vii, 156 p.
- Nassehi A. Die Potenz der Populisten // Süddeutsche Zeitung. – München, 2011. – 28 April. – Mode of access: <http://www.sueddeutsche.de/politik/demokratie-in-europa-die-potenz-der-populisten-1.1090121> (Accessed: 30.06.2014.)
- Rancière J. Das Unvernehmen: Politik und Philosophie. – Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verl., 2002. – 148 S.
- Stäheli U. Competing figures of the limit // Laclau: A critical reader / S. Critchley, O. Marchart (eds.). – L.; N.Y.: Routledge, 2005. – P. 226–240.
- Villacañas Berlanga J.L., Ledo J. The liberal roots of populism: A critique of Laclau // CR: The new centennial review. – East Lansing, MI, 2010. – Vol. 10, N 2. – P. 151–182.
- Žižek S. The violence of liberal democracy // Assemblage. – Cambridge, 1993. – N 20. – P. 92–93.
- Žižek S. Against the populist temptation // Critical inquiry. – Chicago, 2006 a. – Vol. 32 (Spring). – P. 551–574.
- Žižek S. Schlagend, aber nicht Treffend! // Critical inquiry. – Chicago, 2006 b. – Vol. 33 (Autumn). – P. 185–211.

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

С.А. Васильковский*

**СЛИШКОМ МНОГО ПАМЯТИ:
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КАТАСТРОФИЧЕСКОМ
ПРОШЛОМ
(Рецензия)**

**Рец. на кн.: Эткинд А.М. Кривое горе:
Память о непогребенных / Авториз. пер с англ. В. Макарова. –
М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 328 с.**

Книга Александра Эткинда «Кривое горе: Память о непогребенных» вышла в свет на русском языке в 2016 г. Она затрагивает большой пласт культурной истории Советского Союза и России, связанной с памятью о человеческой катастрофе XX в. Книга представляет активно развивающееся направление – исследования памяти. В фокусе внимания автора – «работа горя», которую он вслед за Фрейдом понимает как «здоровый и реалистичный процесс урегулирования переживаний после утраты через возвращение к прошлому опыту» [Эткинд, 2016, с. 26–27]. Предметом его изучения стали воспоминания жертв и свидетелей репрессий советского времени.

Несмотря на то что книга опубликована в английском варианте в 2012 г., она не утратила своей актуальности спустя четыре года. Финальный этап работы над книгой пришелся на период очередного политического кризиса в России [Эткинд, 2016, с. 310].

* **Васильковский Сергей Алексеевич**, аспирант НИУ ВШЭ, e-mail: sergeivasilkovsky@gmail.com

Sergei Vasilkovsky, Higher School of Economics (Moscow, Russia), e-mail: sergeivasilkovsky@gmail.com

С одной стороны, срок президентства Дмитрия Медведева был потрачен на попытки экономических и политических реформ, что было названо «ностальгической модернизацией» [Калинин, 2010]. С другой стороны, в этот момент начался новый этап работы государства с историей [Миллер, 2014].

Основная часть исследования Александра Эткинда посвящена культурным событиям 1950-х и 1960-х годов – постсталинского периода, когда стала возможна работа горя. Однако хронологические рамки исследования в действительности шире: в первых главах автор отталкивается от опыта людей, репрессированных в 1930-е годы и впоследствии писавших книги, сочинявших музыку, снимавших фильмы о своей травме. Последующие главы рассказывают о работе горя людей, чьи родители были репрессированы, погибли, либо тех, кто сам не избежал ареста в 1960-х. В заключительных главах рассматривают нынешнее поколение культурных деятелей и новые споры об истории и памяти.

Александр Эткинд начинает с описания весьма интересного факта, который, по мнению автора, символизирует многоуровневость памяти и скорби по жертвам советской эпохи. Вводя читателя в основную проблематику своей книги, автор обращается ко всем знакомому образу 500-рублевой купюры. На ней изображен Соловецкий монастырь – святыня Русской православной церкви. Вместо стандартных куполов до 2011 г. башни монастыря на банкноте были увенчаны деревянными пирамидами. Дело в том, что заключенные когда-то сломали протекавшие купола и заменили их крышей из досок. Соловки были символом и частью всей системы Главного управления лагерей и мест заключения (ГУЛАГ). При этом наличие данного изображения на банкноте кажется автору иллюстрацией присутствия призраков прошлого в настоящем.

В своей работе Эткинд предпочитает использовать понятие «горе» вместо понятия «травма». Тем самым он устанавливает новый вектор в исследовании виктимности и посткатастрофических изменений и состояний. В отличие от травмы горе является ответом на состояние «другого», тогда как травма – переживания о состоянии «я»: «Индивидуальный субъект, который пережил травму – например контузию – не способен репрезентировать травматическую ситуацию, и этот провал репрезентации является именно тем, что определяет травмы. В отличие от травмы горе миметично; оно само является репрезентацией особого рода» [Эткинд, 2016, с. 27]. Александр Эткинд подчеркивает, что катастро-

фические события и процессы наносят травмы первому поколению, последующие испытывают уже не травмы, а горе.

Как и Аллейда Ассман, в данной книге автор не использует понятие коллективной памяти, предпочитая ему термин «культурная память» [Ассман, 2016], поскольку горе передается из поколения в поколения именно через культуру. Автор пишет, что поворот от коллективной памяти к культурной памяти «переносит акцент со вспоминающего коллектива на культурные жанры и искусственно созданные конструкции, из которых состоит память» [Эткинд, 2016, с. 63]. Создаваемые конструкции автор анализирует в своей книге через различные произведения культуры, в которых он видит следы работы горя.

Лейтмотивом всего произведения является шекспировский сюжет разговора с призраком из «Гамлета». Он символизирует постоянное присутствие прошлого в настоящем, взаимодействие с ним, использование образов умерших и работы горя. В частности, автор описывает механизмы (импульсы) преодоления посткатастрофических событий: познание, горе и месть. Стремление познать произошедшее, эмоциональная скорбь и желание возмездия или правосудия – три процесса, отсылающих нас к мятущейся фигуре Гамлета, трагически потерявшего отца. При этом автор указывает на то, что познание исторических процессов катастрофического масштаба всегда было труднейшей из задач в СССР и современной России по двум причинам: во-первых, работа указанных выше процессов затруднена в силу политических ограничений; во-вторых, сама ситуация советских репрессий, в отличие от холокоста, имеет самоубийственную природу. Эткинд осознанно выбирает холокост как идеал – типичный пример работы горя. Но несмотря на их общность, существуют и серьезные различия. Советская машина, по сути, репрессировала сама себя. Холокост был направлен на истребление мнимого «другого», тогда как в Советском Союзе система карала «своих». Именно поэтому коммеморация о холокосте приняла индустриальный размах, а память о советском терроре во все времена возвращается к привычным озарениям и табу [Эткинд, 2016, с. 247]. В отсутствие возможности познания и мести остается лишь третий механизм преодоления посткатастрофических событий – работа горя.

В своем понимании горя автор опирается на идеи и терминологию Фрейда. Полноценная проработка горя зависит от репрезентации травматического опыта. Субъект горя и травмы вынужден обращаться к прошлому. Однако существуют два способа

обращения к нему: навязчивое повторение и воспоминание. В случае с травматическим прошлым навязчивое повторение отражает не только мучительный процесс, оно отражает реальность происходящего для субъекта, его присутствие в настоящем. Воспоминание отражает процесс разделения прошлого и настоящего.

В этой двойной природе работы с травматическим прошлым Эткинд видит «кривизну» горя. Границы повторения и воспоминания в проработке прошлого размыты культурой и постоянно меняются: «На подмостках посткатастрофической памяти диалектика повторения и воспоминания создает искривленные образы, в которых сознательное исследование прошлого сочетается с его воспроизводством в превращенных формах» [Эткинд, 2016, с. 30]. В результате связь воспоминания и навязчивого повторения рождает образы духов, демонов и призраков, живущих в культуре.

Александр Эткинд считает, что постсоветскую память можно продуктивно исследовать на перекрестке трех эпистемологий: фрейдовской концепции горя; идеи Вальтера Беньямина о том, что религиозные символы получают вторую жизнь в массовой культуре; и концепции остранения русских формалистов. Именно концепция аллегории у Беньямина позволяют анализировать отображение горя в произведениях культуры. Аллегория как один из дополнительных поэтических концептов воспроизводства катастрофического прошлого иллюстрируется автором на примере неузнавания родственниками членов своих семей после их возвращения домой из тюрьмы или лагеря.

Стремление воспроизводить прошлое доходит до того, что скорбящим необходимо видеть все детали исторического лагеря без возвращения в его застенки. В качестве примера автор приводит концепцию лагеря-музея: с одной стороны, мы находим на этом месте полноценный музей, создающий нарратив, с другой – в таких местах всегда можно найти обелиски, бараки, памятники, непосредственно соединяющие скорбящего с прошлым. Данный пример как нельзя лучше демонстрирует идею кривизны горя, заявленную автором в названии книги.

Развивая тему монументов, Александр Эткинд дискутирует с идеей мест памяти Пьера Нора. По мнению Нора, разрыв между коллективной, цикличной памятью и историей компенсируется созданием организованных мест памяти. Их динамика отображает трансформацию национальной идентичности, преемственность политической традиции [Нора, 1999]. Эткинд предполагает, что изменение культурной памяти происходит в процессе взаимодействия текстов и

монументов. Отталкиваясь от идеи Яна Ассмана о памяти «горячей» и «холодной», автор использует понятия «твердой» и «мягкой» памяти. «Мягкая» память включает в себя тексты, образы, нарративы, а «твердая» – памятники, мемориалы и т.д. Обе формы не просто существуют, они взаимодействуют друг с другом: идеи и тексты должны быть воплощены в мемориалах, тогда как «твердые средства памяти» не функционируют без дискурсивного поля. При этом единицами памяти Александр Эткинд, в отличие от Нора, предлагает считать не места памяти, а события памяти. Под событием памяти он понимает акты обращения к прошлому, изменяющие их устоявшиеся культурные значения [Эткинд, 2016, с. 228]. Такие события – одновременно и акты, и продукты памяти, которые воплощаются во множестве культурных жанров – от текстов до открытия музеев и даже похорон. Поэтому, анализируя современные представления о прошлом, автор обращается именно к культуре как к совокупности текстов и памятников.

Анализ позднесоветского и постсоветского опыта работы горя вводит концепцию «призрачной» памяти. Памяти о непогребенных, неизвестных жертвах катастрофических событий. Кривое российское горе включает в себя третью форму памяти: «призрачную». Большой пласт современных произведений российской культуры поддерживает образ призраков, вурдалаков, кукол, вампиров, зомби – всех тех, кто был погребен неправильно. Такая тройственная память сосуществует и воспроизводится, по мнению автора, в современной России до сих пор. По словам самого автора, эти симулякры, образы – «одно из многих проявлений культурной меланхолии, погруженности в прошлое и пренебрежения настоящим» [там же, с. 266].

В этом контексте автор обращается к концепции «нарратива искупления». Культура и социологические опросы отображают наличие такого нарратива в современном российском обществе. Люди имеют представление о массовых репрессиях, голоде и терроре, однако верят, что это все было необходимо для выживания нации. Разделение общества проходит не по границе исторического факта, а по методу интерпретации этого факта. При этом представления о прошлом субъектов памяти порой эклектичны и противоположны друг другу. Все эти конструкции децентрализованы, лишены консенсуса и поэтому не имеют логической законченности. По мысли Александра Эткинда, в противоположность американцам, которые увлечены мультикультурализмом, россияне живут в состоянии мультиисторизма.

В заключение стоит отметить, что, несмотря на свою ретроспективность, книга Александра Эткинда прежде всего о современной России. Анализ культурной памяти последних 60 лет показывает читателю, что в России не сложился консенсус в отношении исторического прошлого. Существование термина «постсоветский» или постсоветская Россия передает идею преемственности между государствами и режимами. Ссылки на прошлое играют большую роль в политическом дискурсе. Обсуждение актуальных проблем в культуре, политике или экономике очень редко обходится без исторических аллюзий. Грань социальных отношений в отсутствие реальной политики, в ситуации непроработанного горя проходит в прошлом. Таким образом, Александр Эткинд показывает, что публичное пространство наполнено живыми мертвецами, призраками, которые постоянно возвращаются и снова заставляют нас переживать опыт катастрофы, страшиться и ждать ее в будущем. Живые мертвецы отказываются покидать мир живых, пока невинно убиенные не вернуться в культуру на всех ее уровнях – высоких и низких официальных и народных, националистических и космополитичных [Эткинд, 2016, с. 304]. К сожалению, надежда, высказанная автором в заключении, на разрыв с советской традицией после событий 2011 г., пока не оправдалась.

Литература

- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 232 с.
- Калинин И.А. Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт // Неприкосновенный запас. – М., 2010. – № 6 (74). – С. 6–16.
- Миллер А.И. Политика памяти в России: Год разрушенных надежд // Политика. – М., 2014. – № 4 (75). – С. 49–57.
- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пуюмеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. – С. 17–50.

О.Ю. Малинова*

**СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ:
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ
(Рецензия)**

Рец. на: The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15 / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – xix, 424 p.

Коллективная монография «Новый русский национализм: Империализм, этничность и авторитаризм, 2000–2015» под редакцией норвежских славистов Пола Колсто и Хельге Блаккисруда – результат исследовательского проекта, объединившего усилия 12 ведущих специалистов по российской политике из шести стран. Исследование началось весной 2013 г., за несколько месяцев до украинского кризиса, за которым последовали присоединение Крыма к России, военный конфликт в Донбассе и «война санкций». Грант Совета по исследованиям Норвегии позволил провести силами исследовательского холдинга Ромир два социологических опроса – в мае 2013 г. и в ноябре 2014 г., что дало участникам проекта уникальные данные для оценки массовых установок относительно этничности, нации и государства до и после «патриотической» мобилизации 2014 г. В книге рассматривается широкий

* **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: omalinova@hse.ru

Malinova Olga, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@hse.ru

спектр проблем, связанных с оценкой состояния и динамики русского национализма как на уровне соответствующих политических движений, так и в контексте государственной политики. Благодаря этому работа международного авторского коллектива не только многое дает для понимания перспектив русского национализма, но и предлагает интересные объяснения изменения российского политического курса в 2014 г.

Хотя в названии книги «новый русский национализм» значится в единственном числе, ее авторы в полной мере признают, что «такой вещи, как одно единое движение русского национализма, не существует» [Verkhovsky, 2016, p. 75], и выделяют разные его типы и течения. В первой главе П. Колсто предлагает типологию, основанную на различии по двум шкалам: 1) чьи интересы ставятся во главу угла – русских как этнической группы или государства; 2) как мыслятся территориальные границы группы – в пределах Российской Федерации или же на основе бывшего СССР / царской империи. Пересечение этих шкал дает четыре идеальных типа [Kolstø, 2016 b, p. 3], которые он прослеживает в постсоветском дискурсе о нации. Впрочем, другие авторы книги не используют данную типологию и сосредоточиваются на различии государствоцентрического имперского и этнического русского национализма. При этом одни считают едва ли не главным его индикатором использование прилагательных «русский» и «российский» [Blakkisrud, 2016; Alexseev, 2016], другие справедливо указывают на неоднозначность их смысловых границ [Hale, 2016; Laguelle, 2016], а главное – на то, что эта неоднозначность успешно используется политиками [об этом см.: Зевелев, 2008; Малинова, 2010; Shevel, 2011].

В драматическом изменении российского политического курса под влиянием украинского кризиса некоторые авторы книги видят признаки «этнического поворота» в официальном понимании национальной идентичности. По словам П. Колсто, «реагируя на революцию Евромайदानа, Кремль воспринял риторику русских националистов и в результате перехватил у них инициативу» [Kolstø, 2016 a, p. 6]. И он, и многие его соавторы обращают внимание на то, что в своей «крымской» речи 18 марта 2014 г. В. Путин многократно использовал прилагательное «русский» и в частности аргументировал присоединение полуострова к России тем, что «русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим разделенным народом в мире» [Путин,

2014]¹. В событиях 2014 г. авторы книги усматривают существенную националистическую составляющую. Впрочем, они оговариваются, что национализм Путина – «особого типа, не исключающий по этническому принципу и весьма ограниченный в своих заявленных стремлениях» [Hale, 2016, p. 222]. При этом путинская модель национальной идентичности отличается от неэтнической российскости, которую продвигала администрация Б. Ельцина в 1990-е годы, тем, что открыто подчеркивает историческую «миссию» русского народа [Kolstø, 2016 a, p. 6].

Рассматривая русский национализм как принципиально разнородное явление, авторы монографии анализируют различные аспекты его эволюции. Э. Паун рассуждает об истории русского национализма и прослеживает влияние «имперского синдрома» на развитие его основных направлений. А. Верховский на основе данных мониторинга центра СОВА описывает динамику активности русских радикальных националистов в 2008–2014 гг., показывая, как украинский кризис 2013–2014 гг. привел к ее спаду. Он объясняет это, с одной стороны, определенными успехами полиции в борьбе с правым экстремизмом, а с другой – изменением акцентов в политической повестке: озабоченность активистов событиями на Украине отодвинула на второй план проблему нелегальной миграции. А. Митрофанова анализирует связи между русским национализмом и православием. По ее мнению, несмотря на то что Русская православная церковь официально не поддерживает националистические концепции, существует значительный слой русских националистов, в идеологии которых православие является важным компонентом, и они применяют различные стратегии сопряжения религиозного универсализма и этнического партикуляризма. П. Рутланд показывает связь между выбором курса на экономическую интеграцию или автаркию и спорами о национальной идентичности.

Н. Костомарская и И. Савин знакомят с результатами качественного социологического исследования «низовых» представлений о мигрантах и миграции, выражаемых обычными московскими гражданами. По их заключению, ксенофобия в значительной степени

¹ К тому же выводу пришла М. Лехтова, проанализировавшая все выступления В. Путина, в которых обосновывалось присоединение Крыма: та часть аргументов, которая касалась идентичности и истории, «была почти исключительно сосредоточена на подтверждении “русской природы” Крыма» [Leichtova, 2016, p. 312].

провоцируется СМИ (является «манифестируемой»): в то время как категории, усваиваемые из инфосферы, описывают социальное окружение индивидов на основе противопоставления «нас» и «их», в повседневной жизни эти категории задействованы лишь ограниченно [Kosmarskaya, Savin, 2016, p. 157]. Однако этот вывод не вполне совпадает с результатами исследования *С. Хатчинса* и *В. Тольца*, которые изучали частоту, интенсивность и содержание сюжетов, касающихся этничности и миграции, в новостных программах Первого канала и канала «Россия». Они обнаружили в позиции государственного телевидения характерное противоречие: с одной стороны, этническое многообразие представляется одним из уникальных преимуществ России (так, тема этнического единства усиленно педалировалась в марте 2014 г., во время кампании по присоединению Крыма), а с другой – рост ксенофобии в массах ставит руководство центральных каналов перед дилеммой: то ли «сохранять этническое единство, умалчивая о взрывоопасных темах», то ли «потакать общественным настроениям», поддерживая страхи и предрассудки [Hutchings, Tolz, 2016, p. 328]. Таким образом, с одной стороны, массовая ксенофобия питается смыслами, усваиваемыми из дискурса СМИ, а с другой – оказывается одним из факторов, определяющих медийную повестку.

Сравнение результатов двух социологических опросов, проведенных в рамках данного исследовательского проекта, позволяет авторам книги проследить, как изменились установки на этничность, миграцию, политический режим и проч. под влиянием масштабной пропаганды весны – осени 2014 г. Анализируя эти данные, *М. Алексеев* попытался ответить на вопрос: почему присоединение Крыма, произошедшее под флагом русского этнонационализма, не вызвало реакции со стороны нерусских этнических групп? Он обнаружил, что этническая идентичность имеет ограниченный эффект для поддержки территориальной экспансии России. При этом, как ни парадоксально, нерусские респонденты высказались за расширение территории России до границ СССР даже более решительно, нежели русские. При этом первые более твердо поддерживают В. Путина, нежели вторые. Получается, что «территориальная экспансия – или институциональная экспансия, ведущая к расширению влияния России на бывших советских территориях – может принести двойные дивиденды во внутренней политике, снижая нетерпимость этнического большинства и в то же время смягчая недовольство этнических меньшинств» [Alexseev, 2016, p. 187–188].

Эффекты мобилизации поддержки («сплочения вокруг...»), вызванные драматическими последствиями украинского кризиса, подробно анализируются в главе *М. Алексеева* и *Г. Хейла*. Сравнительные данные опросов 2013 и 2014 гг., они признают, что «большинство населения полностью капитулировало перед... версией событий, распространявшейся государственными медиа» [Alexseev, Hale, 2016, p. 194]. Однако не все элементы «кремлевского нарратива» усвоены одинаково хорошо. Во-первых, несмотря на дипломатические усилия российских властей, стремившихся не допустить интеграцию Украины с ЕС, значительное большинство респондентов полагают, что Россия не должна вмешиваться в суверенные дела Украины, Молдовы, Грузии и Армении (за такое предположение высказалась всего лишь 1/3 опрошенных). Во-вторых, оказалась не вполне понятной идея «Новороссии»: выяснилось, что респонденты имеют смутное представление о ее географической локализации.

Опрос показал значительный эффект «сплочения вокруг лидера» и несколько меньший эффект «сплочения вокруг флага». События 2014 г. несколько отвлекли население от проблем, которые прежде заставляли их более негативно оценивать политическую систему. Вместе с тем кризис не привел к подъему национализма (как полагают Алексеев и Хейл, отчасти потому, что его уровень и прежде был высок). Напротив, респонденты обнаружили рост гордости за Россию как многонациональное государство. При этом, несмотря на «этнический поворот» в официальной риторике, «не все русские склонны понимать притязания Путина на Крым как отражение этнической концепции российского государства. В действительности оказывается, что Путин продолжает играть на неоднозначности понятий, которую Кремль давно использует в своей национальной политике» [ibid., p. 206].

Как полагает Г. Хейл, нежелание российской власти занимать ясные позиции по «национальному вопросу», отмечаемое многими исследователями, имеет под собой системные основания. Дело не только в том, что русский национализм разнолик и неоднозначная поддержка одной из его ветвей не усилит, а лишь ослабит позиции лидера. Дело еще и в том, что в патроналистских режимах вроде российского «широкомасштабная мобилизация на основе националистических идеалов – скорее исключение, чем правило» [Hale, 2016, p. 223]. Ведь национализм – это форма коллективного действия, основанная на общих принципах (идеологии и идентичности); такое действие несет определенные риски для патроналистских режимов, опирающихся на сети личных знакомств. Хейл

утверждает, что «вплоть до 2014 г. президент В. Путин в целом избегал делать национализм центральным элементом своего обращения к народу» [Hale, 2016, p. 222]. Что же изменилось? По мнению американского политолога, цепочку событий, которые привели к «консервативному повороту», запустил мировой финансовый кризис 2008 г. Объявление о «рокировке», которое Хейл называет PR-катастрофой, и протестное движение 2011–2012 гг. вынудили к поискам новой политической стратегии. А события на Украине создали уникальный контекст, в котором использование «националистической карты» оказывалось максимально выгодным. Во-первых, это позволяло не потерять поддержку сторонников «наступательного» (assertive) курса и вместе с тем – контролировать политизацию национализма. Во-вторых, на поддержку либерального меньшинства после подавления протестной волны уже все равно рассчитывать не приходилось. В-третьих, аннексия Крыма максимально отвечала устремлениям обеих ветвей русского национализма, поскольку речь шла не только о «восстановлении» территории империи, но и о присоединении преимущественно русского и славянского населения [ibid., p. 243–244]. Однако несмотря на несомненное укрепление поддержки Путина, в долгосрочной перспективе националистическая мобилизация может обернуться для его режима серьезными проблемами, поскольку патроналистская природа такового не изменилась.

Если Г. Хейл объясняет националистический поворот в политике Путина стечением сравнительно недавних обстоятельств, то *М. Ларуэль* рассматривает его как логическое завершение трудного выбора идентичности в постсоветском контексте. Она полагает, что, оказавшись перед выбором одной из трех возможных «цивилизационных грамматик» – быть европейской страной, идущей по западному пути; быть европейской страной, идущей по незападному пути; или быть неевропейской страной – российская элита еще в середине 1990-х годов предпочла второй путь. Однако формирование соответствующей ему идеологической позиции заняло немало времени: лишь в середине 2000-х годов от фазы «патриотического центризма» правящая элита перешла к структурированию идеологической позиции государства. Начало третьей, современной фазы, в рамках которой консерватизм был оформлен в качестве официальной позиции государства, Ларуэль связывает с «рокировкой» Медведева и Путина. На этом этапе определились три «склонения», конкретизировавшие выбранную «цивилизационную грамматику», – язык патриотизма, морали и национальной

культуры [Laguette, 2016, p. 287]. Впрочем, наличие этих «склонений» не отменяет значительной части разногласий, не позволяющих «идеологической позиции» оформиться в «доктрину». В частности, сохраняются разногласия по таким важным сюжетам, как «отношения церкви и государства, определение ядра русской идентичности, отношение к имперскому прошлому и текущая миграционная политика» [ibid., p. 295].

Русский национализм, о котором пишут авторы книги, – и старый (поскольку восходит к дореволюционным истокам), и новый (поскольку большинство современных его течений оформились лишь 10–15 лет назад). Но хотя исследователи любят рассуждать о причинах, по которым русским националистам до сих пор не удалось мобилизовать поддержку, чтение монографии не оставляет сомнений в том, что распространяемые ими идеи уже превратились в значимый фактор российской политики.

Литература

- Зевелев И.А. Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве: наследие империи и государственный прагматизм // Наследие империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – С. 241–293.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. – М., 2014. – 18 марта. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/20603> (Дата посещения 17.03.2017.)
- Alexseev M.A. Backing the USSR 2.0: Russia's ethnic minorities and expansionist ethnic Russian nationalism // The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15 / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 160–191.
- Alexseev M.A., Hale H.E. Rallying 'round the leader more than the flag: Changes in Russian nationalist public opinion 2013–14 // The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15 / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 192–220.
- Blakkisrud H. Blurring the boundary between civic and ethnic: The Kremlin's new approach to national identity under Putin's third term // The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15 / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 249–274.
- Hale H.E. How nationalism and machine politics mix in Russia // The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15 / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 221–248.

- Hutchings S., Tolz V. Ethnicity and nationhood on Russian state-aligned television: Contextualising geopolitical crisis // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 298–336.
- Kolstø P. Introduction: Russian nationalism is back – but precisely what does that mean? // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016 a. – P. 1–17.
- Kolstø P. The ethnification of Russian nationalism // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016 b. – P. 18–45
- Kosmarskaya N., Savin I. Everyday nationalism in Russia in European context: Moscow residents' perceptions of ethnic minority migrants and migration // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 132–159.
- Laruelle M. Russia as an anti-liberal European civilization // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 275–297.
- Leichtova M.B. Why Crimea was always ours: Legitimacy building in Russia in the wake of the crisis in Ukraine and the annexation of Crimea // *Russian politics*. – Leiden, 2016. – Vol. 1. – P. 291–315.
- Pain E. The imperial syndrome and its influence on Russian nationalism // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 46–74.
- Rutland P. The place of economics in Russian national identity debates // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 336–362.
- Shevel O. Russian Nation-building from Yel'tsin to Medvedev: Ethnic, civic or purposefully ambiguous? // *Europe – Asia Studies*. – Glasgow, 2011. – Vol. 63, N 2. – P. 179–202.
- Verkhovsky A. Radical nationalists from the start of Medvedev's presidency to the war in Donbas: True till death? // *The new Russian nationalism: Imperialism, ethnicity and authoritarianism 2000–15* / Ed. by Pål Kolstø, Helge Blakkisrud. – Edinburg: Edinburg univ. press, 2016. – P. 75–103.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вып. 5

Политика идентичности

Сборник научных трудов

Оформление обложки И.А. Михеев
Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева
Корректор Я.А. Кузьменко

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.
ИНИОН РАН. Отдел политической науки. E-mail: politnauka@inion.ru

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 18/Х – 2017 г. Формат 60х84/16
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная
Усл. печ. л. 22,25 Уч.-изд. л. 20,0
Тираж 300 экз. Заказ № 49

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел.: +7 (925) 517-3691
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9